

ISSN 0131-6044

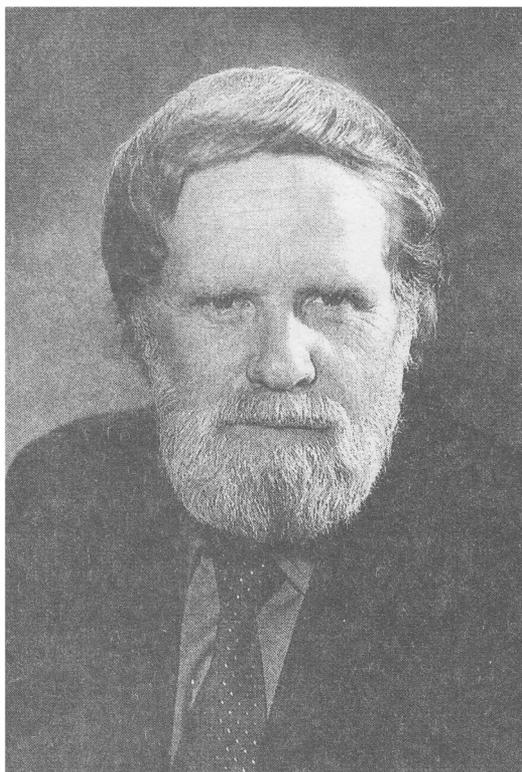
РОМАН-9

ГАЗЕТА

(1159) · 1991

Василий Белов
ГОД ВЕЛИКОГО
ПЕРЕЛОМА





Василий Иванович Белов родился в 1932 году в деревне Тимониха Вологодской области в крестьянской семье.

В 1964 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького, куда поступал как поэт. Первая книга стихов и поэм «Деревенька моя лесная» вышла в свет в 1961 году. Затем появилась повесть «Деревня Бердьяйка», сборники рассказов «Знойное лето» и «Речные излуки».

В 1966 году была опубликована повесть «Привычное дело», принеся писателю широкую известность.

Автор книг «Плотничьи рассказы», «Бухтины вологодские», романа «Все впереди», пьес «Над светлой водой», «Сцены из районной жизни», «Бессмертный Кощей», многих рассказов, а также очерков о народной эстетике «Лад».

В 1976 году была опубликована историческая хроника 20-х годов о деревне «Кануны». Ее сюжетным и тематическим продолжением явилась книга «Год великого перелома».

РОМАН-9

НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ
МОСКВА

ГАЗЕТА

(1159) · 1991

Основана в 1927 г.

Василий Белов ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

ХРОНИКА ЗИМНЕЙ ПОРЫ

«Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно.

Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом».

«...Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор».

Фр. Энгельс

Часть первая

I

После величайшей смуты, унесшей в своем знобящем вихре миллионы жизней, не прошло и десяти лет, а Россия и Украина уже стояли вблизи очередной, не менее страшной трагедии. Казалось, все силы зла снова ополчились на эту землю. Вступая на пустующий императорский трон, знал ли угрюмый Генсек, что через несколько лет, в день своего пятидесятилетнего юбилея, он швырнет им под ноги сто миллионов крестьянских судеб? За все надо чем-то платить, даже за наркомовскую фуражку. А тут неожиданно подвернулась аж Мономахова шапка...

И когда б в стране имелся хотя бы один неразворованный монастырь, а в нем хотя бы один-единственный не униженный монах-летописец, может, появилась бы в летописном свитке такая запись: «В лето одна тысяча девятьсот двадцать девятого года в Филиппов пост попущением Господним сын гродненского аптекаря Яков Аркадьевич Эпштейн (Яковлев) поставлен бысть в Московском Кремле комиссаром над всеми христианами и землепашцы».

© Белов В. И., 1989, 1991 гг.

Вторая книга исторической хроники. Первая книга — «Кануны» (состоящая из трех частей) — опубликована в «Роман-газете», 1989, №№ 15, 16.

Таких летописцев не было.

Сонмы иных писателей вопили о кулаках и о пра- вой опасности. Кто был опасен и главное для кого? Троцкий покинул страну вместе с двумя вагонами на- грабленного, но перед тем он раскидал семена своих антимужских идей на тысячеверстных пространствах России. Разнесенные ветрами двух последних десяти- летий, эти семена тут и там смело пускали ростки, укреплялись и махрово цвели, давая новые обильные семена, уже не боящиеся ни сибирских морозов, ни степных суховеев.

Совсем недавно Россия давала третью часть мирово- го хлебного экспорта. Что-то будет теперь? Эпштейн, возглавляя сельское хозяйство великой державы, не ведал разницы между озимым и яровым севом. Конечно же, подобно младшим своим соратникам Вольфу и Бе- ленькому, Клименко и Каминскому, Бауману и Каце- нельбогену, он на все лады раздраковивал и клеймил троцкистов.

Он ничего не боялся.

5 декабря 1929 года его шеф Каганович — этот палач народов — за несколько минут накидал список из двадцати одного кандидата в состав изуверской ко- миссии. Политбюро утвердило. И уже через три дня Яковлев сварганил восемь подкомиссий, которые тотчас начали разрабатывать грандиозный план невиданного в истории преступления. В тот же день, то есть 8 декабря, Яковлев стал комиссаром российского земледелия.

В субботу и воскресенье 14—15 декабря все восемь подкомиссий непрерывно заседали, после чего были поспешно приняты предложения председателя колхоз- центра Г. Н. Каминского — одного из главных под- ручных новоиспеченного комиссара земледелия. Речь в этих предложениях шла главным образом о сроках раскулачивания. Они торопились, дорвавшись до власти! В понедельник и вторник, 16—17 декабря, ша- баш продолжился с новой силой, а в среду, 18 декабря, комиссия уже утвердила проект постановления. В порт- фель Якова Аркадьевича легла уютная папка с листа- ми, испещренными теми сатанинскими знаками, которые программировали жизнь, а вернее смерть миллионов людей. Они, эти знаки, предрекали гибельный путь для великой страны, в значительной мере определявшей будущее целого мира!

Да, бумаги были готовы, они ждали, и теперь все зависело от «шашлычника» или «семинариста», как троцкисты за глаза называли Генерального. Очередное Политбюро планировалось провести в понедельник, но в субботу Сталину исполняется пятьдесят. И в его ма- ленькой полукруглой гостиной в узком кругу, за стака- нами с прекрасным красным и белым кавказским вином наверняка пойдет речь о тезисах Яковлева.

Надвигалась решающая суббота...

* * *

Сталин был раздражен собственным юбилеем и мно- жеством поздравлений, напечатанных в «Правде». Во- лей-неволей приходилось подбивать жизненные итоги, но они, по его мнению, были не столь внушительными, чтобы с легким сердцем выслушивать и вычитывать пышные славословия. И сегодня, в этот субботний день,

он был раздражен больше обычного. Но чем сильней становилось это внутреннее раздражение, тем нетороп- ливей были его движения.

Обед, заверченный молча, обидел жену, но Сталин редко замечал не собственные обиды. А когда замечал, то сразу же забывал их, считая, что в его положении иначе нельзя. Он так и не ответил ей, кто приглашен на вечер и в котором часу накрыть стол. Поднялся, с до- брым улыбочивым прищуром взглянул на детей и, слегка косолапя, вразвалку, но довольно проворно ушел из гостиной в свой маленький кабинетик. Он знал, что недоумение, оставленное им, немедленно превратится в еще большую обиду, обида перерастет в конфликт, но, как всегда, не захотел предотвратить все это. Лежа на диване и просматривая газеты, он попытался погасить раздражение и задремать, но газетные сообщения не оставили для этого времени. А тут оставалась еще куча телеграмм, собранных в одно место Сашкой Поскребы- шевым...

Сталин прямо на ковер отбросил пачку газет, отки- нулся и закрыл обесцвеченные годами глаза.

Итак, пятьдесят лет... Много это или мало? Много... Он мыслил и выступал с трибун с помощью метода крат- кого христианского катехизиса. Вопрос, ответ. В и О. Го- ворили, что его отец, сапожник Джугашвили, совсем ему не отец... Вопрос: кто говорил? Говорила жена духанщи- ка, толстая ведьма, никогда не знавшая собственной матери. Еще говорили, что путешественник из Петербу- рга Пржевальский, будучи на Кавказе, потерял голову из-за черноглазой жены сапожника. Кто говорил? Кому это было надобно? Говорил об этом...

Но все это чушь, жалкая дрянь! К черту! Не стоит раздумий...

Он умел останавливать, перебивать не только чужие, но и собственные мысли, слова, раздумья. Однако ж раз- думья не исчезали сегодня.

Он вспоминал многие эпизоды своего полувекового пути, хотя иные из этих эпизодов хотелось забыть. Но он был не в силах этого сделать. Он помнил все, в том числе и тот позорный для него день 18 октября 1888 года!

Накануне, то есть семнадцатого, в двенадцать часов дня между станциями Борки и Тарановка Азовско- Курской железной дороги с насыпи высотой в шесть саженей обрушился пассажирский поезд. Вагоны один за другим с треском валились друг на друга. Ринулся под откос и вагон-столовая, где, возвращаясь с Кавказа, завтракал император Александр с семьей и свитой. Газеты того времени сообщали, что из разрушенного вагона извлекли икону Спаса-нерукотворного и что стекло иконы оказалось целым. Царь якобы выбрался из-под вагонных обломков и тотчас распорядился спасать оставшихся в живых пассажиров, императрица будто бы сама оказывала помощь раненым. На станции Лозовой, в честь спасения царской семьи, было благодарственное молебствие, затем отпевание погибших. На другой день вся Россия возносила молитвы, миллионы людей стави- ли свечи в церквах, вспоминали гибель Александра Второго — реформатора и освободителя крепостных. Опустив уже тогда тяжелые, словно у гоголевского Вия, веки, старательно, с чувством молился и девятилетний

мальчик-грузин, учащийся одного из духовных училищ на юге империи. Худой и маленький, этот мальчик, как большинство недоростков, имел привычку заирать при ходьбе голову, на молебне же он держал ее чуть наклоненной вперед. Он поминутно сглатывал копившийся комочек молитвенного восторга...

Сталин крепко сжал восковой кулачок, спичечная коробочка и карандаш треснули в его ладони. Отгоняя навязчивые видения, он вскочил, в одних шерстяных носках заходил по ковру. Набил трубку, нашел в столе новый спичечный коробок с изображением бьющего по наковальне кузнеца. В чем дело? Он мог с полпути убежать из армии, покинуть дальнюю ссылку или тюрьму, внушая уважение к себе у самого опытного жандарма. Он мог тут же навсегда вышвырнуть из своей памяти любую историю. Почему же именно эта мерзость, происшедшая с ним более сорока лет назад, не забывается и не исчезает? Он был Давидом и Нижерадзе, Ивановичем и Кобой, был Чижиковым и Сталиным. И ни один из них не вызывал у него такого отвращения, как тот молящийся мальчик с грузинской фамилией. Старый Хашим, в чьих кувшинах они прятали типографские шрифты, сказал когда-то: «Ты рожден громом и молнией! У тебя великое сердце! Ты — афыр-хаца!»

Но старый Хашим врал, как пьяный мингрел в грузинском застолье. Врут и эти... Врет Клим, врет и Лазарь. Врет Бергавинов, который от имени объединенного пленума прислал из Архангельска подхалимскую телеграмму: «...мы обязуемся сверх краевого экспортного плана дать в золотой фонд индустриализации твоего имени миллион валютных рублей. Мы решили переименовать город Архангельск, северный морской форпост Союза, в Сталинопорт».

Синий табачный дым слоился почти на уровне верхней фрамуги.

Чего же мы достигли, каков итог? Стезя была нелегка и опасна. Но и нынче ему труднее, чем кому-либо, опасности поджидают его ежедневно.

Рыжий писатель, он же и живописец, и любитель птичьего рынка, не хочет капитулировать. Кажется, что уже обезврежен, сбит с толку, но все еще пускает остроты. Впрочем, его песенка спета. Рыков не страшен, поскольку считает себя вне политики. Каков идиот! Как будто бывает кто-нибудь или что-нибудь вне политики. К тому же бородач пьет перед обедом, и пьет не солнечное цинандали, а свою рыковку. Скрыбин и Рудзутак верны. Верны? Даже этот, с виду дураковатый крестьянский козел Калинин на самом деле старая и хитрая лиса. В любой момент может переметнуться. Клим? Дурак и бабник. Оба с Кировым любители балерин. Ах, этот Демосфен в Ленинграде! Все еще играет в свою паршивую демократию, без охраны ходит по заводским митингам. Пожалуй, доходитесь... Он тоже пока верен, но на кого опереться в трудный момент?

Сталин день и ночь держал в голове всех членов Политбюро, Оргбюро, Секретариата и контрольной комиссии. Он тасовал их, словно колоду карт, раскладывал, как пасьянс, сопоставлял, приравнивал друг к другу и противопоставлял, потом комбинировал возможные группировки, независимо от себя. Он помнил всех членов

ЦК и ЦКК, знал их достоинства и психологические особенности, физические недостатки и бытовые привычки. Люди чередой проходили перед ним, стоило ему закутить трубку и прищурить глаза. Для него не было разницы между живыми и мертвыми. Иногда мертвые служат не хуже живых. Евангельский Лазарь был воскрешен Христом, харьковский Лазарь сам способен воскрешать мертвецов. В том и беда, что последыш хазарского каганата знает о мертвых не хуже Сталина! Неужели он и впрямь связан с Троцким? Всякий раз при этой мысли зубы сжимают ражшитовый чубук, отвратительный холодок страха рождается между ключицами, стремительно опускается вниз, охватывает внутренность живота и так же стремительно угасает. Кооптация Кагановича в Секретариат ничего не дала, он стал еще самоуверенней. Может быть, лучше было оставить его на Украине? Нет, таких лучше держать под боком!

Усилием воли Сталин пытался успокоить себя, взял из стола толстый том Пыпина и задумчиво полистал. Текст был совершенно тупой, нудный, как речи вождей. И эти масонские атрибуты, вся эта романтическая заушь со шпагами и свечами... Она похожа в чем-то на детские игры. Но все это ему придется читать! «Афырхаца...»

Он не мог вытравить из своей памяти и еще один день — день православной Пасхи 1909 года. После операции ЭКС не прошло и двух лет. Он помнит, как мальчишки с той же Эриванской площади бросали в него камнями... В тот день 1-я рота расквартированного в Тифлисе Сальянского полка прогнала его сквозь строй... Солдаты, эти бывшие мужики, привыкшие жалеть даже скотину, не умели пороть, они опускали прутья на его спину только для вида, лениво и с хохотом. Офицер нарочно то и дело глядел в сторону, фельдфебель торопил экзекуцию... И только один из солдат сильно ударил ниже спины, Сталин навсегда запомнил тот казарменный двор.

Навсегда...

Но что значил тот удар по сравнению...

Его начинал душить гнев, когда он вспоминал нечто ужасное, нечто кошмарно-непредсказуемое, связанное с одной анонимкой, полученной во время борьбы с Троцким.

Бледнея от злобы, поднялся он над своим столом, смахнул на ковер телеграммы и прошел в тесный коридорчик-прихожую, где висело пальто с меховой шапкой и стояла утепленная обувь.

Он ничего не заметил, ни на кого не взглянул осмысленно, пока не вдохнул холодного декабрьского воздуха, пока снег не скрипнул под валенками.

В Кремле было морозно, пусто и совершенно безлюдно. Закатное солнце упиралось остывшими лучами в белый бок Ивана Великого. Казалось, что оно светило откуда-то снизу.

Нет, он никогда не хотел быть кремлевским затворником! Но ему наплевать ровным счетом, что о нем думают... Ровным счетом...

Но какая же мерзость, какое унижающее состояние всегда быть зависимым! Как гнусно, как омерзительно вечно ощущать над собой этот топор, занесенный над

головой! Он висит над тобой день и ночь, день и ночь не исчезает угроза разоблачения. Откуда у них бумаги? Почему он, Коба, был таким дураком, что не ударил палец о палец, чтобы уничтожить архивы охранки? Как попали они в руки Троцкого?

Он думал сейчас о великой стране, которой руководил. Прошлогодняя поездка в Сибирь еще раз убедила в том, что Троцкий по отношению к крестьянству был абсолютно прав. Эти мешки с дерьмом действительно не годятся даже на баррикады. Мировая революция выдохнется и растворится в инертной мужицкой массе. Этого почему-то не чувствовал лысый пророк, написавший письмо к съезду. Сколько же можно вспоминать эту гнусную записку, написанную в предсмертном бреде? Наш живописец, любитель певчих птиц и писатель, все еще мнит себя первым наследником Ленина. Впрочем, уже с оглядкой мнит. Участь его была решена на апрельском пленуме. Выступая, он бил себя в грудь и кричал на весь Андреевский зал: «Вы не дожидаетесь платформы! Я не правый! Уклона не будет!» Он сравнивал себя с зайцем в клетке, в которого тычут палкой. Он взывал к членам ЦК, требовал справедливости и ждал, что Коба возьмет наконец слово и защитит его от нападок. Но разве в том дело, что кто-то правый, а кто-то левый? Дело в другом... Не надо было бегать к Зиновьеву! Только благодаря либеральному заступничеству Бухарина Троцкий не расстрелян, а выслан в Алма-Ату. Какая ошибка! Бухарин дурак, он ничего не понимает в политике. Лучше бы он занимался гимнастикой, кормил кенаров да сочинял статьи о Демьяне Бедном. Да, он помогал избавиться от Троцкого, но вместе с Крупской спас его от расстрела и выпустил за границу. Он все еще думает, что существует какая-то партийная этика. Ему не приходит даже в голову, что сам-то Троцкий ни минуты не стал бы раздумывать. Что ж, Бухарин, пеняй теперь на себя... Он, Коба, не раздумывая, отдает его на съездию. Пусть они им подавятся! Им и тем мужичком, который на вопрос «почему не сдаешь хлеб?» сказал: «А ты попляши, парень, тогда я тебе и дам пуда два!» Нет, Сталин не собирается плясать даже под масонскую дудку, не говоря о мужицкой! Он разделается с ними позднее, а пока... Пока он должен, наконец, выяснить автора анонимки.

Как всегда, определенность ближайшей задачи вернула ему хладнокровную деловитость. Он бодро открыл наружную дверь и поднялся по лестнице. Он даже козырнул охране — молодцеватому деревенскому парню, одетому в несколько мешковатую форму. Парень то и дело разгонял ремнем складки гимнастерки и не смог скрыть восторженную улыбку. В приемной сталинского кабинета точь-в-точь те же движения повторил поднявшийся навстречу Поскребышев. Только улыбка была не такой долгой.

— Принеси два стакана чаю! — сказал Генсек помощнику, когда тот вошел в кабинет следом за ним и вкрадчиво положил на стол папку от Яковлева.

— Может, повеселей что-нибудь, Иосиф Виссарионович? — спросил Поскребышев. — Все-таки день-то сегодня особенный.

Генеральный ничего не сказал. Он терпеть не мог

фамильярности. Поскребышев ничуть не испугался, хотя и ушел поспешно.

Сталин отодвинул газету со статьей Ворошилова, затем прочитал черновик записки, с утра отосланной в редакцию «Правды»: «Ваши поздравления и приветствия отношу на счет великой партии рабочего класса, родившей и воспитавшей меня по образу своему и подобию. И именно потому, что отношу их на счет нашей славной ленинской партии, беру на себя смелость ответить вам большевистской благодарностью.

Можете не сомневаться, товарищи, что я готов и впредь отдать делу рабочего класса, делу пролетарской революции и мирового коммунизма все свои силы, все свои способности и, если понадобится, всю свою кровь, каплю за каплей.

С глубоким уважением
И. Сталин

21 декабря 1929 г.».

Что-то раздражало его вновь: то ли разорванный и выброшенный черновик, то ли склеротический хрип трубочного самшитового мундштука. Или вновь переменная погода?.. Да, сентиментальную «каплю за каплей» надо было, пожалуй, выбросить. Но если звонить в редакцию, то будет еще хуже; звонок стал бы поводом для зубоскальства. Ему вспомнилась бухаринская острота насчет Поскребышева и Ворошилова: «Тут поскребем да там поворошим, глядишь, — и нет хлебного дефицита». Что же не *скребут* и не *ворошат* эти болваны из ведомства Менжинского? Конверт с вологодским почтовым штемпелем все эти годы стоял в глазах. Сталин был уверен, что писали из Ленинграда. Адрес был отпечатан на старой, еще с ятями машинке, по-видимому «ундервуде». Заглавное «О» было похоже на заглавное «С», поскольку носилось. Разве так трудно обнаружить владельца «ундервуда»? Прошло несколько лет, но Менжинский все еще ничего не сделал. Неужели все они заодно? Сталин сопротивлялся, старался забыть содержание той анонимки. Но она сидела в мозгу прочней год от года! В ней было всего три с половиной строчки. Не мог он забыть, как, поддавшись жестокой панике, он написал тогда заявление в Политбюро: «Прошу освободить меня от обязанностей Генерального секретаря. Потому что больше не могу исполнять эти обязанности, я не могу быть Генеральным секретарем. Сталин».

Нет, его не освободили тогда от этих обязанностей! Политбюро приказало остаться, и он подчинился и тогда же мысленно произнес: «Пеняйте теперь на себя...»

Вошел Поскребышев с чайным подносом, с пачкой новых телеграмм. Сталин зажег настольную лампу, рассеянно полистал яковлевские тезисы и отложил папку. «Подождет! Довольно и того, что сделан наркомом...»

— Еще что, Иосиф Виссарионович? — Поскребышев стоял, чувствуя, что можно не уходить.

Сталин медленно и косолапо ходил около своего стола:

— Ты помнишь анекдот? Пустили троцкисты, а Уг-

ланов, кажется, рассказывал на Московском пленуме.

— Они много анекдотов пускают.

— Ну тот, что про меня и про Ворошилова.

— А...— кашлянул Поскребышев.— Ворошилов сказал: «Если Сталин не повернет вправо ЦК и Политбюро, я поверну вправо Красную Армию». Этот?

Сталин опять начал ходить, переваливаясь.

— Найди мне книги, касающиеся Пржевальского! — остановился и сказал он.— И еще книгу Шмакова «Еврейский вопрос».

— Слушаю. Сделаю.— Поскребышев развернул блокнот и записал: — Все будет завтра же...

— Тебя что, память подводит? — Сталин остановился напротив помощника.

— Да нет, Иосиф Виссарионович, на память пока не жалуюсь,— наконец смутился Поскребышев.

— Дай твой блокнот.

Сталин взял блокнот, повернул его одним боком, другим. Вырвал листок с последней записью Поскребышева, зажег спичку и аккуратно спалил бумажку над пепельницей. Крохотный оставшийся уголок бумаги, не сгоревший в его подростковых пальцах, он подал помощнику.

— Ясно, товарищ Сталин! — четко сказал Поскребышев.

— Сомневаюсь, что ты быстро найдешь книгу Шмакова. Может быть, ты не найдешь ее не только завтра, но и послезавтра... Да, свяжись с Бергавиновым. Скажи ему, что переименовывать города намного легче, чем строить социализм. Пускай лучше поскорее разбирается с вологодскими правыми.

— Разрешите идти, Иосиф Виссарионович? — снова бодро отозвался Поскребышев и, не дожидаясь ответа, такой же бодрой походкой вышел из кабинета, осторожно прикрыл за собой большую бесшумную дверь.

За окном сквозь бесцветные зимние сумерки холодным мертвенным светом исходили кремлевские фонари. Наиболее сильно желтели отблески этого освещения со стороны Кутафьей башни, где находилась дежурная будка Буденного. Разбирая свежую порцию писем и телеграмм, Сталин вдруг ощутил тревогу: в куче корреспонденции оказался тонкий пакет со штемпелем города Ленинграда с подозрительно аккуратным адресом, написанным округлым и крупным женским почерком. Он с ненавистью разорвал пакет, и чутье опытного конспиратора не обмануло его. Листок, отпечатанный на машинке, гласил: «Только для служебного пользования! Опись матерьялов, извлеченных из синодальных и жандармских архивов: № 1. Характеристика училищного совета. № 2. Отношение начальнику Енисейского охранного отделения А. Ф. Железнякову за подписью зав. особым отделом Департамента полиции от 12 июля 1913 года. Продолжение в следующем письме». Он вздрогнул, словно в ознобе. Паршивцы! Они знали о нем все, знали больше, чем он думал.

* * *

В воскресенье 22 декабря бумаги Яковлева обсуждались в Политбюро и были раскритикованы. Сталин

неожиданно оказался левее самых левых. Он сделал значительные поправки к проекту постановления... в сторону ужесточения. Но заместитель предсовнаркома Рыскулов загнул левее даже и самого Сталина, обвиняя шайку Яковлева ни больше ни меньше как в правом уклоне! Так нарастало и крепло соревнование в левизне, так Верейкис, Голощекин и Коснор с Беленьким оказались правее Сталина и Рыскулова! Это поистине сатанинское превращение произошло в пятницу, 3 января нового, 1930 года, а 5 января (опять воскресенье!) родилось знаменитое решение ЦК «О темпах коллективизации». Бесы все больше и больше входили в раж. Через десять дней, 15 января, они учинили вторую яковлевскую комиссию — зловещий синклит по выработке методов уничтожения и разорения. Здесь, помимо андреевых и бауманов, появились новые лица, такие, как Анцелович и Юркин. Был среди них и секретарь Севкрайкома Сергей Адамович Бергавинов...

Нужно было в невиданно короткий срок разорить миллионы крестьянских гнезд, требовалось натравить друг на друга, перессорить их между собой, не выпуская из рук вожжей общего руководства. И если они, эти вожжи, по каким-либо причинам не удержатся в руках усатого ямщика, что ж, тем лучше! Пускай несется, пускай летит гоголевская тройка прямо в горнило новой гражданской войны! Ведь это было бы еще интересней.

Секретные бумаги всех подкомиссий второй яковлевской комиссии объединились в единый дьявольский свиток. Продумывались и тщательно взвешивались мельчайшие детали и варианты. Военная терминология позволяла сочетать глобальную по масштабам пространства стратегию с тактикой частного поведения. Операции намечались с точностью до одного часа.

Подкомиссия «О темпе коллективизации» по часам расписала сроки всех действий: подкомиссия «О типе хозяйств» выработала демагогический план подмены кооператива артелью; подкомиссия по оргвопросам расписала, куда кому ехать и кому за что отвечать, вплоть до района и волости. Отдельно от нее действовали подкомиссии «по кадрам», «по мобилизации крестьянских средств» и т. д.

С точностью до вагона, до баржи было высчитано, сколько потребуется транспортных средств, спланирована потребность в войсках и охранниках. Всех намеченных на заклятие разделили на три категории. Установили минимальный от общего числа раскулаченных процент для расстрелов, то есть процент отнесенных к первой категории. Вторую категорию решено было выслать из родных мест в труднодоступные районы, третью лишить имущества и предоставить судьбе.

А на местах задолго до постановления уже свирепствовали местные, не имевшие терпения башибузуки. Уже стоял на земле великий плач — во многих местах Поволжья и Украины лились не только слезы, но и кровь.

Недолго же торговался Сталин, покупая себе место на троне! Он заплатил за него чистой русской и украинской кровью, не зря же гуляла по

Москве хитрая байка о перенаселенности русских и украинских деревень.

Но чтобы осуществить планы яковлевской комиссии, нужны были кадры и кадры...

II

Арсентий Шиловский возвращался домой глубокой ночью последним трамваем. Гремящий на стыках пустой вагон мотало из стороны в сторону, как мотает пьяного забуддыгу. Колеса бесцеремонно стучали по морозной спящей Москве. Кондуктор дремала на своем сиденье. Она забывала дергать за бечеву звонка, но не забывала прижимать к животу брезентовую сумку с монетами. Шиловский не дождался остановки, прыгнул на повороте.

Сразу после неожиданной и скоропостижной смерти матери он переехал с Шаболовки. Дом «бывшего Зайцева» сменился красивым дворянским особняком, здесь Шиловский с женой Клавой занимали две комнаты. Но такие обширные были эти комнаты, так высоки потолки, что Арсентию становилось не по себе, когда он просыпался среди ночи. Лепнина вокруг большой потолочной люстры была такая внушительная, так велик был общий объем, что становилось холодно, неуютно, словно ночуешь не дома, а на вокзале. И тогда Шиловский жалел старую квартиру, где они жили когда-то с матерью и Петькой Гириным. Клава тоже не очень любила новое жильё: она по-прежнему работала на заводе, было далеко ездить.

Шиловский вспоминал былое время как счастливое и безбедное. Литейная гарь еще не выветрилась из старой его одежды, которую Клава хранила в кладовке. Еще снились по ночам опоки и стержни, снились кипящая, как самовар, полыхающая жаром вагранка и добрый, хотя и хмурый с виду, вагранщик Гусев. Ни мастера Малышева, ни Гусева, ни завальщика Гришку Устименко Шиловский ни разу не встретил с тех пор, как ушел с завода...

А почему он ушел с завода?

Трамвай рассыпал с дуги сноп красноватых искр, напомнивших литейный цех. Приглушенный морозом стук железа исчез. Арсентий поднял воротник полушубка, сшитого на манер украинской бекеши. Но его не радовал теперь ни этот полушубок, ни новая форма, висевшая больше в шкафу, ни эта квартира в красивом московском доме. Казалось, что и жена Клава стала с тех пор другая...

Однажды, вскоре после того, как Петька исчез из Москвы, а Клава окончательно перебралась на другую кровать, Арсентия вызвали в органы. Лысый кареглазый, с горбатым носом человек сказал: «Сядьте и подумайте, зачем мы вас вызвали!» Сказал и ушел. Шиловский минут двадцать сидел один, вспоминая свои грехи и проступки. Пришел другой начальник, еще более строгий и молчаливый. Шиловского держали много часов подряд, выпрашивая про Петьку Гирина. Под конец ему предложили все рассказанное изложить на бумаге. Шиловский добросовестно записал все, что знал о Гири-не, но его тут же прошиб холодный пот: отпуская его,

молчаливый допросчик как бы мимоходом сказал, что Шиловский обвиняется в связи с врагами пролетарского государства... Пораженный Шиловский не знал, что говорить.

— Но вы не беспокойтесь,— сказали ему напоследок.— У вас есть время все обдумать и во всем разобратся.

В чем надо было разбираться? Не знал он, в чем, но начал все-таки усиленно разбираться.

Через две недели, когда бригада формовщиков переходила на новую модель, в самый неподходящий момент измученного всевозможными предположениями Шиловского вызвали в райком. Билинкс без всяких предисловий объявил, что приходили из органов, интересовались личным делом. Шиловскому было приказано никуда не уезжать и ждать нового вызова. Арсентий похудел за те дни, от волнений на коже появилась какая-то сыпь. Работа валилась из рук. Во время третьего вызова ему сказали, что партия, в связи с особым заданием, отзывает его с завода. Будто упала гора с плеч! Если не считать некоторого тщеславия, связанного с *особым* к нему доверием, с *особым* предстоящим заданием, он ничего не испытывал, был рад, что все кончилось, и с легким сердцем ушел из дома по четвертому вызову...

С тех пор он не возвращался в литейный цех. Много недель жил Шиловский на казарменном положении. Домой появлялся редко. Спецгруппа из полутора десятков выдвиженцев изучала политграмоту, а также огнестрельное оружие и приемы силовой борьбы. Клава и Лаврентьевна были строго-настроено предупреждены, они ничего не должны были знать. На вопросы знакомые они отвечали, что Арсентий в отпуске, в Крыму. Вначале они и впрямь думали, что он в Крыму.

«Н-да, Крым...— Арсентий крикнул, разбираясь в ключах.— Это такой Крым, что...»

Он не додумал мысленной фразы, через черный ход прошел на парадную лестницу особняка и поднялся на второй этаж. Везде было темно, а его фонарик с севшей батарейкой еле светил. Арсентий только хотел другим ключом открыть высокую дверь, как вдруг в темном конце коридора обозначилась чья-то фигура. Шиловский замер, готовый к отпору, но человек громким шепотом успокоил его:

— Товарищ Шиловский? Тише. Где вы были? Я жду вас третий час. Вам пакет. Распишитесь...

Незнакомец своим довольно ярким фонариком осветил ведомость, подал собственный карандаш. Электрический фонарик был признаком исключительности и высокого положения. Шиловский почтительно расписался. Нарочный козырнул и, видимо не путаясь в ключах, бесшумно исчез внизу.

Пакет. Сколько было таких пакетов за эту осень! Арсентий разорвал клеенный из толстой бумаги конверт, светя умирающим фонариком, прочитал записку с надписью: «Сверхсекретно. По прочтении уничтожить». Он скомкал бумажку. Там ничего не было, кроме предложения явиться к десяти часам по определенному адресу. Ясно, что предстояла командировка. В отпуск. В Крым...

Он прошел в общую кухню, чиркнул спичкой. Положил бумажный комочек на примусную головку и той же не успевшей погаснуть спичкой поджег. С полминуты глядел на горящий комочек, а когда тот догорел, сдунул бумажный пепел с примуса и прошел в комнату.

У кровати, на которой, тихо похрапывая, спала жена Клава, Арсентий присел на стул, снял один хромовый, пахнущий гуталином сапог и задумался. Долго сидел он так, забыв про другую обутую ногу. Он сидел так, зная, что ему опять не уснуть, сидел и, как ему представлялось, думал о своей жизни. На самом деле в его голове ничего не было всерьез осмысленного. «Кому-то надо...» — твердил он про себя.

Картины прошедшего дня и ночи яркими, вполне реальными и все же кошмарными видениями опять одна за одной всплывали перед глазами. Руки его тряслись, когда он снял второй сапог и, не желая будить жену, полулежа разместился в старом глубоком кресле. Сколько времени? Он пытался уснуть, закрыть глаза. Но стоило ему зажмуриться, как вновь и вновь перед ним явственно обозначалась лохматая женская голова, расширенные от ужаса глаза и, наконец, толстые ноги, широко и бесстыдно раздвинутые на цементном полу. «Органы,— мелькнуло в его туманном, бесконечно усталом мозгу.— Тут и тут... органы...» Как началось все это? Нет, ему не вспомнить бы все по порядку, если б даже он захотел вспомнить все это.

Только что завершился шахтинский процесс, начинались дела с промпартией. После нескольких недель казарменного положения его вместе с другими отобранными однокашниками направили в охрану Лефортова, затем так же быстро отозвали и ежедневно, подолгу беседовали с каждым из них. Темой бесед неизменно было одно и то же: близость войны, классовое самосознание и важность особого партийного поручения, особой ответственности, которая отныне возлагается на него, Арсентия Шиловского.

К тому времени он уже превосходно владел маузером.

Однажды руководитель группы, одетый в тот день в гражданское, привез его в незнакомое место. Они ехали в закрытой безоконной машине, ехали долго, и Арсентий не смог бы определить, где они находятся. Машина остановилась в каком-то дворе, задом к лестнице, ведущей в подвальное помещение. Когда спустились вниз и вошли за окованную железом дверь, начальник по-панибратски хлопнул Шиловского по спине:

— Вот, сдаю с рук на руки!

Арсентий обернулся и увидел небольшого черноглазого человека, одетого в полувоенный костюм, почти юношу, однако совсем лысого, спокойного и невозмутимого. Глаза лысого юноши прищурились и пронзительно уставились прямо в лицо Шиловского. Арсентий отвел взгляд, по спине пробежала легкая знобящая дрожь.

— Товарищ Шиловский? Садитесь.— Человек подал вначале стул, потом сунул в руку Арсентия маленькую, холодно-костлявую ладоньку. И слегка давил,

продолжая: — Познакомимся. Вам поручено особо важное задание. Надеюсь, вы с честью с ним справитесь. Как вы себя чувствуете?

— Чувствую? Хорошо.

Шиловский недоуменно оглянулся на руководителя группы, но услышал новый вопрос:

— Вы ели сегодня?

— Да. То есть чай пили внакладку...

Начальник группы молча стоял в маленьком оштукатуренном кабинетике, где ничего не было, кроме стола и сейфа.

Незнакомец опять с головы до ног оглядел Шиловского. Леденящий взгляд этот завораживал, и пугал, и отталкивал, и притягивал. Зрачки были то черными, то белыми, они то расширялись, то исчезали. Но Шиловского больше всего поразила девичья нежность на щеках этого миниатюрного человека. Казалось, бритва никогда не касалась этих матовых щек.

— Встать! Смирно! — крикнул вдруг руководитель группы.

Шиловский вскочил.

— Товарищ Шиловский, слушайте приказ. Вам поручается особо важное задание участвовать в ликвидации преступного элемента, вашего классового врага и врага всего трудового народа!

Арсентий не успел осмыслить сказанного: все трое уже шли по узкому, длинному, беленному известкой подвальному коридору. Он не заметил исчезновения начальника группы. Запомнились одни колена и тройники центрального отопления и канализации. Дальнейшее происходило также машинально, буднично и как-то даже скучно. Они вдвоем зашли в помещение без окон, правильной кубической формы. Лысый оставил двери открытыми. Под потолком, в сетке из ржавеющей проволоки, горела электрическая лампа. Арсентий заметил даже муху, присохшую к проволоке. Потолок и три серых стены были голые, лишь противоположная от входа стенка забрана деревом, покрытым каким-то войлоком. В покотом гладком цементном полу вдоль по периметру трех стен явственно обозначались неглубокие желобки с тремя канализационными отверстиями. Отверстия, прикрытые квадратными дырчатыми железками, напоминали казарменный душ или даже коммунальную баню...

Шиловский машинально взял толстую дукатовскую папиросу, также машинально прикурил от огонька лысого юноши. В эту минуту через раскрытую дверь послышались звуки шагов. Шиловский видел, как лысый неторопливо бросил окурок и достал из кобуры оружие. Юноша велел встать рядом с дверью, сам встал тоже около двери, но с другой стороны. Он повернул дуло на себя, прищурился и зачем-то дунул в него. Шаги — они были двойные — приблизились. Лысый галантно, словно приглашая на танец, отвел в сторону руку с маузером. В дверях появился седой, стриженный ежиком человек в ботинках, без головного убора, покрытый непромокаемым макинтошем. Легкий толчок конвоира направил его на середину комнаты. Конвоир тотчас отпрянул и удалился, притворив за собой дверь, которую лысый проворно закрыл на крюк. Человек в шелестящем плаще

в недоуменном раздумывании переступил с ноги на ногу, начал поворачиваться лицом к двери.

Шиловский плохо помнил, что было дальше. Кажется, стриженный ежиком, увидев наведенное на него дуло, зажмурился как бы от яркого света и вскинул правую руку. В то же время послышались два хлопка, отрывистых и коротких. «Макинтош» упал к ногам Шиловского, судорожно повернулся на спину, дернулся и с хрипом, по-птичьи двигая пальцами рук, тихо распрямил ноги в коленях. Арсентий без испуга глядел на бордовую дырку во лбу, на стеклянные, глядевшие в потолок глаза. Струйка крови брала начало из-под седого затылка, она потихоньку искала путь в сторону бетонного желоба.

— Вот так, товарищ Шиловский,— слышал Арсентий словно из-за стены.— Еще один контрик отбрыкался. Как вы себя чувствуете? Не тошнит?

Шиловский не помнил, что ответил на этот сочувствующий вопрос. Он шел коридором в какой-то странной, тупой забывчивости. «Кому-то надо,— твердил он сам себе.— Кому-то надо...»

Назавтра, когда его вновь привезли сюда, его бросило в пот. Лысый юноша встретил Шиловского как старого знакомого, успокоительно давнул за плечо:

— Обедал?

Арсентий не обедал.

— В каком состоянии твой маузер? — по-домашнему спросил юноша, взял маузер Шиловского и положил на стол.— Возьми лучше мой.— Открыл сейф и достал свой.

Арсентий с изумлением увидел в сейфе бутылку водки и двойное кольцо колбасы. Лысый спокойно, из сейфа же, достал два граненых чайных стакана. Вышиб из бутылки бумажную, залитую сургучом пробку, налил один стакан полным, другой вполовину. Потом разорвал кольцо колбасы и подал одну часть Шиловскому:

— Держи! Больше ничего нет.

Шиловский взял колбасу и половинный стакан, но лысый отнял и подал полный.

— Пей!

Шиловский выпил одним махом, не переводя дух, откусил колбасы. Все же он наблюдал за лысым. Тот брезгливо понюхал содержимое стакана, отпил глоток и выплеснул остальное в угол:

— Дрянь... Плебейское пойло. Ты русский?

— Да,— сказал Шиловский.

— Пей! — Лысый вновь налил в стакан.— Впрочем, нет. Сейчас нет. Лучше после выполненного задания.

Шиловский вздрогнул. Хмель не туманил сознание, но команду «встать! смирно!» он выполнил с запозданием, слова приказа совсем не запомнил. «Кому-то надо»,— вертелось в мозгу. Также нечетко, вяло он брал оружие, шел коридором, курил словно во сне и словно во сне он услышал шаги. Когда обреченный от ловкого, хорошо заученного толчка в спину оказался посреди комнаты, лысый злобно и яростно зашептал Шиловскому в ухо: «Ну? Живо! Живо!»

Шиловский, подчиняясь чьей-то властной всесильной воле, в страхе поднял взведенный маузер, долго, мучительно фиксировал оружие в воздухе. Запомнил Арсентий одно: подчинялся он совсем не этому юноше, можно было оттолкнуть его и уйти. Нет, он подчинялся в тот миг чему-то совсем иному, какая-то иная внутренняя сила велела нажать на спуск. Человек, в грудь которого Шиловский стрелял, словно бы удивленно развел руками, долго не хотел падать. Но вдруг его повело в сторону, ноги его подкосились, он грохнулся на цементный пол.

— Молодец. Очень хорошо! — Лысый сунул в левую руку Шиловского зажженную папиросу.

Дальше, в другие дни, все пошло своим чередом. Машина. Сейф. Полстакана водки и сорок шагов коридором. Кубическая пустая оштукатуренная коробка с желобами. Растерянная фигура, перетаптывающаяся на цементном полу. Когда фигура начинала поворачиваться — выстрел, иногда два. И снова сорок шагов. Следствие вели одни, приговор выносили другие, третьи вытаскивали на носилках трупы. Отвозили же четвертые, а пятые приходили в подвальную комнату со шваброй и ведром теплой воды. В этой очередности истинно третьим был сам Шиловский, но про себя он почему-то всегда забывал, словно не участвовал во всем этом.

Дни проходили за днями.

Да, дни проходили за днями, и Шиловский получил уже множество благодарностей, и его ни разу не стошнило, не вырвало. Вот только сегодня... И то потому, что он впервые расстрелял женщину. Когда он закрывал дверь на крюк, женщина увидела маузер, все поняла и закричала пронзительно, со вселенским ужасом, и от этого крика, вместо того чтобы стрелять, он отпрянул к стене. Она же, не теряя времени, пгицей бросилась на него. Обняла, рыдая, прильнула к нему, увлекла на цементный пол и все говорила и говорила что-то полубезумное, разрывая свою одежду, раскрывая ему свое лоно... Она была молода, и это было так для него непосильно, что он забыл про себя, про свой классовый долг, он враз превратился в иступленного, яростного самца. Она была прекрасна, эта цепляющаяся за жизнь женщина, но его рука даже в тот момент не выпустила оружия. Иступление длилось всего две или три минуты. Оно моментально превратилось в досаду, в недоумение, и тут... тут захлестнула Шиловского злоба. То была злоба на самого себя. Он же, ни к чему не прислушиваясь, оборотил свою злобу в ненависть к этому победившему его существу...

Он вскочил и расстрелял в нее половину боезапаса, в лежащую, обезумевшую, и, когда она, лохматая, окровавленная, ползла к нему и хваталась за его сапоги, его начало рвать. Его рвало, пока он расходовал остальные патроны, ступал коридором, пока закрывал сейф, отмечался на проходной и ждал машину.

Он попросил шофера отвезти его в Сокольники. Он долго бродил по лесу, пока неизвестно как не очутился на Каланчевке. Он сел в трамвай и ездил по Москве до глубокой ночи. Он пробовал подремать, пересаживался из трамвая в трамвай, словно пытаюсь уйти от видений.

Лохматая окровавленная голова и мощная белоснежная грудь с коричневым обводом вокруг соска то и дело менялись местами, и тогда его настигал ужас, и он открывал глаза, и будничность трамвайных ездовых снова приводила его в себя.

...Сейчас он сидел в кресле, стараясь изо всех сил забыть видение, освободиться от него навсегда. Почему двенадцать мужчин, расстрелянных им, ни разу, никогда, даже во сне не вставали в его глазах? Почему? А эта... Он вновь с отвращением вспомнил все что было и встал. Уже светало. В рассеивающемся сумраке он увидел спящую на кровати жену, у нее была та же самая поза: широко раскинутые колени и разлохмаченные вокруг головы волосы... Он весь содрогнулся. Клава на секунду показалась ему мертвой. Он прикрыл одеялом ее белеющее в сумраке колено, она пробудилась, сладко потянулась к нему, улыбаясь и не открывая глаза:

— Арсик, который час?

— Спи...— шепотом произнес Шиловский.

Жена до сих пор не знает о его новой службе. Она живет себе припеваючи. На часах четверть девятого. У всех выходной, а ему ровно в десять надо явиться в означенное место столицы. Предстоит длительная иногородняя командировка. Но она, его Клава, спокойно спит в этом буржуйском особняке.

* * *

Шиловский выехал с Ярославского вокзала в распоряжение орготдела Северного краевого ОГПУ. Шифровка о приезде в Архангельск спецкомандированного опередила его на двое суток, потому что поезд на север шел нудно и долго. В Данилове замерзли какие-то трубы, и проводник отогревал их кипятком. Пар мешался в тамбуре с вонючим запахом желтого антрацитного дыма. Шиловский вторые сутки ничего не ел, только пил чай да курил в тамбуре, даже не пробуя заводить знакомство с соседями.

В Данилово поезд основательно застрял, расписание сбилось. Вместе с проверкой билетов второй раз проверяли документы, и Шиловский вышел в холодный тамбур.

Наружная вагонная дверь была открыта. На соседних путях стояли пустые полувагоны-телятники. Раздался буферный грохот и лязг, составом, видимо, маневрировали. На место порожняка, шипя паровозом, уже накатывался новый состав. Шиловский насчитал десять теплушек. Над каждой из них подымался дымок, несколько вагонов были оборудованы под конюшни. Поезд не остановился, он лишь замедлил ход: составы с войсками ОГПУ пропускались на север без очереди.

Пожилой даниловский железнодорожник, махая грязно-желтым флажком, остановился неподалеку. К нему, с другой стороны станции, подошел высокий военный в шинели и финской шапке с еле заметной звездочкой. Черные, словно от ваксы усы военного привлекли почему-то взгляд Шиловского. Военный повернулся к Шиловскому в профиль, и Арсентий узнал в нем Петьку Гирина. Или это не он?

Шиловский хотел окликнуть Петьку, но одумался и проглотил окрик. Он прикрыл дверь, оставив для наблюдения достаточно широко щель.

Сомнений не стало. На перроне стоял Гирин. Только усы у него были не соломенно-белые, а густо-черные, даже с отливом. «Чем это он накрутился? — подумал Шиловский.— Так... Так-так, Петр Николаевич». Неудержимое желание окликнуть Гирина опять завладело Шиловским, но он вновь подавил это желание. Поезд наконец тронулся. Вагон прошел в полтора метра от Гирина и железнодорожника, Шиловский услышал даже гиринский голос. Петька громко доказывал что-то, тыкая пальцем то в одну, то в другую сторону.

Шиловский прихлопнул дверь. «Скрывается,— с волнением подумал он.— Наверняка под чужой фамилией. Так-так...»

Он пока не знал, что означало это «так-так». Но в нем уже зрело какое-то определенное и точное решение.

В Вологде поезд тоже стоял дольше обычного. Шиловский остался один в купе, взял из чемодана листок почтовой бумаги и начал писать карандашом без помарок и не спеша:

«Довожу до сведения, что уроженец д. Шибанихи Ольховской волости Вологодской губернии Петр Николаевич Гирин сего числа был встречен мною, Шиловским А., на ст. Данилов СЖД в форме войск ОГПУ. Ранее т. Гирин был уволен из канцелярии ЦИК с должности курьера и выехал из Москвы. По всей вероятности, т. Гирин скрывается от органов... К нему».

Шиловский расписался. Затем он переправил «т» у фамилии «Гирин» на «гр.» и хотел уже поставить число, как вдруг его осенила новая мысль: «Откуда тебе знать, что он скрывается? Может, его выслали из Москвы специально... Нет, нельзя торопиться. Не стоит... Бумага пусть полежит, время есть».

И Шиловский сунул донос на дно чемодана, где лежал его номерной маузер, бритвенный прибор и смена теплого байкового белья.

Никаких иных бумаг или документов, кроме удостоверения и одного маленького предписания, у Шиловского не имелось. Все инструкции получены были в устной и только в устной форме! Надо было явиться в краевое ОГПУ лично к товарищу Аустрину и объяснить, что прибыл для выполнения особых заданий. Никто из работников ОГПУ, кроме Аустрина, не должен был знать, о каких заданиях шла речь. Когда в Москве Шиловский спросил, надолго ли его посылают, тот, кто выдавал устную инструкцию, полушутливо сказал: «Пока пароходы на Соловки не двинутся». Служба в органах была действительно особая служба. Старшие тут почти всегда были с тобой на «ты», могли в любую минуту шутливо обматерить или похлопать по мокрому от холодного пота хребту. Никогда ничего не узнаешь толком. Начальник энергично пожал Шиловскому руку и сказал, вроде уже всерьез: «Не задерживайся. Но если на месте не подготовишь себе замену, о Москве не мечтай. Жена будет в курсе».

Легко сказать, «подготовить замену»! Шиловский

думал, прикидывал, с чего начать и чем кончить. В голову ничего путного не приходило...

Поезд опоздал чуть ли не на двое суток. Хорошо еще, что пришел он засветло. На другой берег Двины Шиловский добрался без приключений. Город, однако же, сразу ему не задался. Во-первых, стоял какой-то промозглый собачий холод, хотя температура была едва-едва понижее нуля. Во-вторых, не было ни одной порядочной улицы, одни какие-то деревянные, иногда совсем косые дома. Народу мало. Ветер шелестел обрывками афиш на деревянном заборе.

«Гастроли мюзик-холл!» — прочитал Шиловский.

Более мелким шрифтом перечислялись участники этого «мюзика»:

«Известный трансформатор
ВАЛЕНТИН КАВЕЦКИЙ

Артисты Ленэстрады, сатирики
НЕКЛЮДОВА И МУРАВСКИЙ

Партерные акробаты
РУГБИ

Салонный жонглер-чечеточник
ЖЕРВЕ

Исполнитель оригинальных песен современности
П. Д. БАУЭР

Оркестр под управлением
А. С. ЛИТВЯК.

В другом объявлении говорилось, что в кинотеатре «Революция» идет новая научно-игровая фильма «Гоноррея». Кинотеатр «Арс» приглашал посмотреть фильму «Радио-лев» и американскую фильму «Сады Семирамиды». Четвертая фильма, которая шла в Архангельске, была «Трубка коммунара» по Эренбургу. «Надо сходить на досуге», — решил приезжий, но тут же чуть ли не вслух выругался: афиши оказались еще сентябрьской поры.

В центре города рабочие разбирали обширный церковный собор, перестраивали его во что-то иное. Шиловский не стал спрашивать, что тут будет. Рядом, около, как выяснилось, бывшего губернаторского дома, стояли настоящие азросани, окруженные двумя десятками любопытных мальчишек.

Все люди, даже совслужащие, ходили в валенках. Пахло торфяным дымом.

Устроившись в гостинице, Шиловский составил себе мысленный план действий: сходить в баню, подшить свежий подворотничок. Потом хорошенько поспать с дороги и только после этого, утром, идти в управление. Если командировка пойдет нормально, он завтра же начнет просмотр дел, заведенных на заключенных здешней тюрьмы. Может быть, он отберет пять-шесть подходящих кандидатур не только в тюрьме, но и в КПЗ, посоветуется с товарищами и отберет. После чего можно было бы начать приглядку, выбор самого подходящего и постепенное обучение.

III

Владимир Сергеевич Прозоров опять проснулся раньше всей камеры. Он лежал с открытыми в темноту глазами, даже иногда улыбался в эту душную вонючую темноту и все гадал, кто из соседей проснется первым.

С некоторых пор Владимир Сергеевич испытывал смутное ощущение нравственного обновления. Не желая вникать в подробности внутренних перемен, испытывая непреодолимое, почти физическое отвращение к самоанализу, он радовался новому состоянию и боялся его спугнуть. Когда вспоминалось душевное состояние во время ольховского сидения летом 1928 года, Прозоров становилось стыдно...

Но что же переменилось? Что произошло за полтора этих года? Казалось, что ничего, кроме плохого. И тем не менее он чувствовал странное душевное облегчение.

За пределы родного уезда его выслали без суда и несколько месяцев содержали в Архангельске. Затем он физически трудился на лесных разработках и дослужился до звания «советского десятника», построил в дальнем лесопункте подвесную дорогу и, уже как специалист, был отозван обратно в Архангельск.

Звание административно-высланного не очень и тяготило. Прозоров занимал довольно серьезную, требующую инженерских знаний должность. Реконструированные лесозаводов и убыстряющиеся объемы лесопиления заслонили все на свете, вплоть до классовых и религиозных признаков — святая святых новой власти. Ведь еще Ленин требовал от русского Севера полмиллиона ежегодных валютных рублей...

Владимиру Сергеевичу было разрешено жить в частной квартире. Домик с подполом стоял на болотных сваях, был обшит закройной доской, покрашен и огорожен спереди палисадом. Пожилая хозяйка Платонида Артемьевна была бездетной вдовой погибшего на Новой Земле промысловика. Жила она в одной половине вместе с золовкой, другую часть дома занимал Прозоров. Стена была капитальная, но вход в прозоровскую половину имелся только один, через хозяйскую кухню с русской печью. Дверь никогда не закрывалась. Два больших с зелеными лоснящимися листьями фикуса, два сундука и два комода, три кровати и гнутые венские стулья, два кнота и две этажерки заполняли все домовое пространство. На тесных неоклеенных простенках красовалась пара норвежских гравюр, изображавших корабль у входа в фиорд и лесную хижину под скалой. На окнах стояли горшки с геранями.

У той и у другой старушки имелось по старой муфте из черно-бурой лисы. Обе муфты висели в шкапу на шнурах и вынимались по воскресеньям. После хождения в церковь старушки ставили граммофон, чтобы послушать голос Плевицкой. Ранним утром они топили русскую печку, вечером — облицованную изразцами «голландку». Даже в будни пекли овсяные блины, но особенно нравились Прозорову картофельные рогульки. Каждую свободную минуту обе хозяйки весело подхватывали куфтыри и немедля усаживались где посветлее. Прозоров быстро привык к сухому характерному цокоту коклюшек. Почти родными и очень понятными казались ему и розовеющие в сумерках резные окошки, когда он возвращался с работы. И эти герани, и эти ситцевые занавесочки, над которыми издевались клубные снеблужники, вызывали в нем совершенно иное, просветленное чувство.

— А что, право слово, Владимир да Сергиевиц, мы тебе кряду и невесту нашли, было бы от тебя говорено согласное слово! Как тут и было бы.

Напевная поморская речь Платонида переплеталась с бряканьем коклюшек, перемежалась иной раз и старинным, похожим на киевскую былинку, протяжным речитативом. Платонида плела косынки черными нитками, золовка ее, Мария, любила плести белые...

Прозоров при разговорах о женитьбе отшучивался или отмалчивался, но старушки были настойчивы:

— Сегодня всю утрону кошечка-то на окне умывалась, да все одной правой лапкой. Я умом-то и думаю: к чему бы она прихорашивает сама себя? Маша, говорю, ну-ко давай ведра-ти! Надобно по воду бежать, самовар ставить, кошка понапрасну умываться не будет. Так и есть. Божатушка из Бакариц весь день плыла. Чаю-то напилась, да и говорит: уж я бы боярина твою так бы ублаготворила, век бы за меня Бога благодарил! Уж я бы Сергиевица к месту прихитила...

Прозоров ухмылялся. В доме периодически появлялись то «божатушка из Бакариц», то «крестная из Соломбала», каждая с трогательной наивностью пеклась о его холостой судьбе... Однажды Платонида позвала его к воскресному самовару:

— Владимир Сергиевиц, не знаешь ли, пошто у нас с Машей суставы-ти к погоде тоскуют? Ты бы поискал доктора понадежнее! Только чтобы со светлой-то трубочкой.

Маше было шестьдесят, Платониде больше того, но Прозоров посулил. Уже образовались кое-какие знакомства.

Преображенский Алексей Андреевич — увы! — вообще не имел стетоскопа, ни деревянного, ни металлического, но лишенный даже политического доверия, он не боялся заниматься практической медициной. Люди знали и уважали его. Земля и впрямь полнилась слухами. Преображенский еще в прошлом году вылечил у Прозорова какой-то «обменный дефицит», спас от цинги. Жил доктор в бараке, а в остальном его общественное положение ничем не отличалось от прозоровского, отчего они хорошо понимали друг друга.

Летом и осенью Преображенский носил серый прорезиненный макинтош, который шумел на всю набережную. Зимой доктора согревала малица, подаренная немцами в Нарьян-Маре. Крупная фигура Преображенского, несмотря ни на какие невзгоды, не теряла осанки. Походка была по-прежнему «докторской» — неторопливой и сдержанной, стриженная «под ежика» голова только что начинала сесть. При всех обстоятельствах Алексей Андреевич ежедневно брился, сидящие усы были всегда тщательно и ровно подстрижены.

Ко дню докторского прихода поморки добела напустили самовар. После медицинского осмотра и рекомендательных разговоров доктор взошел на прозоровскую половину.

— Нуте-с, Алексей Андреевич, каковы мои патронессы? — вполголоса спросил Прозоров.

— Не беспокойтесь за них, Владимир Сергеевич. Сердце у той и у другой как у семнадцатилетней гимназистки. Надеюсь, переживут даже советскую власть. А... что это вы ерзаете, как на шильях?

Прозоров покраснел.

— Ну, если вы способны еще и краснеть, то тем более! Позвольте быть до конца откровенным. Да, я не люблю эту власть. А за что же ее, скажите, любить? Хотелось бы знать ваше просвещенное мнение.

— Когда нет выбора, вопрос любить или не любить отпадает...

— Позвольте не согласиться, — твердо сказал Преображенский и отвернулся. В профиль его лицо было еще интереснее. — Выбор, насколько мне известно, у русских интеллигентов был. Мы предпочли то, что есть к данному времени. И, что всего примечательней, не желаем признать ошибку...

В тот вечер Платонида принесла самовар на прозоровскую половину. Владимир Сергеевич до полуночи просидел с доктором. Резкость, откровенность и новизна докторских рассуждений поначалу пугали. Но чем чаще приходил Преображенский, чем больше они говорили, тем раскованней чувствовал себя с этим человеком Прозоров. Доктор преображал всех, с кем общался, он как бы оправдывал собственную фамилию...

— Посмотрите, сколько такта у этих женщин! — говорил он во время их последней встречи. — Ради нас с вами они даже кошку из дома выпроваживают. А вот Кедров Михаил Сергеевич, этот потомственный интеллигент, будучи в Архангельске, не различал дамских и мужских туалетов...

— Вы его знали? — удивился Прозоров.

— О, еще как! — Преображенский пил чай с блюдца, по-старомодному, щипцами, мельчил сахар. — Весьма примечательная личность.

Прозоров также знал Кедрова: во-первых, видал его в штабе VI Армии, во-вторых, Кедров был женат на Ольге Августовне Дидрикуль — дочери лесника-управляющего. (Август Иванович Дидрикуль много лет служил потомкам Суворова, кои владели лесной дачей в прозоровском уезде.) Об этом Прозоров и рассказал собеседнику. Тот в свою очередь тоже удивился:

— Значит, Раиса Майзель — это вторая жена Кедрова? Вот оно что! Партийный псевдоним у нее Пластинина... Город Архангельск весьма и весьма близко знает этого палача в юбке.

Прозоров в изумлении отставил чашку, и тотчас доктор сказал:

— Не удивляйтесь, дорогой Владимир Сергеевич! Я своими глазами видел, как Пластинина стреляла в тифозных больных. А ее муженек развлекался тем, что прививал тиф выздоравливающим раненым. Медицинское образование он получил в Лозанне... Гордится знакомством с Горьким, играл Бетховена Ленину. Какая шмота интересов, не правда ли? Впрочем, всем музыкальным инструментам он предпочитает, по-видимому, маузер. Не знаете ли, в какой сфере он сейчас подвизается? Дражайшая его половина, по слухам, снова в Архангельске. Заклинаю вас, берегитесь ее! Ей неведомо сострадание, это воплощенная ведьма. Я напугал вас? Прошу прощения...

— Нет, нет, что вы,— очнулся Прозоров.— Не спешите, прошу вас. Можете переночевать.

Но Преображенский уже надевал свой макинтош. Послышавшись шум от этого надевания, перемежаемый возгласами гостеприимных старушек. Они снабжали доктора паренной в печке брусничкой, на все лады приглашали заходить еще.

Доктор Преображенский, не чинясь, взял берестяной буртасок с ягодами. Прощаясь, пообещался зайти в ближайшую субботу. Он горделиво, с достоинством сошел с резного крыльца прямо в кромешную тьму ветреной северной ночи.

* * *

...То было осенью, а сейчас стояла зима, и в камере, где сидел Прозоров, пахло гнилыми портянками. В нарах кишмя кишели клопы всевозможных возрастов и калибров. То, что эти кровожадные твари были разных калибров, можно было увидеть только днем, сейчас же, в темноте, они все представлялись одинаковыми, отвратительно воняли и безжалостно впивались в кожу.

Владимир Сергеевич из-за них не спал по ночам. Казалось, что соседи по камере были неуязвимы для насекомых, все шестеро спали, как дома, двое-трое с выразительным храпом. Который час? Странно, что такая действительность не вызывала в Прозорове ни озлобления, ни возмущения. Арест и нелепое обвинение во вредительских связях с шахтинскими спецами вызвали в нем лишь ироническую улыбку. Интерес следователя к доктору Преображенскому был побочным, не главным, и Прозоров не очень тревожился за собственную судьбу. Он не ощущал за собой вины.

И все же случившееся представлялось вполне логичным. Было бы странно, если бы все было не так! Непонятно, пожалуй, другое — то, что именно в таких идиотских условиях и именно сейчас, впервые за много лет, он, Прозоров, ощутил душевное равновесие. Чем это было вызвано? Может быть, той ясностью, что пришла после знакомства с Преображенским? «Преображенский и мое преобразование,— опять подумалось Прозорову.— Да, фамилии что-то значат. Все Введенские, Вознесенские, Преображенские происходят от безвестных сельских и городских приходов».

Владимир Сергеевич вспомнил сейчас и многозначную реплику старого нормировщика, тоже из административно-высланных, какого-то бывшего управляющего: «У вас, Владимир Сергеевич, очень удачная фамилия. Я бы на вашем месте тут не сидел. Эх!» — «А что?» — недоумевал Прозоров. «Что? А вот что... Нука, возьмите да распишитесь». Удивленный Прозоров расписался на газетном клочке. Счетовод взял карандаш и подставил к четвертой букве палочку. И, оглянувшись, молча вышел из бревенчатой будки, где происходила вся эта сцена. Прозоров сразу все понял. Да, достаточно одной этой палочки, чтобы уехать куда-нибудь за тысячу верст, быть на свободе и жить нормально! Но это значило стать не Прозоровым, а Проворовым... Отречься от самого себя, от всех своих предков, безмолвно взирающих из глубины российской истории на него, Владимира Прозорова, и на все, что

происходило в стране?.. Нет, жизнь под чужим именем представлялась ему отвратительной и потому никому не нужной.

После разговора о Кедрове Преображенский несколько раз посещал Платошу да Машу, как называли старух соседи.

Прозоров каждый раз удивлялся необычной ясности докторских суждений. Он пытался спорить с ним, когда речь зашла о Петре, потом пробовал защищать декабристов, но у доктора имелось множество фактов, о которых Прозоров либо не знал, либо по каким-то причинам не считал важными. Преображенский говорил, например, что Наполеон был обязан своими военными победами не полководческому таланту, а тамплиерам и розенкрейцерам, что ключи первоклассных крепостей они сдавали его генералам без всяких кровопролитий, поскольку генералы Наполеона тоже были масонами.

Прозоров не мог с ходу это осмыслить и поверить рассказчику.

Декабристы, по словам доктора, служили России лишь внешне, внутренне же, сами того не ведая, подчинились «Великому Востоку» и тому же «Розовому Кресту».

— Почему победили большевики? — сердился Преображенский, хотя Прозоров не противоречил ему в такие минуты.— Отнюдь, государь мой, не потому, что с помощью классической демагогии обманули мужиков и солдат, то есть пообещали народу золотые горы. Все было намного проще: англичане не прислали Колчаку обещанные патроны. Солдатам нечем было стрелять... Англичанам в ту пору красные были нужнее белых.

— Позвольте, позвольте! — Прозоров не успевал за мыслью доктора.— А интервенты? А захват Архангельска теми же англичанами?

— Противоречие чисто внешнее! Кровь пускают друг другу простые люди. Вдохновители революций и вдохновители контрреволюций сидят не в окопах. Они, эти люди, одной и совсем иной породы. Если, конечно, люди, а не дьяволы. Да, да! Государь мой, они превосходно понимают друг друга! Мировому злу абсолютно все равно, каким флагом потчевать обманутых. Ну, скажите, существует ли разница между белым Мудьюгом и красными Соловками? И если существует, то в чем? Впрочем, вы не видели ни то, ни другое. И не дай вам Бог увидеть...

— Но государство все равно существует,— сопротивлялся Прозоров.— Независимо от цвета знамен...

— Я врач! Я должен лечить людей, а вынужден пилить на бирже дрова. Вот и скажите, выгодно ли сие государству? С теми, кто сейчас правит, Россия стоит на пути самоуничтожения. Посему у меня с ними разные группы крови. Знаете ли, что происходит, если больному перелить чужую кровь? Организм отторгает ее, и человек погибает.

— Значит, вы все-таки признаете классовую борьбу?

— О нет, государь мой, эта борьба отнюдь не классовая. Скорее национальная, а может, и религиозная. Нас разделяют и властвуют... И всех, всех, кто знает об этом, поверьте мне, опять будут расстреливать! Как десять лет назад, знающих просто сотрут с лица земли! Помяните мое слово и... держитесь от меня по-

дальше; дорогой Владимир Сергеевич. Прокáзà правды... Уверяю вас, это вполне опасно.

Прозоров не верил таким слишком мрачным пророчествам, великодушно молчал. Но вскоре доктор исчез, не показываясь с ноября, а в декабре старухи узнали, что он арестован. Прозоров не сразу ощутил последовательность и логическую завершенность событий. Арест доктора со всей ясностью обозначил и его собственный путь...

На службе он высказал однажды опасение по поводу закладки зимних фундаментов. В ответ ему отказали сначала в профессиональном, а вскоре и в политическом доверии. Следователь всерьез уверял Прозорова в том, что он, Прозоров, вредный специалист и с упорством рассерженного быка добивался сзедений, подтверждающих связь Владимира Сергеевича с шахтинскими спецами. Прозоров лишь улыбался да разводил руками...

Смешно ему было и при аресте: все представлялось как бы детской игрой или балаганным трюком. Ощущение дурацкой неестественности подкреплялось не только несерьезностью следствия, но и тюремными порядками. Двери в камеру не запирались. Тюрьма была временная, не настоящая, приспособленная на скорую руку. Арестованные свободно выходили в коридор, заглядывали в соседнюю камеру, играли в карты. Нелепость и несурзаца чувствовались и в еде (кормили почему-то одной свежей треской), и в домашних разговорах с «часовым», как называли красноармейца-охранника.

— Мы кушаем рыбу, клопы кушают нас. Часовой? Где р-революционный порядок?

Это портовый вор по имени Вадик фамильярничал с красноармейцами, которые приносили пищу.

Действительно, где? Да, несерьезность и какая-то странная никчемность, и одновременно вызванная из ничего и ничего не обещающая деловитость царили вокруг!

И все же Прозоров был спокоен и не мог надивиться. Если раньше, в ту ольховскую пору он ощущал собственную никчемность, свою личную внутреннюю нелепость, связанную с неверием в бессмертие души, то нынче, после всего, что видел и слышал, он ощутил нелепость внешнюю. Никчемность событий стала для него очевидной. Она чувствовалась даже в сочетании тех, кто содержался в тюрьме. Напрасно искал Прозоров хоть какой-то порядок и смысл в этих камерных группах, не объединенных ничем, кроме трехлинейной винтовки добродушного, страдающего от насморка часового. Что может быть общего между... ну, хотя бы этим часовым и его командиром, маленьким человеком с выпуклыми стекляшками коричневых глаз? Командир, одетый в кожаное полупальто, отпустил зачем-то буденновские усы и говорил, вернее, покрикивал примерно так: «Не торопитесь спешить!» или «Завсдывающий, кто здесь завсдывающий?» Впрочем, марьяжное сочетание часового и усатого командира имело, кажется, вполне определенное объяснение, точно так же существовала логическая связь между вдохновителями террора и исполнителями террора. Итак — террор. В переводе с французского слово означало ужас. Прозоров, с детства карта-

вивший, еще в гимназии терпеть не мог этого слова. Но против кого террор?

Тут-то и начинался полный абсурд, нелепость, нечто неподвластное человеческой логике. Жертвами новой власти оказался странный, совершенно абсурдный конгломерат личностей, не укладывающийся в нормальное сознание. Абсурд начинался уже с того, что в камере имелись и подсудимые, и уже осужденные. Одни ждали суда (какого еще суда?), другие ждали прихода весны и первого парохода на Соловки. То есть сочетание опять же было абсурдным...

Допустим, что он, Прозоров, бывший дворянин (как, впрочем, и бывший революционер), действительно опасен властям (хотя ничего, кроме пользы, он не делал для них). Допустим. Но чем же опасен для них Акиха — этот крестьянский парень из-под Шенкурска? Или добродушный ненец Тришка, арестованный за то, что, укрываясь от переписи, угнал стадо оленей в Комипермяцкие земли? Нелепостью было и то, что двое блатных, поджидающих первый пароход на Соловки, пользовались у власти каким-то поощряющим подбадриванием, какой-то цинично-веселой поддержкой. Оба носили джimmy — широконосые хромовые сапоги. Блатным позволялось иметь даже собственные бритвенные приборы. (Остальных каждую субботу под конвоем водили в баню и парикмахерскую.)

Вор по имени Вадик имел, вероятно, еще особую воровскую кличку, но его коренастый друг, известный в блатном мире под кличкой Буня, называл Вадика только Вадиком. Голова Вадика была красиво подстрижена, но шея, почти мальчишеская, вызвала жалость к этому, как выяснилось, коварному и подлому существу. Кожа у Вадика была белая, северная, но брови чернели, и глаза мерцали по-южному томно. Вадик беспрестанно что-нибудь напевал, не расставался он и с кирпичным обломком, о который то и дело тер большой палец правой руки, пытаясь навсегда избавиться от дактилоскопических происков.

Если Вадик напóмнил по своей комплекции подростка, то Буня, несмотря на средний рост, походил на циркового борца. Кожа на его щеках была серая, в синих точках угрей. Сломанный в драке нос постоянно посвистывал, а глаза, спрятанные довольно глубоко, не имели выражения и цвета. На шее Буни днем и ночью красовалось розовое шелковое кашне с поперечными белыми полосами. Оба носили еще тельняшки. Боллезненное стремление воров к чистоте выглядело довольно комично.

В то утро, после завтрака, они мирно готовились колоть татуировку на мощном белоснежном плече шенкурского Акихи. Макая спичкой в тушь и намечая рисунок — парень пожелал девичий профиль, — Буня тихо, приятным воркующим баритоном напевал:

Разве тебе, Мурка, плохо было с нами,
Разве не хватало барахла?

У них имелся даже пузырек с тушью. Вадик связал нитью три иглы. Примерно в одном миллиметре от игольных кончиков он наматывал ограничительное кольцо, макнул в тушь и начал колоть.

Акиха весь напрягся, вздрогнул было, но терпеливо замолк.

— Сиди и не дергайся! — приказал Буня. — Ты как сюда попал?

— Да у нас там тюрьма-то больно маленькая. Ина баня просторнее.

— Я не об этом... За что?

— На Троицу драка спыхнула, — говорил Акиха, стончески переменяя боль от уколов. — С робетешек-соплюнов все и зачалось-то, один пристал за этого, тот за другого.

Ты зашухерила всю малину нашу...

— Ну и ты за кого? — допытывался Буня, прерывая пение. Вор подмигнул Прозорову.

— Я-то? — с готовностью отозвался Акиха. — А я уж и не помню с кем, там сшибка пошла...

— Так-с. Сшибка, значит? — Буня опять подмигнул, но Прозоров задремал. В светлое время клопы меньше свирепствовали.

Кажется, Владимир Сергеевич спал, но спал так, что слышал, что творится в камере. Слышал он одно, а видел совсем иное, причем с еще большей четкостью. Отрад-ный многоцветный образ теплой лесной поляны раскрылся вдруг так широко, так объемно, так осязаемо, что сердце во сне сладко замерло. Зеленая первая березовая листва, зеленый щавель в траве, зной, а на луговой тропке в сенокосной рубашке стоит шибановская девица Тоня, стоит и все трогает на затылке косу, словно после речного купания. Волнение и радость охватили Прозорова, он очнулся, сопротивляясь реальности...

— Все! — сказал Вадик. — Хватит на первый раз. Надевай рубаху, гуляй.

Он откинул голову, полюбовался своей работой и громко запел:

Гуляй, моя детка,
Гуляй, моя детка,
Пока я на воле, я твоей...

Буня подхватил баритоном, и в камере зазвучало довольно стройно:

Тюрьма нас разлучит,
Тюрьма нас разлучит
Высокой кирпичной стеной.

Довольный Акиха натягивал рубаху на богатырские свои плечи.

— Ну? Кто следующий? Господин нэпман, нале-тай! — Вадик обернулся к нещцу. — Тришка? Ты птицу хотел, так?

— Я не птица хотела, — сказал Тришка, сидевший калачом ноги. Он отодвинулся на нарах подальше. — Хотела солнушко, сичас не хощю...

— Хощю, не хощю, — добродушно передразнил Буня. Вор достал откуда-то круглое зеркальце и начал старательно выдавливать угри.

Прозорову чуть не до слез жалко было исчезнувшего, такого почти осязаемого сна. Он уже и раньше наблюдал за созданием фресок на живом человеческом теле, хотел снова забыться, вернуть сон и мельком взглянул на Сидорова — пятого своего соседа по нарам. Сидоров, «поселенный» вчера, почему-то не имел никаких вещей,

кроме матраца и байкового, почти нового полупальто, вызвавшего знаменательный интерес Вадика. Сидоров, лежа на матрасе и положив этот пиджак под голову, молчал, делал вид, что тоже хочет уснуть. Но спать ему явно не хотелось. Прозоров пытался заговорить с ним, но получилось как-то нескладно, пришлось замолчать. Да и зачем это очередное знакомство? С появлением Сидорова, от которого пахло одеколоном, ощущение сплошных странностей, нелепостей и бессмыслицы только усилилось.

Впрочем, день, начавшийся татуировкой шенкурско-го Акихи, скрасился недурным обедом и колкой дров на морозном дворе. Под вечер Прозорову вновь повезло: он получил из соседней камеры окружную вологодскую газету «Красный Север». Газета была не свежая, неизвестно каким способом попавшая в Архангельск. Однако ж масляные пятна, оставшиеся от скоромного пирога, не мешали чтению. «№ 258, 7 ноября, четверг, — прочитал Владимир Сергеевич. — «Решающая схватка».

Так называлась передовая статья, посвященная 12-й годовщине революции. «Всю третью и четвертую страни-цы занимала статья Сталина «Год великого перелома». Прозоров углубился в нее. Мощная, свисавшая с по-толка электрическая лампа давала достаточно света, клопы и воры вели себя покамест спокойно. Прозоров читал-читал и вдруг удивился тому, что не верит ни единому слову: «...Можно с уверенностью сказать, что благодаря росту колхозно-совхозного движения мы окончательно выходим или уже вышли из хлебного кризиса. И если развитие колхозов и совхозов пойдет усиленным темпом, то нет основания сомневаться в том, что наша страна через каких-нибудь три года станет одной из самых хлебных стран, если не самой хлебной страной в мире».

Прозоров отдал газету по-детски любопытному Тришке, лег на спину и закрыл глаза.

Что за чушь! Опять все выглядело шиворот-навыво-рот. Во-первых, страна уже была самой хлебной. Во-вторых, именно коллективизация оставит, уже оставляет страну без хлеба, в этом для него не было никаких сомне-ний. Что это? Вероятно, он, Прозоров, является свидетелем и даже участником грандиозной мистификации. Да, да, он был статистом необъятного по масштабам спек-такля, проводимого на просторах России, среди разва-лин еще совсем недавно великого государства. Но кто дирижирует всей этой свистопляской? Кто покорил стра-ну? И самое главное, надолго ли? Неужто опять, неужто новое иго? «Внемли себе!» — вспомнил он слова доктора Преображенского.

В эту минуту в камеру ввели высокого, обросшего русой бородой мужика. Невыцветший пятиугольник от недавно снятой звезды был очень заметен на матерчатой красноармейской фуражке. На ногах сапоги явно не по сезону, видать, арестовали задолго до холодов.

— Буня! — послышался веселый глас часового. — Прими пополнение.

Буня не отозвался. Он продолжал сосредоточенно разбирать карты, сбрасываемые Вадиком. Воры играли на четыре руки, с двумя несуществующими партнерами.

Мужик поздоровался, довольно уверенно оглядел компанию, потеснил Прозорова и Сидорова, сел, опустил

к ногам самодельный чемоданчик, перетянутый кожаными, также красноармейским ремнем. «Я где-то видел его,— тотчас подумал Прозоров.— Но где?»

— Ты не Андрей Никитин будешь? Деревня Горка, если не ошибаюсь.

— Я и есть! — обрадовался Никитин.— А ты... Вы то есть... Владимир Сергеевич? Личность-то, вижу, знакомая. Вот ведь... где встрети-то...

— Да, да...— Прозоров был рад земляку.— Встреча, конечно, не очень... Но все равно. Забыл, как у тебя отчество...

Тришка улыбался во всю широкую кирпично-красную физиономию:

— Цево не бывает... Всё бывает.— Он тоже радовался, словно сам встретил знакомого.

Земляки проговорили далеко за полночь. В темноте, под Тришкин храп и носовой свист блатного Буни Никитин рассказал, что был осужден на два года за потворство «чуждому алименту». Его двоюродному, Ивану, за сопротивление власти присудили еще больше — пять лет. Их разлучили уже в Вологде, и вот теперь Никитин чуть не матом ругал судьбу и следователя Скачкова. Громкий шепот то и дело переходил на хриплый приглушенный бас, обида вскипала в горле, не давая рассказы-вать:

— Я это... два года в Красной Армии... Сам Тухачевский, бывало... выносил благодарность... А тут... За што и про што? Ну, братуха Микуленка коромыслом огрел. Дак ведь сам и признался... Эх... Владимир да Сергеевич... Душа задохнулася, не выдохнуть...

Прозоров не заметил, как стал засыпать.

Ночь промелькнула. Рано утром кто-то из арестованных, бродивших в нужник, зажег свет, но просыпались кто когда. Шенкурский парень Акиха сладко спал на правом боку, улыбка блуждала на его покрасневшем во время сна лице. Правая рука вытянулась над изголовьем, между пальцами и стенкой образовалось крохотное, в два-три миллиметра пространство. На стене перед этим пространством скопились в круг и замерли больше и маленькие клопы. Они дожидались того момента, когда средний палец Акихи коснется наконец штукатурки.

Прозоров подивился удивительной способности насекомых: видимо, они на расстоянии чувляли человеческую плоть. Но почему им обязательно нужна кровь? Ведь живут же они и тогда, когда сосать совсем нечего и некого?

Калачом ноги, обутые в узорчатые пимы, сидел ненец Трифон. Он широко улыбался Прозорову, и от этой улыбки, как всегда, приходило иное, раньше неведомое Прозорову, психологическое состояние. Прозоров словно бы сам становился этим улыбающимся само-едом:

— Что, Трифон Савельич, как ночевал?

— Холосо! Я холосо носювал, да уе осень тепло! Несем дысать... Хосю Нарьян-Мар. Потом домой тундра хосю... Жонка хосю...

Проснулись воры. Вадик по-кошачьи прыгнул на пол, начал делать гимнастику. В тельняшке, босой, в узких штанах, он был похож на клоуна. Выкрикивал между приседаниями:

— Часовой? Жену гражданину Тришке! Где часовой? Раз-два, раз-два.

Буня хмуро курил, сидя на нарах как Тришка, калачом ноги. Шенкурский парень Акиха трогал и разглядывал свое разрисованное и припухшее плечо, Сидоров лежал, но не спал. Когда Андрюха Никитин пошел в уборную, Буня одним взглядом остановил Вадика.

— Угол! — буркнул он между двумя затяжками и еле заметно киенул в сторону фанерного никитинского чемодана.

Вадик, играя бедрами, босиком прошелся по камере, остановился и присел возле чемодана на корточки. Он, вероятно, прикидывал, как открыть.

«У этих уже ликвидирована частная собственность», — подумалось Прозорову. В тот же момент в дверях показался Никитин. Он с недоуменным посмотрел сначала на Вадика, уже открывавшего чемодан, затем на всех других по очереди.

— Ты што делаешь? — спросил Никитин, подходя к Вадика.

Тот притворился глухим и продолжал потрошить чемодан.

Пинком ноги Никитин хотел сбросить вора, но сапог только скользнул по плечу. Вадик по-кошачьи упруго успел отскочить в сторону. Никитин шагнул к нему. Вадик отскочил еще и сделал стойку, широко расставил полусогнутые ноги, так же широко раскинул и руки. Лезвие бритвы блеснуло в правой, левая, щеперя тонкие девичьи пальцы, делала плавные змеиные движения.

Прозоров встал. Буня, не двигаясь, даже не повернул головы в его сторону, вежливо произнес:

— Будишь бледным.

В тот же момент Вадик прыгнул к Никитину, головой сильно ударил ему в нижнюю челюсть и опять отскочил. Все слышали, как кляцнула челюсть. Мужик устоял на ногах, удивленно потрогал подбородок и... бросился на обидчика. Вадик стремительно развернулся, рука с лезвием мелькнула на уровне никитинских глаз, но Прозоров успел-таки схватить запястье и дернуть эту ставшую ненавистной полосатую руку. Вадик замер. Буня уже встал с нар и медленно подходил к Прозорову, когда дверь в камеру вдруг распахнулась. Усатый командирчик, сопровождаемый вооруженным красноармейцем, влетел на середину камеры и по-вороньи, на два приема, выкрикнул:

— Пре-кратить!

Он начал по очереди подходить к каждому, по очереди каждого обмеривать взглядом коричневыми глазами, по очереди перед каждым покашливать. Остановившись напротив блатных, сказал:

— Я не понимаю, э-э, как вас, Буня... В приличном обществе так не делают. Прошу бардак немедленно ликвидировать. Гражданин Прозоров? Кто Прозоров?

Прозоров не отозвался, зная о том, что командирчик давно знает, кто тут Прозоров.

— Вам разрешено свидание. Идите. Вас проводят.

С недоуменным последовал Владимир Сергеевич за часовым, который провел его вниз по лестнице, то ли в караулку, то ли в какую-то кладовку.

Боже мой, со скамьи поднялась навстречу и всплеснула руками принаряженная Платоша! Прозоров, растроганный, легонько обнял старуху. От ее праздничного казачка веяло морозной улицей, попахивало и нафталином. Она батистовым платочком вытерла прослезились глаза:

— Владимир да Сергиевиц, батюшко. Вот мы с золовушкай рогулек-то напекли и с заспой, и с гуцфэй. Да и картофельных, глядим, а помазать-то нечем! Она мне и говорит: «А ежелн, Платоша, постным маслицем?» Нет, говорю, ну-ко на рынок сбегаю, может, найду цево поволожнее. Дай-ко попробуем! Еле тебя нашла, начальства-то густо, а никто ницево не знает. А один до того обходительной, что на стул посадил. Я уселася как мадама и говорю: рогулецки зря напекла, хожу кабинетами. Дверей много и все скрипают, тоже, видно, помазать-то нечем. Сердешные, так и визжат, так и плачут, дверн-ти...

После короткой встречи с доброй старушкой Прозорова с рогульками, завернутыми в платок, обрадованного и ошарашенного, вывели на лестницу. Было чему подивиться и порадоваться: уходя, Платоша по-матерински перекрестила его. Но целостность окружающего, восстановленная этой нежданной встречей, мгновенно разрушилась, святочная белиберда вновь расщепила ум Прозорова. Что за чертовщина творилась в мире? В глубине нижнего коридора вместе с маленьким командирчиком стоял и мирно, даже снисходительно, беседовал заключенный... Сидоров. Командир вопреки всякой субординации подобострастно выслушивал Сидорова. «Телефон здесь, товарищ Шиловский!» — услышал Прозоров, когда поднимался по лестнице.

«Часовой» хлюпал носом и звякал о ступени прикладом. Шел он не сзади, как положено, а впереди Прозорова, словно прокладывал дорогу наверх. В камере было подозрительно тихо, подчеркнутое спокойствие воров не предвещало ничего хорошего.

К вечеру Андрея Никитина вызвали куда-то с вещами.

Исчез и Сидоров. Ночь еще больше оттенила дневные странности мира. Прозоров не спал, опасаясь нападения блатных, впрочем, клопы тоже не забывали своих обязанностей. Кажется, он начинал понимать, что происходит. И хотя он не знал еще, как ему жить в этом мире, сошедшем с ума, что делать среди абсурдных явлений, среди катавасии, лишенной всякого смысла, он знал уже, что узнает и это. Он вполне определенно ощущал в себе эту уверенность. Предчувствие душевного подъема понемногу овладевало Прозоровым, и, отбиваясь от камерных кровопийц, Владимир Сергеевич думал и думал. Ему казалось, что от него то и дело ускользает нечто главное. Ему так не хватало сейчас доктора Преображенского!

Время клубилось. Иногда оно отделялось от реального мира, но какая же это реальность? Реальностей не существовало. Был абсурд. И, как думал Прозоров, видимость иерархии в действиях новой власти только обманывала: логика там также отсутствовала. Иначе зачем же они уничтожают уже и сами себя?

Великая свистопляска, кригидная после граждан-

ской войны, опять набирала разгон, она катилась по необъятной стране, поперек и вдоль. Сама земля, очарованная зимой и дремлющая под снегами родины, может быть, и не чуяла новой беды. Только ведь как знать? Время то мелькало кровавым сполохом, то вдруг останавливалось и замирало. Земля, едва принявшая в свое лоно миллионы страдальцев, не готовилась ли опять к новым, таким необычным трудам? Сила разбуженной злобы в своем вихреобразном движении охватывала все новые пространства, опять втягивала в свою воронку массы ничего не подозревающих людей.

Россия гибла снова и снова.

Все вокруг мешалось, путалось и теряло образ. Может быть, так это и начиналось? Вначале когда-то он, этот образ мира, позволил втянуть себя в свое зеркальное изображение и был раздвоен. Расщепленный надвое, он потерял свою жизнеспособность, отдал половину себя своему мертвому отражению. Зеркальные обратные образы, заполонившие мир, не были совсем-то уж мертвыми, они жили, правда, жили за счет живого и цельного. Но живой и цельный образ мира при этом дробился. И осколки его летали в хаосе, сверкая блестящими неполными отрывочными истинами.

«Внемли себе...» Но, внимая себе, Прозоров вспоминал Бога и снова думал о Боге: «Господи, где Ты? Не оставляй меня,— шептал он про себя,— научи молиться Тебе, избавь от лени и страха. Страшна ли мне дорога страданий? О, нет! Боюсь не ее. Страшней во сто крат торжество зла. Что оставляю я на земле, какими стезями, куда ступать мне среди земных страданий под крики веселых безумцев?»

Свет на ночь выключала подстанция.

Под утро Владимир Сергеевич скорее почувствовал, чем услышал крадущегося к нему Вадика. Вор тихо залез в свободное пространство между Прозоровым и шенкурским парнем, начал легонько тянуть за прозоровский пиджак с часами, лежавший в изголовье. «Иди спать!» — сказал Прозоров и слегка стукнул по руке Вадика. «Гад буду, а пасть тебе все равно порву!» — прошипел Вадик. И все затихло. Вероятно, вор бесшумно убрался на свое привилегированное крайнее место.

IV

Блатные не успели «порвать пасть» Прозорову: к вечеру следующего дня его перевели в настоящий Архангельский Домзак. Когда Прозоров уходил из «временки», Вадик сделал ему ручкой, а Буня сказал: «До свиданья». В голосе звучало неподдельное добродушие, но Прозоров уже чувствовал, что угодил в черные святцы. Члены воровского клана никому ничего не прощали.

Он не знал причины срочного перевода.

Причины же были очень просты: начальство потеряло единый стиль. Ощущение бессмысленности событий испытывали отнюдь не одни «бывшие». Приближение хаоса видели и в среде власти имущих, особенно рядовых и здравомыслящих, особенно на местах.

В партийных организациях Севкрая царил расте-

рянность и тревога. Уже осенью 1929 года никто не знал, где право, где лево. С помощью доносов, сочиненных женами и клеветами таких деятелей, как Турло, была спровоцирована проверка деятельности Вологодского губкома орггруппой ЦК во главе с неким Седельниковым. И хотя руководство Вологодской губернии было наголову разгромлено, вологжан в лице Стацевича все же слушали на Секретариате ЦК, и было вынесено специальное постановление. После этого даже самые рьяные и самые отпетые сорвиголовы очутились в лагере правых и в недоумении разводили руками: «За что?» Подобно Николаю Бухарину, они истерично били себя в грудь и кричали в залы собраний и пленумов: «Я не правый!» Но что толковать о рядовых, если и сам Емельян Ярославский был вынужден публично, через печать, оправдываться перед какой-то ретивой дамочкой!

Северные партийные газеты, возглавляемые Шацким и Героннимусом, шельмовали партийцев, занимающих самые высокие посты в Вологде и Архангельске, призывали к расправе над мягкотелыми судьями и прокурорами, провоцировали движение рабселькоров-доносчиков, скрывающихся за псевдонимами вроде «Свой» или «Зоркий». Пропечатанные в газете тотчас подвергались репрессиям, тюрьме, разному или штрафу.

Уже и красный профессор Демидов (Долбилов), создавший колхоз-гигант в богатой Тигинской волости, был печатно обвинен в правом уклоне. Сперва он, возмущенный, немного похорохорился, но вскоре начал публично отрекаться от самого себя. Наговорил сам на себя, напридумывал собственных ошибок и уехал в Москву, доучиваться. Уже не хватало бумаги на подобные самоговоры, на доносы и анонимки. Многие активисты, предупреждая будущие обвинения в их адрес, в панике безжалостно губили друг друга.

Колхозы-гиганты, рожденные в воспаленных мозгах долбиловых, пеленались в бумажные полотнища отчетов, многословных постановлений и директив. Уже не кусты, а целые районы были объявлены зонами сплошной коллективизации. Первые пробы крестьянских погромов, бесшумные, словно гроззовые вспышки, мелькали на зимних просторах древних новгородских владений. Никто не знал, что будет завтра и послезавтра. Уже мелькали в газетах сообщения о расстрелах...

Член второй комиссии Яковлева, секретарь Севкрайкома Сергей Адамович Бергавинов всю последнюю неделю спал по три-четыре часа в сутки. В конце января нового 1930 года бюро крайкома заседало едва ли не ежедневно, и секретарь разучился дышать свежим воздухом. Шифровальщик особого отдела тоже редко выходил за пределы крайкомовского здания, ночевал и дневал в своей особо охраняемой комнате. Шифровки шли одна за другой, каждая требовала срочного, особого, чрезвычайного решения. Среди множества подобных секретных бумаг оказалась и шифровка из Центра, повлиявшая на судьбу Прозорова: «...убрать административно-высланных отовсюду и всех, исключая высших технических спецов, занятых на строительстве и реконструкции лесопильных заводов. Разрешить использовать их только на тяжелых черных работах,

хлебный паек и норму выдаваемых им продуктов уменьшить в два раза относительно других категорий работающих».

Слова «высших технических спецов», подчеркнутые Бергавиновым, относились к таким, как Прозоров. Противоречие, заключенное в самой шифровке, предоставляло право широкого толкования. Страстный поборник Лесоэкспорта, Бергавинов старался экономить инженерные кадры, что и влияло весьма сильно на судьбу Прозорова.

Та шифровка была уже уничтожена, секретаря донимали сегодня иные дела, иные спецы. «Что это? — вяло подумал Бергавинов, читая очередную бумагу.— Проект или решение?» Бергавинов как лунатик прошлепал вокруг стола. Телефонный звонок вернул его на место. Звон получился слабый, словно из подземелья. Бергавинов взял тяжелую, как кувалда, трубку. Сообщали о прибытии эшелона с войсками ОГПУ. «В чем дело? — мелькнуло в мозгу.— Ведь войска ОГПУ давно приняты и размещены... Восемь эшелонов раскулаченных тоже прибыли 27 января». Оц, Бергавинов, телеграфировал об этом шифрованным текстом Сталину, Молотову и Кагановичу. Дети, женщины и старик со Средней Волги. Он просил разрешения ослабить террор. Какое сегодня число? Он помнит текст этой шифровки: «Мы будем строить для них бараки шалашного типа... Норма хлеба 250 граммов на человека. Они рвутся на работу в делянки. Рабочие Архангельска проявляют спокойствие и сочувствие к раскулаченным».

Копии своих шифровок путались с текстами телеграмм из Москвы. Так. Дальше. Шифровка Сталина о самоедах с северного Урала. Ненцы бросились со стадами оленей в Архангельскую тундру. «Эта запоздала,— гордо подумал он.— Да мы еще задолго до нее приняли меры! А когда принята шифровка о ликвидации кулака? Подписали Каганович и Молотов... Интересно, день или ночь сейчас на Дальнем Востоке?..»

В голове, где-то в затылочной части, возникла боль. Самым мучительным было то, что он никак не может вспомнить, какое сегодня число.

«...Брук отозван почему-то в Москву, в красной контрольной комиссии его заменил Турло,— размышлял Бергавинов.— Оба, и Турло, и Шацкий, настаивают...»

Откинувшись на спинку высокого стула, секретарь спал. Да, он спал за своим широким столом, загроможденным бумагами, графином, двумя телефонами, чернильным прибором и чайными принадлежностями. Он спал, но его серые белорусские глаза, провалившиеся за эти дни, были открыты. И мозг его по инерции пытался продолжать свою нескончаемо-утомительную, однако-во-бюрократическую работу:

«...Настаивают... на чем? На том, чтобы дело Шумилова переслать в ЦК, а пред контрольной комиссии РКЦИ Комиссаров выступает против. Почему? И что за документы, о которых говорит Шацкий?..»

Почему холодно? Так недавно была весна... В апреле он выступал на шестнадцатой партконференции. Он, Сергей Бергавинов, заверил товарища Рыкова в том, что за счет лесоэкспорта любой ценой добьется к концу пятилетки двухсот пятидесяти миллионов валютных руб-

лей в год. Ленин говорил об одной второй миллиарда. Что ж, если поднатужиться, можно и полмиллиарда. Это тоже реально. Он, Бергавинов, все свои силы вкладывал в выполнение лесо-валютной задачи, как вдруг... Пожалуй, не очень-то кстати это новое раскулачивание! Впрочем, канитель началась раньше. Вологда и Коми область объявили войну Архангельску. Северодвинцы тоже не очень-то подчинялись крайкому. Это центробежные силы. Вологжан пришлось приструнить через Москву, их слушали на Секретариате ЦК. Многие полетели с работы. Но и после этого вологжанам неймется... Работы хватало и до кампании по раскулачиванию. Но когда он жаловался? В тридцать лет жаловаться смешно, тем более убежденному большевику, герою гражданской войны...»

За все эти годы Бергавинов ни разу не показывался на людях без ордена. Орден был главным богатством, единственной ценностью, смыслом и символом всей тридцатилетней жизни.

«Молоды мы еще, так молоды», — думал он во сне. Орывочно и бессвязно вспоминался ему пройденный путь. Вступил в партию ранней весной семнадцатого, а в двадцать лет был уже комиссаром Орловского полка. Комиссия Дзержинского посылала в самые жаркие места Украины. Партизанил в белом тылу. Однажды попался, был приговорен к расстрелу. Сумел убежать от пули. С какой скоростью летит пуля? Нет, это уже не молодость. Все его нынешние соратники не намного старше его. Возьми Митьку Конторина или Наташу Когиннову. Правда, начальник ПП ОГПУ Рудольф Аустрин старше, этот с девянато первого. Да и Семен Иоффе на целых три года обскакал Бергавинова. Зато Шацкий Иосиф, тот на три года моложе. Шайкевичу уже сорок...

Шерстяной пиджак с орденом боевого Красного Знамени, привинченным к пиджачному отвороту, соскользнул со спинки стула. Это вернуло секретарю потерянное ощущение реальности. Он дернулся, будто от удара электрическим током. Выпрямился на стуле. «Да, так что там за матерьял приехал из Устюга? И почему, собственно, Шацкий Иосиф Исакович прет как ледокол против Шумилова Ивана Михайловича? Ведь Шумилов член ЦИК, уполномоченный РКК давно покинул богоспасаемую Вологду. Кстати, в Вологде работает новая орггруппа ЦК... Кто такой Вилюмати, посланный дополнительно? Делают там что хотят — через голову крайкома и окружкома...»

Секретарь читал материалы, компрометирующие прошлое бывшего секретаря Вологодского губкома Ивана Шумилова. Обвинения были настолько серьезны, что вопрос опять же надо было выносить на бюро... А стоит ли говорить о Шумилове на бюро?

Бергавинов вынул тяжелую часовую кругляшку, на кожаном ремешке опускаемую из петлицы в нагрудный карман пиджака. Щелкнула крышка.

Была пятница, 31 января 1930 года, девять тридцать утра. До внеочередного закрытого заседания бюро Севкрайкома оставалось полчаса. Ночь была позади, и Бергавинов почувствовал, что бодрость снова возвращается к нему.

За окном в тусклом холоде падал редкий снег или

иней. Архангельск давно притерпелся к зиме. Пока собирались члены бюро, секретарь-машинистка заваривала свежего английского чаю, принесла добавочные стаканы. Она сообщила Сергею Адамовичу, что представители ОГПУ Аустрин, Осипчик и Шейрон уже прибыли и что Конторин и Шацкий тоже сидят в кабинете Иоффе, Цейтлин и Каценельсон подойдут позже, они приглашены на десять тридцать.

Для полного кворума не хватало Натальи Когинновой — завотделом наробразов да Сергея Ивановича Комиссарова — председателя СевкрайКК РКК. Но вот пришли и они. Бергавинов по голосам узнавал членов бюро. Он встал им навстречу, раскрыл дверь. Все бодро и шумно пошли в кабинет, начали размещаться по обе стороны стола, накрытого голубой плотной материей.

Бергавинов, не здороваясь, тотчас открыл заседание. Он начал сообщением об успехах массовой коллективизации, с каждым часом развертывающейся во всех районах обширнейшего Северного края. Он сравнил кулаков, сопротивляющихся этому делу, с гоголевскими мертвыми душами. Начитанность секретаря не осталась незамеченной: язвительный ум бывшего моряка Семена Иоффе постоянно требовал себе тренировок. Иоффе обернулся к Шацкому и вполголоса, но весело и так, чтобы его услышали, спросил: «А кто Чичиков?»

Бергавинов отчетливо разобрал реплику, но не стал пререкаться, работа, по его мнению, предстояла долгая и ответственная.

— Товарищи, — вновь заговорил секретарь, — планом ОГПУ нам предложено в самые ближайшие дни принять семьдесят пять тысяч кулацких семей. Эшелоны с юга уже движутся. Это общим числом около трехсот пятидесяти тысяч. Вполне возможно — прибудет до полумиллиона... Вот основной вопрос, который нам необходимо разобрать в срочном порядке! Предлагаю высказываться...

Первым слово для информации взял Шейрон, командированный из Москвы представитель ОГПУ. Он сообщил, что на первых порах прибудет восемьдесят тысяч, и зачитал перечень срочных мероприятий, необходимых на сегодняшнее число.

...После долгого, утомительно-однообразного и под конец сонного заседания бюро крайкома приняло разрядку по округам.

Шейрон предложил отделять от семей трудоспособных мужчин и партиями от пятисот до тысячи человек отправлять в необжитые лесные и тундровые районы. Всех нетрудоспособных членов семей решили разместить в церквях, монастырях, бараках и, как выразился Иоффе, в «тому подобных местах шалашного типа».

* * *

С юга ползли и ползли эшелоны с лишенцами. Печальные гудки паровозов пытались заглушить многотысячные рыдания и крики мольбы, проклятия отчаявшихся и молитвы, детский плач и всплески удивительных украинских мелодий. Безмолвная северная зима намного быстрее бежала навстречу этим бесконечным составам.

Один такой эшелон из числа направляемых в Архангельск, составленный из десятка вагонов, битком набитых украинскими лишенцами, вторые сутки продвигался на север. У пылящей «овечки» не хватало силенок тащить этот живой груз. Паровоз часто останавливался. То заправлялись водой, то в тендер загружали уголь, то вдруг прицепляли теперь уже одиннадцатый вагон с киргизами. Не доехав несколько километров до Брянска, поезд почему-то снова встал. Охрана, сколоченная на скорую руку из киевских комсомольцев, спала в своем, специально выделенном «телятнике». Дежурный, стуча винтовкой, перетапывался в конце состава на открытой кондукторской площадке. Обдуваемый на ходу слева и справа, старый кожух не спасал от холода. На каждой остановке парень прыгивал на землю и, недовольный железной тяжестью оружия, ругался с природой, бегал вдоль состава. В одну из таких пробежек он услышал крики и шум сразу в трех или четырех вагонах, начал стучаться в охранный вагон. Очнулся старший, разбудил первого попавшегося.

— А ну, глянь, шо там таке,— приказал он, сонно глядя на молодого, ничем не вооруженного хлопца, тоже сонного и замерзшего.— Бистро, бистро!

Хлопец наконец пробудился и убежал выполнять приказание. Старший открыл дверцу железной печки. Угли давно потухли. Холод гулял по вагону. Вагон был такой же, как и все спецоборудованные, с такими же поперечными нарами, но с печкой. Горел фонарь «летучая мышь»... Кутаясь в шарф, намотанный поверх поднятого воротника, старший подошел к неприкрытым дверям, выглянул в ночь. Посланный уже бежал обратно:

— Товарищу командир! Там, у третьему вагону, дид помер, сусидка каже тиф...

— Тише ты! Сусидка... Ну? Лезь суда, бистро...

— Тиф, товарищу начальник, треба ликаря.

— Молчать! Нет никакого тифа. Ясно? Буди Ярмуленку и растопи печь. Никаких тифов нет, понятно?

Последние слова старший произнес шипящим шепотом.

— Ясно, нема някова тифу...— Хлопец торопливо полез в вагон будить Ярмуленку.

Старший с наганом в руке прыгнул на бровку. Ему подали второй фонарь. Ночь была не холодная, без ветра и без луны, почти светлая от лесного белого снега. А может, это рассветные сумерки? Старший шел от середины состава к паровозу, освещая фонарем вагонные запоры, закрученные для надежности проволокой. Он остановился у третьего вагона, который сдержанно шумел, как шумит потрезожженный мышами печлиный улей. Женский тихонький вой сочился в уши. Плакали дети. Мужские голоса иногда пресекали общий шум, но он нарастал снова. Старший кулаком постучал по обшивке:

— Тихо! А ну тихо, чертовы куркули! В Брянск приедем, там разберем.

Но вагоны загудели еще сильнее. В это время «овечка» легонько гукнула, колеса ее с шумом сделали пробуксовку. Поезд тронулся с места. Старший погасил фонарь и побежал вдоль полотна навстречу вагону

с охранниками. Поезд все-таки набирал скорость, и он поспешно схватился за железную скобу, запрыгнул в вагон.

Через час поезд вполз в развалы приземистых брянских пакаузов.

— Подъем! Бистро, товарищи! — крикнул старший. Но все «двенадцать апостолов», как называла себя киевская охрана, и без этой команды давно проснулись. Они были совсем юные, одетые кто во что, с торбами для еды, вооруженные всего тремя заржавленными винтовками времен Петлюры и батьки Махно. Когда поезд перестал наконец гремять и держаться, старший выстроил охрану для инструктажа:

— Ходить вдоль и не останавливаться, ходить и не останавливаться. Бистро по своим местам!

И с туго набитым портфелем побежал он на станцию искать милицейскую комнату.

Военный в финской шапке и в долгополой шинели сидел в дежурке, насквозь провонявший табачной золой, и крутил черные, явно окрашенные усы. Он спорил о чем-то с приземистым человеком в тужурке и галифе. Трое милиционеров, расположившись у круглой высокой железнодорожной печки, молчаливо палили сигарки. Все пятеро были вооружены, одни наганом, другие винтовками.

— Ну, братцы, вы и мастера дымить! — притворяясь веселым, сказал приземистый.— Хоть бы в коридор вышли.

Милиционеры неохотно погасили сигарки. В дежурку без стука вошли еще один милиционер и юркий человек с давно измочаленным, давно не скрипящим портфелем подмышкой.

— Вы с киевского? — обернулся приземистый к портфелю.— Оч-чень хорошо! Вот, познакомьтесь. Вас ждет товарищ Гиринштейн. Он сопровождает ваших э... подопечных дальше на север. Сдадите ему состав и все документы.

Старший охраны с усмешкой поглядел прямо в черные усы Гиринштейна и подал руку. Несовпадение черных усов с белыми телячьими ресницами насторожило его.

— Прошу принять под расписку. Здесь списки всех куркулей и лишенцев... Портфель тоже казенный. Извиняюсь, не закрывается...

Черные, едва ли не буденновские по длине и пышности усы Гиринштейна дернулись как у kota. Военный не торопился хватать портфель со списками. Он опять обернулся к приземистому:

— Одиннадцать вагонов... Это сколько ж всего семейств?

— В среднем по тридцать — сорок семейств в вагоне,— буркнул киевский старший.— Всего четыреста девять семей, итого около тыщи двухсот человек.

— Почему около? — Черные усы снова дернулись.

— Грудных и молокососов в списках не значится.

— Н-да! Около тыщи...— вздохнул черноусый, опять оборачиваясь к приземистому.— Всей охраны вместе со мной только четверо. А ежели разбегутся на первом же перегоне? Под трибунал и вас и меня!

— Не разбегутся, товарищ Гиринштейн.— Приземистый брянский встал.— Им бежать некуда. А ежели

утикает кто, у нас на всех дорогах заслоны. Не будем, товарищи, терять золотое время! На подходе другие составы.

Все шестеро поспешно вышли на воздух. Киевский старший держал портфель под мышкой. Он всл их, пересекая пути, на ржавый тупик, где стоял состав. Паровоз давно отцепили. В вагонах глухо шумело, хрипело, плакало и стонало. Киевляне, которым было приказано «ходить и не останавливаться», стояли по два человека с обеих сторон в каждом конце поезда. Один держал винтовку в левой руке... Другой стаскивал ее со спины.

— У вас должны быть повагонные списки! — резко сказал Гириштейн киевлянину, когда прошли весь состав.— Где они?

Киевский старший, не растерявшись, также резко ответил:

— Я, товарищ Гириштейн, принимал их не повагонно, а поголовно. Киргизов прицепили без моего согласия. За них я, к вашему сведению, не расписывался.

— Без точных списков эшелон не приму.

— Можете не принимать, ваше дело. Буду жаловаться, искать представителя ОГПУ!

— Так ведь мы с ним и есть эти самые представители, — примиряюще усмехнулся приземистый брянский.— Ну? Давай скручивай. Будем считать...

Подсочивший киевский парень долго не мог раскрутить проволоку, которой была замотана замочная накладка. Железный дверной полоз был изогнут, дверь не двигалась. Изнутри помогли передвинуть ее в сторону.

Узлы и сундуки едва не посыпались из проема, вагон был до крыши набит народом и человеческим скарбом. Тяжелый запах мочи, залежалых продуктов, отсыревших одежд, несмотря на холод, овеял пришельцев. Женщина, держа одной рукой и узел, и плачущего, завернутого в одеяло ребенка, едва не вывалилась из вагона. Хватаясь за что попало, она кричала, звала какого-то Якимя, и ее утянули в нутро. Крики и плач наполнили стихли.

— Ласкаво просимо! — сказал дюжий мужик, изнутри помогавший открывать двери. Он хотел спрыгнуть, но киевлянин зычно вскричал:

— Молчать! Всем оставаться на своих местах!

Приземистый брянский с трудом забрался в вагон.

Он боком пристроился у проема, двумя руками уцепившись за скобы. Узлы и наволочки, набитые сухарями, мукой, печеным хлебом, матрасы и одеяла, черенки заступов, обшитые мешковиной топоры с пилами — все было сбито в кучу вместе с людьми. Сверху из-под узлов высывались чьи-то обширные чеботы, из-за груды мешков и узлов слева и справа торчали живые руки и ноги. В одном углу вагона тихо скулило два или три женских голоса, в другом углу надрывно кашляли, в третьем, отдавая последние силы, плакал давно охрипший младенец.

— Больные есть? — крикнул приземистый брянский и утвердился у самого края на крохотном свободном пространстве.— Кто за старосту?

Он не слушал ответных криков, подал руку черноусо-

му, а тот едва не сволок приземистого обратно на снег, но удержался за край двери и звонко спросил:

— Кто грамотный?

— Нема, товарищу начальник! Тобто ми вже стали дуже грамотни, аж до витру другу добу не ходемо!..

— Пересчитать можешь?

— А чого нас перелічувати, ми й так один одного знаемо.

— По фамилиям и количество взрослых членов семей! Бистро! Бистро! — кричал снизу киевский старший.

— Малодуб — шестеро, Степанець — сам дев'ятий, Литвиновы, Ратько, Пищуха, Митрук да Петренки два, Галина, скільки вас? Та чого на личити? Сорок разив рахували, доки гнали до Києва...

Черноусый крикнул, подобрал полы шинели и спрыгнул. Он, а за ним и приземистый, и киевский старший зашагали ко второму, затем к третьему вагону... Смердом и вонью из этих вагонов несло еще сильнее, но узлов и мешков почти что не было. На полу и на нарах, застланных немолочным житом, вплотную лежали, сидели, стояли люди — многие были одеты совсем по-летнему. Одна девушка ехала босиком, пряча ноги в солому и в какие-то тряпки. Гириштейн с удивлением задержался около:

— Где обутка?

Она ничего не ответила. Она даже не повернулась к нему, но он заметил, что она что-то шептала. Кругом кричали:

— Та, пане начальнику, вона скажена. Як з хати погнали, так и мовчить. А де чеботы, не знаемо, ми шукали, нема чебит...

Открыли еще один вагон. Подражая приземистому, Гириштейн крикнул:

— Больные есть? Откуда?

— Мелитопольски...

Черноусый откинул сивую голову окоченевшего старика, над которым, тихо качаясь, сидела старуха, наглухо завязанная платком. Она сидела и тихо качалась. Она тоже не обращала на охрану никакого внимания.

— Совсем старый был дидок, — с притворной бодростью сказал старший из киевской охраны и взглядом обвел вагон.— Лет дев'яносто? Да?

Черноусый повернул голову старика в прежнес положение.

Передача эшелона проходила до полдня, часа три подряд. Сверяли списки одних взрослых. За это время мелитопольцы сняли мертвого старика и положили на снег. Старуха не сопротивлялась, она и одна продолжала тихо качаться. На каждый вагон милиционеры принесли по две бадьи с кнмятком. Параша, то есть такие же ведра, были опорожнены прямо на снег, двери снова были закручены проволокой. Сменилась бригада паровозников. Киевская комсомолька уехала попутным грузовым поездом. Вскоре стронулся с места и принятый Гириштейном состав, начал нехотя набирать скорость. Только не в сторону Киева, а в леса и в снега, на север, все дальше и дальше.

Первый вагон, до потолка набитый крестьянским скарбом, казалось, нисколько не унывал, особенно в своем правом переднем углу. Здесь среди подушек и одеял, мешков и ящиков, кто как, на нарах и под нарами, ехали две семьи: Малодубы и Казанцы. Понемногу начали привыкать к новому званию спецпереселенцев (сначала их называли кулаками, потом лишенцами), хотя привыкнуть к вагонному холоду и сумраку было нельзя. Но и все же в этом углу чуялась жизнь. Душой этой компании был сынок Антона и Парасковьи Малодуб, двухлетний Федько, весь укутанный шубами. Деверь Параски, веселый рыжеусый Грицько, тыча пальцем в то место, где был живот племянника, приговаривал:

— Ах ти, бисив Федько! А якого ти, хитруне, класу, а ну скажи. Ты ж куркульського класу, так?

Федько пускал розовым ртом пузырь и отрицательно мотал головой.

— Значить, ти не куркульського класу? А якого ж тоди, неже дворянського?

Ребенок соглашался коротким кивком. Все смеялись.

— Пан, ий-богу, воистину пан!

— Бачишь, не дарма в шуби поиздом иде.

— И челяди у нього пиввагона.

Марфа, свекровь Параски, широкой кости молчаливая старуха, доставала сухарь, совала внуку и тоскливо отворачивалась. Ей вновь и вновь вспоминалось то, что случилось за последние недели. Старый ее муж Иван Богданович ни за какие посулы не захотел вступать в колхоз. Его уговаривали и так и сяк, упрасивали: и сама Марфа, и сыновья Антон и Грицько. Иван Богданович только отпихивался локтями во все стороны. «Ось и дотпихався, старый хрич!» — в сердцах задним числом ругалась Марфа, но ругалась не вслух, а сама про себя. Она то и дело ощупывала узлы с мукой и печеным хлебом, расстранялась, что пропали куда-то две пуховые подушки.

Киевским разрешено было брать по двадцать пудов на семью. «А ось мелитопольских везуть, вважай, роздягнутих, ни хлиба, ни муки нема. Куди нас, гришних, везуть, Господи!»

Марфа крестилась.

Никто во всем хуторе не хотел вступать в колхоз, только два или три приезжих голодранца да одна бобылка подали заявление. Остальных загоняли в колхоз наганом. Тех же, кто не вступил, сперва обложили большими налогами, а неделю назад, глухой ночью, из Киева в район пришла депеша. И в ту же ночь из района в сельскую раду прискакал верховой с письменным указанием: немедленно приступить к ликвидации кулачества как класса. Те, кто ничего не успели припрятать, остались голодные и холодные. Отобрано было все, вплоть до огородного заступа.

«И чого вона регоче, безпутна баба? — думала Марфа, глядя в темноту на красивую и веселую невестку Параску. — И ци регочуть... Наче на висилля поихали».

Соседи — и хуторские, и вагонные — были тоже старухой, сын Петро Казанец да невестка Мария.

А у той Марии пятеро, один другого меньше... Самой маленькой и трех месяцев нет, а старшему двенадцать годков... Мария то и дело их пересчитывала, стаскивала в одно место, к своим узлам. То и дело она застегивала им пуговицы, увязывала в платки и шарфы и утирала носы. Муж ее Петро подсоблял ей в этом.

— Марийко, а це ж наче не наш. Чи й цей наш? Щось на Пишухинську породу схожий. А хай, згодиться ся теж...

— А пишов ти до биса! — сердилась жена. — Накопив диток, чого тепер? Куди везуть, що будемо робити, як жити? Ой, лихо мени, лишенько...

Марийка едва начинала подвывать, как Петро трогал ее за какое-нибудь место либо шептал ей какое-нибудь особенное словечко. И плач ее тотчас же замирал, не успевая родиться, и где-то в груди таяла горечь. Марийка опять улыбалась.

— А хто там Пишуху згадав? — отзывался откуда-то из-за узлов и мешков сам Пишуха, сосед хуторянин, тоже такой же многодетный. — Мои вси тут, тильки одного й нема. Це ничего: плюс-минус одна одиниця. Припустимо.

Семейства Митрука и Петренки теснились по боковой вагонной стене, а в другом конце вагона ехали бедные, голодные и холодные мелитопольские. Где-то там, среди мелитопольских, и затерялась Груня Ратько с двумя дочерьми.

— Груня, Явдошка, Наталочко, де ж ви там сховалися? Повзить до нас, — кричала Параска, но те не олызались. Из-за шума и стука колес ничего не было слышно. Параска сидела на обшитом рогожей и мешковиной ящике со столярным инструментом Ивана Богдановича. Перед тем, как пришли описывать имущество, мужу и деверю удалось спрятать инструмент у родственников. На станцию его привезли те же родственники, тайно погрузили вместе с другими узлами. С этого часа Параска и сидела на этом ящике. Ей казалось, что с этим ящиком не страшен будет никакой Север и никакой мороз, это во-первых; а во-вторых, около нее есть три мужика, не считая сескрови, да ее главной кровинушки Федька. Пусть мужики и думают, как там жить...

Груня, Авдошка и Наталочка плакали по очереди. Не успевала затихнуть одна, как начинала другая, затем третья. Они сидели на двух своих небольших узлах, куда Груня успела завязать лишь кое-что из приданого своих дочерей. В основном это были одеяла и рушники. Со всех боков давили на них какие-то шумные мелитопольские тетки, мужики и ребята как бы ненароком патыкались на Грунных дочек. Да и самой Груне то и дело то одну, то другую ручищу приходилось выпроваживать из-за пазухи. Отец и брат этих сестер скрылись неизвестно куда перед самым отходом поезда. Брат успел-таки шепнуть младшей, Наталочке, что они уедут в издежное место, что, как только явится возможность, сообщат свой адрес тетке на хутор около Ржищева...

Мать и сестры Ратько дважды пробовали вместе с узлами перебраться поближе к своим хуторским. Но узлы были так зажаты другими вещами и места так мало, что даже нельзя было пошевелиться. Особенно

страдала младшая, Наталочка, горевавшая от стыда при одном запахе поганой бадью... После Брянска, где человека, унесшего бадью, сопровождал милиционер, где уже никто не стеснялся друг друга, она наконец осмелилась. Бадью поставили ближе к вагонной стенке. Авдошка и Груня одеялом, занавесили свою стеснительную Наталочку. И хотя в вагоне и так стоял полумрак, стук колес и так бы заглушил все остальное, обе начали громко разговаривать с мелитопольскими. Бадью обвязали тряпкой и передали дальше, а Наталочка ткнулась в колени к матери Груне... Особенно стало стыдно, так стыдно, что щеки ее покраснели и налились жаром, когда она вспомнила брянскую остановку, когда черноусый военный долго ее разглядывал и даже улыбнулся. (По девичьей неопытности она не заметила, что разглядывал Гириштейн не ее и улыбнулся не ей, а ее сестре Авдошке. Та была настолько бойка, что спросила у него, куда их везут.)

Вагон качался и вздрагивал. Колеса стучали на рельсовых стыках. Дети кричали на разные голоса, терпеливое материнское убаюкивание то и дело сменялось облегчающей крикливой руганью: «А шоб тебе! Шоб ти подавився, шоб тоби й не видихнуть!» Кашель, плач, ругань, тихое подвывание и все голоса вдруг разом затихли, когда Грицько Малодуб, усевшись с Петром Казанцом спина к спине, запел старую хуторскую песню:

Пливе човен, води повен,
Та все хлюп-хлюп, хлюп-хлюп.
Ходить козак до дивчинны,
Та все тюп-тюп, тюп-тюп...

Они запели так чисто и стройно, так сердечно и тщательно выводили каждый поворот, что к ним вторым голосом тотчас пристроился Антон Малодуб, а за ним не вытерпели ни Пищуха, ни отец с сыном Петренки. А тут и Парасковья Марковна Малодуб подала Федька свекрови, глубоко во всю грудь вдохнула и начала подсоблять мужу и деверю. Вслед за ней незаметно влились еще два или три женских голоса, а тут песня переметнулась и в другие вагоны. Под стук промерзшего вагонного чугуна как бы вздыхало и разливалось зеленое степное тепло:

Пливе човен, води повен,
Тай накрився лубом.
Ой, не хвастай, козаченьку,
Кучерявим чубом,

Бо як вийдеш на вулицю,
Твий чуб розивьється,
А из тебе, козаченьку,
Вся челядь смнеться.

Пливе човен, води повен,
Тай накрився листом.
Ой, не хвастай, дивчиннонько,
Червоним намистом,

Бо як вийдеш на вулицю,
Намисто порветься,
А из тебе, дивчиннонько,
Вся челядь смнеться.

Ой, прийдеться ж, дивчиннонько,
Намисто збувати,
Та все ж тому козаченьку
Тютюн купувати.

Словно не желая глушить эту обильную, роскошную и широкую южную мелодию, поезд остановился на подмосковной станции. Песня затихла не сразу. Она затихала вместе с поездным шипением и колесным стуком. Холод и снег Подмосковья подступили к составу. И снова то тут, то там по вагонам заплакали дети, забормотали старухи, и скулящий женский вой зарождался во многих местах.

Уже три покойника лежало в третьем вагоне, когда в ответ на крик и плач охрана открыла двери. Черноусый военный приказал закрыть мертвых мешковиной или соломой. После чего он вновь обошел весь состав. Сейчас его никто не сопровождал. Он открутил проволоку, откинул защелку на первом вагоне, откуда только что слышалась песня. Напрягшись, подвинул дверь.

— Поем? Правильно, граждане! Уж лучше петь, чем реветь в' голос. Москва скоро. А Москва, сами знаете, слезам не верит...

— А потом куди нас, товаришу начальник? — Грицько был всех ближе к выходу. — Кажуть в тайгу. Та ви залазьте до нас, товаришу начальник...

Гириштейн, взявшись за скобу, закинул шинельную полу, поставил ногу в хромовом сапоге на лесенку и легко запрыгнул на свободное место в вагоне.

— Тифозные есть?

— Живем поки. — Иван Богданович Малодуб, кряхтя, отодвинул кривые свои сапожищи. — А чи довго будемо живи, видно одному Господу...

Он, этот черноусый военный, явно искал глазами вчерашнюю черноглазую. Авдошка Ратько сразу это почувала и выглянула из-за кучи узлов.

— Вы... как вас? — Черноусый еле-еле не покраснел. — Идемте со мной... Получите кипяток и варено.

Авдошка проворно выпросталась к дверям и сама хотела спрыгнуть на снег, но военный помог ей, подал обе руки.

— Ой! Господи, хоч витерцем свижим подийхати.

— Замерзла? — Черные усы Гириштейна поехали вверх кончиками.

— Ни! Я горяча...

На ней был темный плюсовый казачок с борами, самодельные, не фабричные сапоги и шерстяная коричневая фата.

— Дивись, Явдохо, не пидкачай, — крикнул Грицько. — На тоби все передове завдання!

— Тепер не пропадем! — послышалось из вагона.

— А чому вин Явдошку вибрав?

— Не всих одразу, дойдемо и до інших.

— Груня, Наталочко, ну що ви засумували? Никуди вона не динеться, зараз прийде...

И впрямь, Авдошка появилась через двадцать минут. Она, как воду с криницы, на палке принесла два десятилитровых ведра. В ведрах был горячий гороховый суп.

— Оце так Явдошка, ой молодець дивчина, — хвалил девку Петро Казанец. — Я такого супу й дома три роки не ив.

— Ти шо говориш, бисова харя? — взметнулась на него жена Мария. — Ти шо мелеш дурним своим языком?

Ось визьму палку, та по шни, бугай недоризаний! Та я такий поганий суп и сворбать не буду и тоби не дам!

И Марийка под смех хуторян плеснула содержимым своей алюминиевой кружки на вагонную стенку, хотела, наверное, прямо на растерявшегося Петра, да быстро одумалась.

...Гороховый суп сделал короче долгие мытарства на Окружной и дорогу до Вологды. Никто в первом вагоне не заикнулся, никто не хотел вспоминать о том, что в третьем телятнике схало три тифозных покойника. А может, уже и не три, а тридцать три... Или их сгрузили в Москве? Никто ничего не знал. «Овечка» тихо, но настойчиво тянула за собой хвост из одиннадцати вагонов. Правда, одиннадцатый, набитый молчавшими малахайными киргизами, был бесхозный. Гириштейн имел право отцепить этот вагон на любой остановке, поскольку за киргизов не отвечал и не расписывался. Но почему-то даже в Москве он не сделал этого.

V

Вологда встретила двадцатиградусным холодом, настоящим на угарном запахе горящего антрацита. Белая снежная перхоть медленным сеевом опускалась на крыши теплушек. Большие плоские кристаллики инея опушили железо. Состав затолкали на крайний путь и отцепили от паровоза. Паровоз ушел. Трое охранников ходили вокруг состава, пока черноусый начальник бегал куда-то на станцию хлопотать о новой паровозной бригаде. Он вернулся часа через полтора.

— Товарищ Гириштейн, скоро поедет? — поколачивая о мерзлую землю валенками, спросил один из охранников. — В седьмом вагоне два покойника!

— Как? В седьмом? — вскинулся Гириштейн. — Немедленно открыть вагон!

Начальник отвернулся, когда открыли вагон и под крики и плач женщин начали стаскивать новых покойников. Их положили рядом на межпутье. Вагон снова закрыли, и, как это ни странно, он сразу стал затихать. Точь-в-точь пчелиный улей, успокоенный двумя-тремя вздохами дыма в руках опытного пчеловода.

Гириштейн вздохнул и послал одного из охранников искать носилки...

Он подошел к первому вагону, опять, как вчера, открыл тяжкую полужелезную дверь. Пассажиры зашевелились.

— Явдоха? — нарочно и громко закричал Антон Малодуб. — А де вона сховалася наша Явдоха?

Но Авдошка как тут и была.

— Ну... Берите бадью да за кипятком! — сказал Гириштейн, краснея. В вагоне одобрительно загудело. Авдошка стыдливо зажимала в коленях свой багряный с зеленой наподольной оторочкой сарафан. Опять, как и тогда под Москвой, она не могла осмелиться прыгнуть. Черноусый начальник расставил руки, сзади ее толкнули, и она, стараясь не завизжать, полетела прямо на черноусого. Он поймал ее и поставил рядом. Сверху подали две пустые бадьи. Гириштейн хотел задвинуть ворота, но раздумал.

— Гляди тут... — бросил он подошедшему охраннику и повел Авдошку к вокзалу. — Что, испугалась?

— Ни! Я смелая! — так же, как тогда под Москвой, засмеялась она. Сноп золотых сверкающих искрящихся блесток из ее карих горячих глаз осыпал черноусого. — Я и даже больших командиров не боюсь...

— Ишь ты. Не боится она... Неужели ничего не бывало страшного?

— Ни! Тильки мышей.

— Ну, мышей-то и я побавваюсь. — Военный засмеялся.

— Правда? — обрадовалась Авдошка, отчего даже остановилась.

— Правда, — сказал он, поравнявшись с ней.

— Та якие у вас в городе мыши? У вас там и гумна нема. И снопов тоже не треба.

— Нема в городе снопов, — согласился он. — Только...

Она видела, как он спохватился, замолчал и ускорил шаги.

Ловко помахивая ведрами, Авдошка бежала за ним то слева, то справа. Она так и сыпала на него своей украинской мовой. На ее шепечущий голосок люди оглядывались и улыбались.

Около водоразборной будки, вся в пару, волновалась очередь за горячей водой. Военный раздвинул всех, набрал две бадьи кипятку, вынес из толпы и подал Авдошке.

— Унесешь ли? — усмехнулся он и еще раз оглядел всю ее ладную, даже форснстую фигуру. — А то подсоблю.

Она возмущенно хмыкнула.

Вагон номер один встретил две бадьи кипятка вполне одобрительно. Авдошка подала воду наверх, а сама не стала спешить в вагон. Военный слегка задвинул двери. Он отошел и встал за вагонным торцом, прислонившись к буферу. Кивнул ей, она подбежала. Он оглянулся и вдруг положил обе свои руки в перчатках на плечи ее плисового казачка.

Вокруг никого не было. Авдошка с радостным испугом взглянула на него снизу вверх. Сердце у нее так и замерло. На нее пронзительно и печально смотрели глаза военного, такие синие, синей, может, и самого синего неба, какое бывает в летний безоблачный полдень.

— А як же тебе звати, миле... — сказала она и не договорила, он уже коснулся усами ее лица и вдруг крепко-крепко прижался щекой к ее щеке, потом оттолкнул, но не отпустил ее плечи.

— Петром зовут, — сказал он сдавленно. — Поцелуешь меня? Когда в другой раз свидимся, обещай...

— Ой... та де ж я вас зустрину... Може, помру, як той дид... Куди нас тягнуть? Там холодно?

— Там — холодное море. Бегн... Иди в свой вагон... Стой! Беги лучше за мной...

Он метнулся в одну сторону, затем в другую, подбежал ко второму вагону. В конце состава пыхтел маневровый, неспешно надвигаясь на бесхозных киргизов.

— Стой! Авдошка... — Он, видимо, лихорадочно что-то соображал. — Ты когда именинница? В марте? Евдокия замочи подол, зажги снега...

Авдошка в недоумении поглядела на свой подол.

Багряный ее сарафан с зелеными узорами по подолу и впрямь словно бы полыхал среди этого железа, среди прокопченного серого снега.

— Да! — Военный бросился в другую сторону. — Еще у нас примета была. Ёжели на Евдокию курица воды напьется, на Троицу корова травы наестся. А там... Там, голубушка, будет еще холодней... Хочешь остаться здесь?

Авдошка молчала в недоумении. Он вдруг метнулся к сцеплению. Он долго с натугой скручивал какой-то винт, затем подставил плечо.

— Подсобляй! Мать-перемать... Да тихо... чуешь? Так. Ну?

Вагон отцепился. Начальник побежал к паровозу, но тут же вернулся, раскрыл полевую командирскую сумку. Вытащил клоч бумаги и карандаш, быстро что-то написал и подал записку Авдошке.

— Бери! Тут адрес, никому не показывай. Зайдешь, когда придет возможность. Спросишь...

Он закрыл сумку и так же быстро, не оглядываясь, побежал к паровозу.

Авдошка не успела осмыслить случившееся: вдоль по всему составу прошел оглушительный лязг, второй вагон дернулся, и весь состав сначала тихо, потом все проворнее начал удаляться от первого вагона. Маневровый паровоз выводил поезд на главный путь, чтобы ехать дальше, туда, к холодному Белому морю. Авдошка хотела бежать вслед, но тут же очулась, остановилась... Первый вагон стоял в одиночестве. Она расстегнула под казачком сарафан, сунула записку под лифчик. Она долго стояла не шевелясь, стояла, пока не начали замерзать руки в варежках. Она сняла одну варежку. Варежка упала к ногам.

...Когда Грицько осторожно, плечом отодвинул дверь настолько, чтобы можно было пролезть, вокруг была безлюдная тишина. Лишь со стороны вокзала слышались редкие гудки, шипение паровозов и крики сцепщиков, махавших своими желтыми фонарями. Еще больше удивился Грицько, увидев плачущую Авдошку. Слезы не успевали скатываться и сморачивали ее длинные черные ресницы, плечи вздрагивали.

— А це що ж за кавалери пішли? — высунулся Грицько. — Заманив дівчину, а сам втік. Де начальник? Хлопці, та ми ж видчеплени...

Мужики поочередно начали вылезать из гелятника. Некоторые женщины разворачивали одеяла, тоже выбиравались на свет. Авдошка молчала.

— Видно, шестерьонка якась зипсувалась, ось и видчепили, — сказал кто-то из млинопольских.

— Яка тут шестерьонка?

— Чорновусый кинув геть.

— А може це накращ, братці? Явдоха, скажи своє слово!

— Ах ти, та не журися, Явдоха, за цими вусами! Воно слюзы в ней як горох.

Что было делать? Мужики долго советовались. Грицько и Антон Малодубы вызвались идти искать какого-нибудь начальника. Но едва Антон и Грицько прыгнули на снег, как новый, только что прибывший состав из Ростова, выкатываемый на этот же путь, начал

медленно приближаться, заполнять пространство, и вдруг сильный толчок сбил все планы Грицько и Антона. Железнодорожник стоял на площадке в конце нового состава. Он прыгнул, засвистел, помахал замызганным табачного цвета флажком и побежал отцеплять паровоз. Вдоль состава бежали милиционеры и военные с винтовками, за ними следом, на незначительном расстоянии, шла группа в гражданском.

Вагон из Киева затих в тревоге. Безвестное будущее вновь обрывалось перед людьми, обрывалось бездонной и жуткой своей пропастью...

Ростовский состав, а заодно и киевский вагон, ставший бесхозным, были мгновенно оцеплены. Комиссия или группа начальства шла напрямик и остановилась напротив.

— Эт-то что такое! — сказал один из гражданских. — Двери? Почему не замкнуты? Где начальник состава?

— Товарищ командир, это не наш вагон, — подбежал ростовский сопровождающий.

— Что значит не наш? Не наших вагонов нет и не может быть. Товарищ, как вас там... — Он обернулся в другую сторону. — Начинайте.

Другой начальник приказал охране открыть двери. Люди в вагоне безмолвно ждали, что будет дальше.

Начальник сдвинул на бедро тяжелую кобуру, подтянул перчатки и отчетливо скомандовал:

— Всем взрослым мужчинам с вещами — сюда! Живо, живо, това... Вы слышите, граждане? Только одни мужчины!

Шевеление и первые возгласы нарастали в вагоне.

— Ну? Сколько же можно ждать? — крикнул другой, в черных высоких валенках и в полушубке, тоже перетянутом широким командирским ремнем.

В вагоне зашевелились, заговорили, заплакали сразу несколько женщин.

— Спокойно, спокойно! — крикнул тот, кто был гражданским. — Объясню: мужчины отделяются от вас временно. Они будут направлены на рубку леса и строительство! Ясно ли говорю, товарищи куркули?

Оратор пытался шутить и, довольный, оглянулся на сопровождение.

— Ясно! — послышались голоса.

— А семейства куди?

— Ми готови...

— Тільки куди? Ще далеко?

— Семейства, граждане, остаются здесь, в Вологде, до навигации! — кричал оратор. — Живее, граждане, говорю убедительно!

Грицько Малодуб наскоро обнял отца и мать и первый прыгнул на снег. За ним прыгнул Антон.

Вскоре все мужики, схватив что попало из еды и одежды, наскоро попрощавшись, начали прыгать на бровку. Бабы крики и женский плач усиливались, но начальство уже переместилось к другому вагону — к ростовскому. В ту же минуту киевский вагон закрыли, заперли. Мужчин построили в одну шеренгу.

Детский плач и женские причитания не стихали в вагоне. Последние наказания через стенку, слова утешения, крики конвойных и паровозные сливались в сплошную разноголосую звуковую путаницу. Группа киевских

мужчин, пристроенная к первой партии ростовских, была уведена под конвоем в сторону вокзала. Начальство шло дальше от вагона к вагону. Открывались двери, и везде начиналось то же самое: крики, плач, возгласы. У каждого вагона получался небольшой митинг. Оратору пришлось выступать столько раз, сколько было вагонов. Только стоял оратор не наверху, а внизу, и ему приходилось задирать голову, и массы, к коим он обращался, взирали на него и задавали вопросы сверху, как бы с трибуны.

Все путалось в мире и вставало с ног на голову.

* * *

Параска, обессиленная, сунулась на зашитые в мешковину тяжелые упаковки, сердце совсем зашло и билось часто-часто. Во рту пересохло, в ноги бросилась какая-то нежданная слабость. С той самой минуты, когда муж Антон спрыгнул вниз, и двери вагона закрылись, и стало опять темно, время для нее начало то останавливаться, то пятиться в прошлое, и многое из того, что она говорила и делала, улетело бесследно. Она помнила только, как подала свекрови закутанного в одеяло Федька и начала таскать узлы из вагона к тому месту, где их ждали подводы. Вozов для всех не хватало, местные ездые бегали вокруг перегруженных розвальней, просили остановиться, не класть, но возы росли и росли, и наверх громоздились еще старухи и старики с грудными и малыми, тогда возчик бил вожжами по лошади, либо отъезжал, либо спихивал груз.

Пока свекор Иван Богданович караулил багаж в вагоне, Параска кое-как отправила на подводе свекровь с Федьком, да еще успела сунуть к ней узел с мукой. Сама побежала за другой поклажей, а когда притащила узлы, подводы с Федьком и свекровью уже не было. Параска взревела было на весь вокзал. Но ее успокоили другие возчики, сказали, что свезут туда же, и вот она оставила узел Авдошке и опять побежала, теперь уже за ящиками и за свекром. Они оба на плечах притащили тяжесть к подводе. Иван Богданович сумел погрузиться с узлом, где была сложена одежда, а тяжелые ящики и Параску никто не взял, и вот она, едва живая, сунулась на эти ящики. «Господи! — мысленно, а может, и вслух, то и дело повторяла она. — Господи, не оставь моего сынка. Господи, Господи, не оставь...»

Когда слабость в ногах и бедрах прошла, а сердце начало тукать ровнее, она взглянула вокруг и удивилась: где она очутилась? Вокруг площадки стояли незнакомые деревянные двухэтажные дома с резьбой на крылечках и окнах. На крышах нахлобучены белые снежные шапки. Она догадалась, что где-то близко вокзал, вспомнила поезд и вдруг зарыдала, затряслась, упала на свою тяжкую, лежащую на снегу поклажу... Кто-то осторожно потряс ее за плечо. Она сквозь слезы увидела старичка в заячьей шапке и тулупе. «Ты што, девка? — слышалось ей. — Пошто эт-та ревишь-то? Ревела бы дома».

А дальше у нее снова образовался провал в памяти. Мужик в тулупе отвез ее напрямиком в тюрьму, которая стояла на берегу реки и называлась Московской. Пара-

ска запомнила только высокую стену да широченные ворота, за которыми копошились бабы, детки и старики с ростовского поезда. Параска издали увидела свекровь, сидящую на узлах, но Федька на руках Марфы не было, она забыла и про старика в тулупе, и про поклажу, бросилась на тюремный двор, к свекрови.

Слабость опять начала опускаться в ноги, но Федька спал между двумя мягкими и теплыми узлами. Иван Богданович пробовал рассчитаться с тулупом, которого пропустили прямо в ворота, но старичок ничего не взял, только прибежал опять, когда охранник не стал выпускать его за ворота: «Выручите, пожалуйста!»

Старичка в тулупе выпустили. Ночью в тюремном подвале Параска пришла в себя. Здесь оказалось теплее, хотя на стенах и в желтом свете электрической лампочки поблескивал иней. Так же, как и в вагоне, было тесно от узлов, только теперь не было мужиков, и все люди перемешались: ростовские, киевские, мелитопольские. Плакали дети, кое-какие старики и старухи лежали ничком, напрямиком на полу. Правда, пол был все-таки деревянный, и Марфа развязала узел, разостлала два стеганых одеяла. Федька устроили потеплее. Иван Богданович, перелезая через чужую поклажу и перешагивая через людей, направился искать отхожее место... Въяве или в задымленной памяти звучала сердечная песня? Откуда летели к Параске поющие голоса Грицька и Антона?

Пливе човен, води повен,
Тай накрився листом.
Ой, не хвастай, дивчинонько,
Червоним намистом

Голоса деверя и мужа Антона летели к ней издалека. Плач ребенка оборвал те голоса, но она, в тревоге и в страхе, никак не могла проснуться. Тяжкое забытье и тьма, словно сама смерть, обвалились на нее и поглотили... Из всех сил старалась Параска встать и бежать к сынку, а ноги были как не ее, никак не слушались, и вот она встала на четвереньки, чтобы ползти, но и руки тоже не слушались. «Господи, Господи...» — опять твердила она во сне и пыталась ползти на сыновий голос.

Пришло утро, людей по пять человек с детьми начали выпускать из подвала, переводили в другое место. В подвальном этаже стало чуть посвободней. Появились бачки с водой, народ шевелился. Память Параски из течения новых времен вырывала кое-какие картины, выделяла из небытия и кошмаров. Вот после нескольких дней и ночей явился какой-то новый начальник и потребовал: каждый должен написать и сдать ему объяснение, в котором нужно подробно указать социальное положение, когда и за что осужден или арестован. Это, мол, требуется для того, чтобы дело пересмотреть и отпустить ни в чем не виновных. Он сказал это, а сам ушел и ни карандаша, ни бумаги не дал, а что тут поднялось в тюремном подвале! Параска худо помнит... Свекор вострепенулся утренним кочетом. Начал шарить карандаш и счетоводную книгу — запаслив Иван Богданович! Эту чистую книгу успел прихватить на всякий случай.

— Я казав, що нас дарма разкуркулили,— говорил он.— Ни в чем ми не шли против советской власти!

И тут же, мусоля химический карандаш, начал писать объяснение.

Через минуту ничего не осталось от той счетовой книги! За каждый лист совали свекру то последние деньги, то последние сухари, он деньги отталкивал, но вырывал и раздавал листы в чьи-то руки, пока от книги не осталась одна картонка.

Груня Ратько, вся в слезах, отвернулась от Малодубов:

— Хиба мало ми вам добра зробили?

Никто из троих — ни Груня, ни Наталка с Авдошкой не могли осмелиться написать хотя бы одно слово, и свекор Иван Богданович на этой последней оставшейся от книги картонке долго корябал за них объяснительную. Бумаги, собранные в одну кучу и унесенные начальником, канули навсегда. Женщины забыли о них, помнил один Иван Богданович...

После бани, которую спецпереселенцы встретили будто светлое воскресенье, их начали переводить из Московской тюрьмы по разным местам. Малодубы разлучились с Петренками. Груню Ратько с ее дочерьми увозили первыми: девчата рыдали навзрыд, прощались как навсегда. Говорили, что их переводят в Прилуки. Семейства Малодубов и Казанцов перевозили тоже на другой берег, в церковь Андрея Первозванного. Свекровь умудрилась сложить поклажу на одну подводу. Высокий рыжий бородатый мужик, сам, видно, из заключенных, погрузил ящики и узлы, густоим своим басом рыкнул на лошадь. Он провез их по льду реки к паперти одноглавого храма. Перекрестился. Марфа отдала ему сухую, как камень, гулыгу подового хлеба.

— Не откажусь! — поблагодарил возчик, загребая в рукавицу широкую рыжую бородину.— Поелику слаба плоть человеческая...

Он спрятал ковригу на груди, под грязный ватный пиджак, подпоясанный ремнем, отчего стал еще толще. Огляделся вокруг и помог затащить инструмент на паперть.

Широкий настил из свежих досок тянулся от правого клироса и от левого, до самого схода с паперти.

Вначале было хоть и холодно, но совсем просторно. Воздух был чистым, только уже через два дня в храм набилось густо, и люди ночевали впритык. Параска смутно помнила, как носила бачки с кипятком и какое-то картофельное холодное варево. Вскоре открылся тиф... Каждый день кто-нибудь умирал и покойников выносили из храма на паперть, и тот самый рыжий здоровый возчик складывал мертвых на розвальни, прикрывал сеном и увозил на Горбачевское кладбище.

Приходила женщина в белом халате. Она отбирала тифозных и с тем же рыжим отправляла в больницу. А Иван Богданович все ждал и ждал ответа на свою объяснительную... Однажды, лежа под старым, но теплым кожухом, он тяжело задышал и попросил Параску потрогать голову. Она сдвинула шапку, положила ладонь на его широкую лысину: голова свекра была совсем горячая. Иван Богданович все понял и заплакал: «Не

говорите, ради Христа... Не отправляйте в больницу. С вами-то я поправлюсь...»

А эшелоны, видать, все прибывали в Вологду. Параска кормила Федька мучной болтанкой, когда в церковь нахлынуло, сдавило со всех сторон, захлестнуло голодным и злым народом: тут были и мужики, и евреи. Она знала, что из города богатых евреев трогали редко, а по хуторам под горячую руку кое-кого загребли, только им разрешалось увозить сколько хочешь поклажи. Они откупали целиком вагоны, и везли те вагоны почему-то отдельно, с пассажирскими поездами...

Однажды женщина в белом халате остановилась около Ивана Богдановича. Притворяясь здоровым, он бодро вскочил с нар, но она велела ему поднять рубаху. Он пробовал даже отшутиться, тогда она сама задрала подол его клетчатой домотканой рубахи. На белом, втянутом под самые ребра животе не густо, но ярко краснела сыпь... Он заплакал, прощаясь. Свекрови разрешили проводить его до больницы.

Параска плохо запомнила и то утро, когда снова, в который уж раз, волочила тяжелые укладки с инструментом и узлы, как свекровь, оставив ревущего Федька на возу, прибежала ей помогать, и оттого они разругались с ней, разругались впервые за все время Параскиного замужества.

Их перегоняли в Прилуки. Возчик был тот самый, рыжий бородач, который перевозил их из тюрьмы в церковь Андрея Первозванного. Только лошадь и дровни оказались иные. Вожжи он использовал на то, чтобы перевязать воз, и лошадь ему пришлось вести под уздцы.

Охрана конных стражей сопровождала до самого монастыря. Конвоиры отгоняли в стороны любопытных мальчишек, сердобольных старух и женщин. Народ выходил из домов. Было видно, как охранник отпихивал с дороги женщину, которая хотела дать что-то двум еле бредущим старикам. Их везли на многих подводах, кое-кто шел сам, многие падали. Параска несла Федька на руках, на возу ехала ослабевшая свекровь. Параска думала только одно: как бы за что-нибудь не запнуться, да не упасть, да не уронить свою ношу, да добраться до нового места — а там опять будь что будет... Только за что же, за что посылает Господь такие страдания и муки? И время опять кидало ее далеко назад. В глазах плыли то зеленые хуторские нивы, то золотые маковки Киевской Лавры. После свадьбы, на масленице, деверь Грицько возил ее и Антона в Киев. Тогда и нагляделась Параска всего до всего: главы соборов плавилась от золотого предвесеннего солнышка, они просто купались в бирюзово-синем небесном раздолье. Воробы, встречая весну, чирикали на дорогах и в подворотнях. Под крышами урчали голуби. Только что же это такое? Соборные маковки стали вроде не те, и не те чирикали воробы. Под ногами катились мерзлые конские катыши, скрипели полозья, и Лавра была вроде не Лавра.. Падает снег, соборные маковки душит серое беспросветное небо.

Прилуцкий северный монастырь встретил Параску холодным ужасом. Она подала ребенка свекрови и скинула с подводы узлы, скovyрнула ненавистные ящики

и начала их таскать на паперть. Попробовала таскать в собор, но внутри храма негде было ступить.

На крутых холодных ступенях соборной паперти силы совсем ее покинули. Память, еле до этого брезжившая, растаяла, и Параска провалилась во тьму.

Она пришла в себя от детского плача и бросилась, как затравленная, в сторону плачущего ребенка. Только это плакал чужой младенец. У нее что-то обрушилось внутри от страха за исчезнувшего со свекровью Федька. Где? Куда их спрятали от нее? Крик еле не вырвался из гортан. Этот утробный материнский вопль оборвался в самом начале.

— Влекитесь за мной! — слышался мощный бас, и Параска увидела над собой рыжебородого возчика. Он легко взял под мышки два тяжелых ящика с инструментом и провел ее через крытые переходы в обширную монастырскую трапезную, тоже заполненную женщинами, стариками и детьми всякого возраста.

Параска бросилась к свекрови и сыну. Она совсем позабыла про возчика. Но поп Рыжко и сам тотчас забыл про нее.

* * *

Ноги Николая Ивановича, обутое в широкие как мешки растоптанные и кое-как стоявшие во ставу валенки, ступали в редкие промежутки между телами, грозя раздавить чью-либо смиренную голову. Ватный пиджак, подпоясанный солдатским ремнем, был под стать валенкам: такой же обширный и так же обметанный ледяным панцирем. Шапка была явно мала и не вмещала большую рыжую голову...

Николай Иванович выбрался наконец из кричащей, плачущей, шевелящейся трапезной. Только на морозе запах сквозного поноса отнюдь не исчез, а стал еще пронзительнее. Тиф гулял по монастырю в одном строю с дизентерией. «Перемещалось дерьмо и толокно, — подумал Перовский, оглядываясь и не находя свою лошадь с дровнями. — Уже разверсты врата преисподней... Да чем лучше поверх-то земли?»

«Поверх земли» бесчинствовал холод, розовый горизонт опускался за монастырские стены, и ночной сумрак уже нарождался под сенью юго-западных стен. Могучие угловые башни безмолвно громоздились вокруг собора и трапезной. Кресты, подернутые морозною сединой, бросались в глаза как ни повернешься. Николаю Ивановичу пришлось пересиливать косность и перекреститься. А ныне после крестного знамения каждый раз нарождалась в нем скорбь, раньше неведомая, и он чуял смуту душевного раздвоения.

Монастырь являл собой странный, как бы не совсем и здешний образ: собор стоял посреди человеческого кала, горящих костров и каких-то жалких пожитков. В кострах горели надмогильные кресты и лестничные перила, ступени церковных папертей и монашеских келий. На смотровой башне, как в смутные времена, перетаптывался воин смотрящий, но выглядывал он не наружных врагов, а обитателей внутренних. У красных, едко дымящих пожаров шевелились какие-то детки и старики, востроглазые хохлушки перегаркивались меж-

ду собой на своем не очень сурьезном, как показалось Перовскому, наречии. Часовня и склеп богатого вологжанина были растворены, каменные надгробия, железные кресты и мраморные обелиски коптились в дыму.

Николай Иванович нашел повозку, подвел к монастырскому пруду и напоил из проруби лошадь. Затем он передал повозку с рук на руки знакомому красноармейцу.

— А чересседельник-то где? — возгласил парень.

Николай Иванович только руками развел. Чересседельник исчез, пока Перовский помогал выселенке заносить поклажу.

— Ладно, иди! — смиловившись красноармеец и без чересседельника выехал за охраняемые ворота.

Перовский зашел в дежурку, где его кормили отдельно от охранников. Он съел большой кусок ситного с холодными, сваренными в мундирах картофелинами. Выпил кружку горячей воды и отправился на ночлег.

Вот уже третью ночь он ночевал в соборе у северных клиросных врат, на досках. Как же попал он в Прилуки? За угон паровоза его судили во второй раз, и во второй раз он был послан грузить бревна. На станции Семигородней отец Николай прижился было совсем хорошо, но его неожиданно увезли в Вологду и дня три держали без дела в тюрьме. На четвертый его вызвал начальник и оставил наедине с другим начальником. Этот второй был не кто иной, как Ерохин. Тогда Николай Иванович сразу признал его и словно обрадовался:

— Доброго здоровья вам... Нил Афанасьевич, если не ошибаюсь?

— Ошибаетесь! — Ерохин резко задвинул ящик стола. — Я вам не кум, не сват, а гражданин начальник...

Да, Ерохин был, как прежде, начальник, только теперь в форме чекиста. Не ахти какой чин, на воротнике гимнастерки всего два треугольника, но поп знал уже, что чем меньше чин, тем больше охота командовать. Ерохин с полчаса читал ему акафист насчет момента. Он закончил неожиданным предложением: из тюрьмы выйдешь и будешь жить в Прилуках на красноармейском пайке! Но при условии: ночевать вместе с высланными...

Николай Иванович, не долго думая, согласился, и Ерохин закончил разговор совсем по-домашнему:

— Дадим тебе лошадь с повозкой. Запрягать-то умеешь?

— Мне не управиться! — Отец Николай почувствовал что-то не то.

— С паровозом управился, а с лошадью тем более справишься, — засмеялся Ерохин. — Шалить не будешь? Гляди, дурака не валяй.

— А ежели уберу?

— Пуля догонит!

— Как она догонит, ежели я по лошади хлесть — и был таков?

— Учти, Перовский, прямо летит не каждая пуля. Иная зигзагой...

И Ерохин, водя ладонью, показал, туда, мол, сюда, а отец Николай расхохотался и сказал утробным своим басом:

— А чем так жить, Нил Афанасьич, так лучше

копыта откинуть. Пусть догоняет! Хоть прямо, хоть зигзагой...

Сегодня, засыпая на досках, Николай Иванович вновь дословно припомнил тот разговор с Ерохиным. Он давно понял, почему его взяли из Московской тюрьмы и поселили в Прилуках. Время от времени его вызывали в город в другой — Духов монастырь и спрашивали, кто по ночам отпевает в Прилуках покойников. Николай Иванович отшучивался:

— Товарищи, мне ведь на два монастыря не под силу! У меня и так тяжкая должность: возить покойников. Каждый день десятка по два-три, ну чем я не Харон? Только у того ладья, а у меня дровни! Переведите обратно...

Обратно? Он знал, что обратных путей у него нет и не будет. В любой час тифозная вошь, либо дизентерийный микроб, либо та же пуля, что летает «зигзагой», остановят его земной путь. А вот что будет потом, отец Николай все еще не знал...

В соборе было холодно, стены заиндевели, человеческий муравейник не стихал круглые сутки. Круглые сутки скрипели, грохотали железные двери, круглые сутки плакали дети, стонали старые люди, и круглые сутки витал под сводами запах жидкого кала. Время, словно остановленное под этими сводами, иногда — тоже «зигзагой!» — срывалось в далекое прошлое, и отец Николай явственно слышал, как пели сорок монахов, заживо сжигаемые в деревянном Прилуцком храме. То были тоже смутные времена. Литва и русские воры ходили по деревням, насиловали жонок, отбирали скотину и рубили головы мужикам. Один Кирилловский монастырь устоял... Либо слышал вдруг отец Николай зимний скрип многих полозьев: то въезжал в монастырь большой московский обоз. Москва-матушка горела и шаяла, наполеоновские гренадеры патрашили в первопрестольной, а сюда, в Прилуки, въезжал обоз. Несчетные вороха царской казны, несметные богатства православных московских церквей были отправлены сюда, в Прилуки, и хранились тут, пока Москва, как птица-феникс, не восстала из пепла. А ныне-то где те сокровища русские? Они рассыпались по лику грешной земли, плывут за море, звенят и блистают в чужих подворьях. Из одного Кириллова утянуто две баржи и неизвестно куда... А он, грешник, не верил патриарху, когда тот взывал к христианам в своем первом послании: «Тяжкое время переживает ныне святая православная церковь Христова в Русской земле. Гонения воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово и вместо любви христианской всюду сеять семена злобы, ненависти и братоубийственной брани...»

Послание патриарха Тихона стояло в глазах и сейчас. Та бумага давно пожелтела, выброшена. Имел ли он, Перовский, право не читать патриаршее послание шибановским верующим? Нет, не имел... «Благодатные таинства, освящающие рождение на свет человека или благословляющее супружеский союз семьи христианской, открыто объявляются ненужными, излишними; святые храмы подвергаются или разрушению, или ограблению и кощунственному оскорблению; чтимые верующим народом святые захватываются безбожными

властителями тьмы века сего и объявляются якобы народным достоянием...»

«И впрямь народное достояние...» — подумал Николай Иванович и повернулся лицом к развороченному алтарю. Под ним скрипнули доски разломанной солеи. Соседи — два старика и две старухи — тоже зашевелились, закашляли. Даже ноги для отдыха нельзя было вытянуть, такая была теснота, но усталость брала свое. Почему же он, Перовский, так и не прочитал с амвона послание патриарха? Хотел как лучше... Нет, не боялся Игнахи Сопронова, хотел как лучше. Не верил Его Святейшеству, верил себе... А он, Тихон-то... Своей ли уж смертью почил? В Питере вон, там ведь многие стреляны были... Новые иерархи объявили святым Иуду апостола... Он, Перовский, в стане живоцерковников... Да и Во Христа-то уже веришь ли? Но коли Бога не было, так нет и Дявола. Тогда следы-то дьявольские повсюду откуда взялись? Как он смущает тебя, враг истины, царь тьмы! Уже и молитвы заставил забыть, отучил и от любимых псалмов...

Отец Николай начал мысленно произносить символ веры и произнес без запинки, но на добавлении от второго собора он сбился и безмолвно заплакал, терзаемый страхом... Быть может, он продлевал свои дни предательством православия, подобно живоцерковникам и обновленцам? Бесам служи — долго живи. Богу не нужны такие, как он. Иерофей — епископ Великоустюжский и викарий Вологодский убит в голову при аресте, когда народ не дал его в обиду. Это он — епископ Иерофей — не пожелал подчиниться митрополиту Сергию... А ему, Перовскому, и подчиняться не требовалось. Господи!

Николай Иванович, изо всех сил борясь со сном, попробовал вспомнить девяностый псалом, но тяжесть и мука обступили его. Тогда он начал шептать из того, что вспомнилось: «...несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне. Восмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего... Господи, свет... Врази же мои живут и укрепятся паче мене и умножишася ненавидящие мя без правды... Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене. Вонми в помощь мою, Господь спасения моего...»

Отец Николай провалился в тяжкий необлегчающий сон.

В середине ночи, может, под утро, бывал в соборе короткий временной промежуток, когда тишина слетала на людской муравейник, и ненадолго, отдохнув от страданий, замолкали младенцы, засыпали измученные матери, замирали в различных позах спящие старики. И часа полтора под высокими куполами истаявало отрадное успокоение, и как будто в эти минуты веяло откуда-то родимым теплом. А может быть, это витала человеческая надежда. Тот, кто доживал до этого промежутка, уже не умирал и доживал до следующего утра, а тот, кто умирал, так и лежал безмолвно, ничем не отличаясь от спящих, пока сердце близкого не вздраги-

вало во сне. Смерть близких будила спящих рядом, и тогда то в одном месте, то в другом тихонько слышался сдавленный плач или несильное подвывание. Перовский слышал эти звуки каждую ночь и по ним знал, из какого соборного угла понесут завтра поклажу на его розвальни.

В эту ночь, сквозь мучительное желание какого-то раскаяния, сквозь неутоленную жажду сделать что-то очень необходимое, отец Николай увидел четкий, но совершенно бессмысленный сон. Будто он идет по крыше Евграфа Миронова вдоль по князьку. Крутая крыша, высокая. Он знал, что это ему снится. Любил ведь и въяве ходить по крышам — потому что далеко видно и опасно ходить. Грех ведь, наверное, а любил лазать по крышам. Еще любил рыбу удить, выпивал и от женского полу редко отказывался. Лес любил, Господи! А нынче что? Харон... Только плывет не ладья, а скрипучие дровни. Нет, это плывет тесовая крыша Евграфа Миронова. И конь тоже на крыше... Реют белые легкие облака вокруг, не вверху, а внизу...

Что и кому он должен сказать? Не забыл ли сделать важного дела? Какой грех оставлен, нет ли какого стыда и неисповеданной злобы? Кого не простил за обиду? Благословен Бог наш... Ему показалось во сне, что он умирает, что это за него, за немогущего глаголати, говорит чей-то совсем незнакомый голос: «Через бурю напастей по житейскому морю притекаю к тихому пристанищу и молю Тебя: спаси от тления живот мой... Уста мои молчат, но сердце глаголет: огонь сокрушающий возгорается внутри. Призри на мя слыше, милость Божия, увидев Тебя, от тела отойду радуясь».

Я умер, и это за меня, уже не могущего говорить, читают канон. Но если б я умер...

Отец Николай проснулся с сильнейшим сердцебиением, вспомнил, где находится, и увидел в темноте колеблющийся язычок свечного пламени. Сосед-старичок в жилетке, надетой поверх вязаной шерстяной рубахи, только что умер, и ему еще не закрыли глаза. Три женские фигуры шевелились около, четвертым был тот, кто читал отходную. Голос был приятным, без хрипоты и испуга:

«...прими в мир душу раба Твоего Андрея и покой ю в вечных обителях со святыми Твоими, благодатию Единородного Сына Твоего, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, с Ним же благословен еси, с Пресвятым и Благим, Животворящим Твоим Духом, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».

Отец Николай был потрясен тем, что увидел. Священник произнес «аминь» не громко, но твердо; зыбкий свет от свечного пламени блеснул на миг в его спокойном и ясном взоре. Батюшка свернул епитрахиль и положил около нее Евангелие. Старая, но чистенькая фелонь растворилась в темноте, потому что свеча погасла, а свет от двух керосиновых фонарей, висевших у входа, не достигал даже середины собора...

Так было и на вторую ночь. И на третью все повторилось, и на четвертую тоже, только в разных местах собора. Подпольный батюшка, вероятно, не успевал соборовать всех умирающих. Перовский вывозил их

ежедневно возами. За пять дней Николай Иванович насчитал больше шестидесяти, а утром шестого дня в собор ворвался молодой, с наганом поверх дубленой шубы. За ним встали два красноармейца с винтовками. Три фигуры качались в сумерках.

— Кто тут ночью разводил панихиду? — звонко воскликнул веселый пришелец. — Ну? Не скажется сам, всех вытряхну на мороз! Хоть вы и куркули, а передохнете, как тараканы!

Собор замер, только плакал за иконостасом младенец.

— Подавай мне попа! — раздался новый крик. — Живо, живо! Пять минут сроку.

Тишина и темень в соборе стали еще страшнее, только плакал младенец.

— И чтобы все поповские причиндалы сюда! — снова послышался звучный молодой крик.

Николай Иванович сквозь сумрак видел, как у столпа зашевелилась гряда чьих-то пожитков. Из-под стеганого одеяла показался человек с тонкой черной бородкой.

— Ну? Осталось две минуты! — послышалось снова.

Николай Иванович поднялся и вдруг громко на весь собор воскликнул:

— Я поп!

Он сделал несколько шагов, мельком наклонился к священнику, прошептал: «Быстрее, дайте мне фелонь либо епитрахиль!» Священник в темноте развязал один из узлов. Николай Иванович схватил фелонь, затолкал ее под полу своего непросохшего ватного пиджака и ступил ближе к свету и выходу. На стене собора колыхались тени стражей.

— Я поп, — повторил Перовский. — А вам-то что требуется?

— Идите за мной!

Все четверо исчезли за грохочущим и визжащим железом соборных врат.

Жизнь Николая Ивановича Перовского повисла на волоске. Он это чувствовал и, ступая по снегу, удивлялся собственному спокойствию. «Не я первый, не я и последний», — рассуждал он и вспоминал ленинградских страдальцев за веру. Его усадили в его же розвальни и повезли за ворота. Сейчас он пытался осмыслить свое отношение к московскому местоблюстителю патриаршего престола и к вологодскому архиепископу. Дивился неправым делам, спрашивал сам себя. За что шибановцы прозвали его прогрессистом? А было за что... Да, живоцерковники предались новым властям, но чего вымолили обновленцы у власти? Пожалуй, что и ничего, кроме нового разорения. Сотни пудов серебра выплавлено из иконных окладов под видом помощи голодающим. Ободрали с икон и драгоценные камни, священные сосуды из алтарей выкрали. Над мощами Сергия Радонежского надругались, как надругались над соловецкими угодниками. Осквернены могилы, разрушены алтари. Теперь вот колокола скидывают. В Вологде запрещен колокольный звон. Говорят, что медь нужна на подшипники тракторам. Господи, какие подшипники? Металл звенящий славил Русь православную, врагов окольных далече гнал и отпугивал. Ныне плавят его на копыя вражды. Но таким ли копыем прободено тело

Спасителя? И отцу Николаю стало невтерпех от стыда за свое прошлое.

...Ограда Духова монастыря была не высока, но упориста, ворота скованы прочные, стены собора и монашеских келий непробиваемы. Отца Николая полдня держали взаперти, так как Ерохин был занят. Жизнь отца Николая висела на волоске, и он знал об этом, но жизнь Ерохина тоже была под угрозой, и Ерохин не знал об этом.

И знать не хотел.

Восторг, испытанный им под Шенкурском, не выветрился никакими сквозняками в политике. Никакие несправедливости и ложные обвинения в правизне не остудили его горячую голову. Мало ли что бывает? Губком разогнан, губерния поделена на округа. Однако ж он, Ерохин, не был забыт, его взяли работать в ОГПУ. Пригодилось старое знакомство с Семеном Райбергом, который рекомендовал Ерохина Касперту и Прокофьеву. Теперь Ерохин вновь на переднем крае, ему поручено дело борьбы с поповской контрреволюцией...

У него было снова оружие и отдельный стол в общей комнате, но Касперт уже сулил кабинет, дело совсем за не многим. Хозяйственники подыскивали Ерохину подходящую «келью».

— Нил Афанасьевич! — доложил молодой румяный гепоушник. — Попа в Прилуках выявил и арестовал. Куда с ним?

— Сактировать, — спокойно сказал Ерохин. — Ликвидацию не затягивать.

В это время в комнату сперва заглянул, после зашел оживленный с мороза Райберг. Поздоровался, погрел руки о железную столбняку. Его белые бурки стучали по полу словно копыта, пока не оттаяли.

— Кого это ты решил ликвидировать, Нил Афанасьевич? — спросил Райберг.

— Религиозный подпольщик. Выявлен в Прилуках, Семен Руфимович.

— Так, так. — Райберг опять погрелся о печку. — Через сорок минут у меня бюро окружкома. Может, успеем? Я бы хотел взглянуть на этого миссионера.

Ерохин крикнул.

— Я его еще не допрашивал, Семен Руфимович, но... пожалуйста. Он тут. Приведите попа!

...Отец Николай еле пролез между дверной створкой и косяком. Заполнив собою значительное пространство комнаты, он как бы с удивлением, сверху вниз, оглядел чекистов. Райберг в свою очередь с любопытством уставился на арестованного. Ерохин же, увидев совсем не того, кого следовало, был удивлен, но сделал вид, что так все и должно быть.

— «Блажен муж...» — улыбался Райберг. — Как там дальше у вас?

— «...Иже не иде на совет нечестивых!» — добавил Николай Иванович.

— Значит, мы — это совет нечестивых?

— Истинно так! — громогласно произнес отец Николай. — Дожили...

— Как ваше имя? — Райберг сел на место Ерохина,

забарабанил по столу сухими пальцами. — Вы что, действительно верите в Бога?

— Не верил, когда служил! Ныне властью духовной не облечен, но верую. За грехи и великое бесчестье Земли готов пострадать. Ибо есть Бог милующий, но Он же и наказующий!

Райберг встал и сначала слева, потом справа оглядел Николая Ивановича. Недоумение в голосе Райберга не только не исчезало, оно нарастало:

— Милующий и наказующий... Но чем вы докажете недоказуемое? Я утверждаю, что нет никакого Бога!

— Зачем же тогда вы боретесь с тем, кого нет? Сие утверждение лишено смысла.

— Мы боремся против невежества и мракобесия.

— Нет, это Христос восстал против невежества и мракобесия. Вы же восстали против Христа. И потому вы антихрист.

— Но есть право и лево. Вы считаете себя правым, но и я тоже считаю себя правым. Кто же из нас действительно прав?

— Ступайте сюда... — гудел бас Николая Ивановича. — Где ваша правая рука? Эта? Вы не станете утверждать, что она левая?

— Нет, не стану, — с легкой усмешкой произнес Райберг.

— Теперь взгляните на свой образ, там, за стеклом...

Большое зеркало, реквизированное в дворянском особняке, стояло в углу комнаты. Отец Николай, глядя на Райберга сверху вниз, продолжал:

— Покажите мне правую вашу руку в зеркале! Видите? Там ваша правая стала левой! Вот в чем разница! — Голос Перовского гудел, набирался силы, в дверь заглядывали. — Вы антихристы, перевертыши! Вы обратное отражение живых и верующих! Потому вы и мертвы пребудете из века в век, что...

— Однако ж мне пора, — перебил Райберг. — Мы еще продолжим наш диспут.

— Нет, не продолжим! — рявкнул отец Николай, схватил Райберга за левый рукав и вновь потащил к зеркалу. — За что вы так ненавидите христианство?

Райберг поспешно вырвался, ничего не сказал и скрылся за дверью.

— Ты, Перовский, нахал! — очнулся Ерохин. — Мы обкорнаем тебе бороду! Хотя бы в противопожарном отношении, но все равно обкорнаем!

Ерохин был доволен своим остроумием. Борода отца Николая действительно горела ружим широким пламенем. Только с висков и около больших ушей она была подернута серым пеплом изрядно появившейся за последние месяцы седины.

— Садись и пиши! — Ерохин встал со стула. — Все пиши! Что видел, где был, с кем говорил, что делал.

— За старое, за новое и за три года вперед! — усмехнулся отец Николай. — Нет уж, избавьте, Нил Афанасьевич! Писаря из меня не получится... Это вы на все руки мастак, писать, стрелять, налог выскребать. Да что говорить, и скоморошить умеешь! Вон как в Ольхо-

вице выплясывал. Скреби, скреби! Кошка скребет на свой хребет.

— Молчать!..— Приглушенный ерохинский мат оборвал отца Николая.— Я тебе покажу, где раки зимуют!

— А у рака с какого конца страка? — дразнил судьбу арестованный, чем окончательно вывел из себя начальника, который выхватил браунинг.

Когда Николая Ивановича увели, Ерохин с победившим от гнева носом заталкивал оружие в непослушную кобуру.

— Черт... Рыжий гад...— рычал он вполголоса и скрипел зубами.— Ну, дай срок! Я тебя, гада, отправлю на тот свет. Недолго тебе осталось, дай срок...

Но все сроки были в иных руках, отнюдь не ерохинских.

В тот же день, вернее в ночь, Ерохину пришлось спешно выехать в командировку. На станциях и разъездах, на дальних лесоучастках не хватало оперативников для приема раскулаченных. Эшелоны все прибывали с юга.

VI

Зима в тот год стояла необычайно мягкая, почти без лютых морозных окриков. Спокойно слетела она на землю, словно последняя посильная милость судьбы, потраченная временем из небесных, казалось, неиссякаемых источников справедливости и добра. Отголоском давно отзвучавшего всесветного звездного хора звенели короткие нехолодные дни. Но вот однажды, в середине Рождественского поста, этот ясный, легкий, северный звон начал стихать, истончился и вовсе сошел на нет. Воздух замер. И все звуки в мире исчезли. В лесных краях, остуженные снежным холстом поля, зимующие холмы и распадки, осененные гривами сосняков, все эти тысячелетние глухие урочища, и мхи, и болота прислушались к дальнему печально-щемящему звуку, рождённому неизвестно кем и где.

И та печаль приближалась и нарастала, вскармливая сама себя.

Снежины косо полетели с небес. Широкие, плоские, вроде бы совсем не холодные, они падали так неторопливо и так густо, что живым существам на земле нечем стало дышать. Движения стали тяжелыми, будто в воде. Потом закружились, заматались по миру оскорбленные чем-то и как бы голодные ветры. Смешались снега, падающие сверху и поднятые с земли, закружились в тесноте и во тьме.

Два дня и три ночи бесилась погода, на третий день улеглась. Ветер стих. Враз уступил он всю северо-западную московскую и новгородскую Русь тишине и морозу. Малиновый солнечный шар коснулся снизу сквозной юго-восточной лазури. Он всплывал из-за леса, уменьшаясь и плавясь в золото. Этот слепящий золотой сгусток быстро отделился от горизонта. Вся лесная стихия приняла невиданно сказочный образ. Безбрежная, непорочно чистая голубая лазурь была тем гуще, чем дальше от солнца. На другом небесном краю еще умирал палевый сумрак ночи. Месяц, ясно и четко оттеняемый этим светлым сумраком, бледнел

над лесами, когда снега заискрились окрест. Ели, отягощенные белыми снежными клубами, изменили свои очертания, но безмолвствовали. Кроны старых сосен гордо остались сами собою, лишь молодую сосновую поросль вынудил снежный гнет: нежная, не окрепшая плоть там и тут напряглась в основаниях мутовок.

Белизна заставляла ещё яростней зеленеть сосновые лапы. Пар непростывших влажных низин поднялся на уровень древесных вершин и замерз, и рассыпался на свободных от снега березовых ветках. Несчетные россыпи мельчайших бисеринок засверкали на солнце. С последним колыханием исчезающего осеннего тепла все замерло. Мороз начал неспешно гранить, ковать, серебрить, лудить все, что имело хоть самую малую долю влаги.

Лесная речка, еще вчера бежавшая навстречу метели, начала сдавливаться серебряными зубцами. Прозрачный лед уверенно напознал на середину струи, сужая водяной ток несокрушимым ребристым панцирем.

И все вокруг бесшумно сияло, сверкало, искрилось от морозного света. Но, едва поднявшись над лесом, едва успев разгореться, расплавиться слепящим своим золотом, великое ваше светило начало краснеть и падать на дальние лесные верха. Розовое холодное половецкое затопило четвертую часть горизонта. Лиловые зоревые крылья, переходящие в зеленоватую глубь темнеющего морозного простора, спускались все ниже. Правее, в созвездии Близицево, блеснул своим красноватым глазом пробудившийся Марс — бог римских язычников, покровитель войн и пожарищ. Но этот блеск тотчас исчез, затерянный в мерцании бесчисленных звезд. И вот уже повисли над миром близкие и дальние звездные гроздья. Они словно бы раздвигались и в глубинах темного неба вскрывали новые объемные гроздья. За ними роились другие такие же, роились и раздвигались... Только месяц, горящий ярким желтым, но все же нездешним светом, казался совсем близким морозной лесной земле.

Царство безмолвного знобящего холода раздвигалось подобно звездам, захватывало глубины небес и земного пространства. Но откуда же мимолетно и тихо пахло вдруг березовым, неунывающе бессонным дымком?

Урочище называлось Сухая курья.

Сосновая грива, понемногу переходящая в густой болотистый ельник, дремала под звездами на невысоких горюшках. А на склоне, около родника, была срублена большая приземистая изба. Крытая берестой, прижатой тесаным желобом, она сгрудила на себя срубленные вокруг дерева, оказавшись на середине необширной поляны. Из деревянной трубы высоко в морозное небо отвесным столбом струился дым. Желтели запушенные инеем небольшие окошки. Невдалеке чернело конское стойбище: расколотые пополам сосновые бревна, стоящие чуть наклонно и плотно прилаженные друг к другу, были зарыты концами в землю и составляли три стены. Сверху на еловых жердях была накинута хвоя. Внутри этой недоступной ветру времянки стояла сплошной и ровный, словно бы дождь, шум от хрупающих сено лошади-

ных зубов. Слышалось звучное и долгое конское фыркание, короткое всхрапывание либо глухие удары о землю кованых копыт. Дровни с подсанками стояли тут и там. Повсюду вокруг избы и конюшни были навалены кучи сена. Груда коротких грубо и крупно наколотых дров громоздилась у самых дверей. Эти скрипучие двери то и дело открывались прямо на белый свет, и вместе с теплым паром, а может, и с дымом вылетали на мороз всплески мужского хохота. Человек, в накинутой на плечи шубе, на скорую руку хватал охапку сена и тащил своей лошади, роняя с плеч шубу и крякая. Затем проворно нырял опять в избяное тепло.

Коней в конюшне стояло десятка два, в избе скопилось столько же мужиков. Стены обширной этой хоромины были увешаны просыхающими хомутами, седелками, вожжами и рукавицами. (В бревна нетесаных стен было вделано множество березовых штырей, называемых деревянным гвоздем.) По двум сторонам сколочены сплошные нары, устланные сеном. Кое-где в изголовьях имелись холщовые, набитые мякиной подушки. Мешки, корзины и гнутые фанерные чемоданы с провизией заполнили место под нарами, а на самой середине избы, словно горн в кузнице, возвышался сложенный из больших валунов круглый очаг. Над очагом висел широкий, сделанный из кровельного железа капюшон, суженный кверху и переходящий в деревянную трубу с деревянной же поперечной задвижкой.

Березовый бездымный и жаркий огонь давно вскипятил воду в чугунном котле, вычерпанном и сдвинутом теперь в сторону от огня. Шибановские, ольховские и прочие лесорубы сидели кто как вокруг тагана, вернее вокруг лысого усташенского старика бухтинщика Ивана Апалоновича Тяпина, обладавшего непечатным прозвищем. Усташенские, жившие на восьмой версте в такой же избе, привезли его на один вечер в обмен на Киндю Судейкина. Старик без усталости плел бывальщины и бухтины:

— А вот когда я помоложе-то был, меня весь женский пол очень уважал. Бывало, идешь куда либо конному, из всех окошек девки и бабы меня уже стеклят, в рамы стучают: «Апалонич, далеко ли? Приворачивай чай пить». Я, конечно, не каждой и откликаюсь, с разбором. У одного окошка по лошаде хлесть — и дальше, у другава приостановишься. Это пока жонки не было. Ну а ковды подженился, тут уж дело иное...

— Да какое иное-то? — не утерпел шибановский Жучок, но на него тут же зашикали.

— Афришка Дрынов не даст соврать, он свидетель! — продолжал рассказчик. — Поехал я раз на мельницу, на рендовую-то... Было два мешка молоть да три толочи. Жонка наказывает: мели да толки при себе, домой впусе не уезжай. Чтобы муку-то у тебя не ополовинили. Мельник Жильцов ковал жернова, мне навстречу выхрамывает: «Воды нет, колеса сухие». Оставляя, говорит, дня через три смелю. Я ему поперек: жонка велела молоть при себе, впусе не уезжать. Жильцов говорит: «Ну, Апалонич, она тебя омманывает». Это почему? А потому, что она тебя нарочно из дома посла-

ла. Я, grit, и об заклад готов. Вон, ежели не так, — вся рендовая твоя! Ладно. Запирай, говорю, мешки, поехали на проверку. Дело ночное, позднее. Приехали мы в нашу деревню, глядим — и правда в окне огошек. В моем дому хахаль в гостях. За самоваром сидят, любезничают. Вижу, она огонь в лампе увернула. Горело, горело да и погасло. Ворота изнутри заложены. Жильцов говорит: «Знаешь какой-нито лаз, чтобы в дом без стуку забраться?» — «Знаю, как не знать». — «Заскакивай в избу и кричи: «Жена, дуй огонь». А я, grit, двери припру с улицы, чтобы полюбовника в плен захватить». Так и сделали. Я в избу вскочил и кричу: «Жона, дуй огонь!» — «Да ты что, — она говорит, — с ума-то содишь? Ложись да спи, карасину и так в обрез». — «Сказано — дуй!» Она лампу зажгла и говорит: «Ну вот, будет у нас теперь неладно. Сказывай, какой ты есть начальник?» Я говорю: «Я в начальниках не бывал и не буду, и в роду никого начальников не было». Она к Жильцову, к мельнику: «Ну, а какой ты начальник?» — «Никакой я не начальник, и в роду не было». Жонка товды к полюбовнику: «Сказывай, какой ты начальник?» Тот в ответ: «Не бывал и не буду. И в роду никого не было». Жонка тут голос повысила: «А у меня в роду бывал волостой староста! Я и буду вас всех троих судить-рядить». Взяла огонь, вышла в сенник, надела там крытую шубу. Села за стол и начала нас допрашивать. Меня первого. «Ты с каким прощением?» Я говорю: «Жил с женой дружно, никаких промеж нас кляуз. Поехал молоть, а воды мало, а мешки оставлять не велено. Вот и сбился с мельником об заклад. Ежели жена курва, отдаю ему две телеги с хлебом. Ежели нет, так он мне всю рендовую». Жонка одну пуговицу на шубе расстегнула: «Как ты смел, негодяй, в залог удариться? Кабы жена у тебя была изменница, пропали бы два воза с хлебом. Оставил бы ты ее без хлеба, насиделись бы голодом. Дать ему за то двадцать горячих!» Потом к мельнику: «А твои какие претензии?» — «А я, мельник grit, ковал жернова. Воды мало. Апалонич приехал молоть, я сбился с ним на всю рендовую мельницу на два постава». Она говорит: «Ах ты подлец такой! Ведь ежели бы у его жена оказалась такая, ты бы пробил не свою мельницу. Какое право имел? Дать ему пятьдесят горячих!» После этого вопрос к полюбовнику: «А у тебя, гнилые портки, какая к судье тяжба?» Он говорит: «Пришел я на огошек к мужней жене, потому как муж Апалонич был на мельнице...» Судья как гаркнет: «Ты почему, сукин сын, на такой грех осмелился? А ежели бы на тот час да муж приехал! Ведь он бы тебя убил. Долго ли до уголовного дела? Даю тебе семьдесят пять горячих, чтобы вперед неповадно! Суд окончен, обжалованью не подлежит». Жонка двери в избе настежь и всех нас выставила.

Слушатели завершили рассказ таким шумом, что спящие перестали храпеть и перевернулись с боку на бок.

— Вот до чего востра!

— Ну, Апалонич, — прокашлялся Жучок, — глико какого суда сподобился.

— Ну, а чего Совочик-то? И ночевать не пустили? — спросил Ванюха Нечаев про мельника, когда компания начала затихать. Но Апалонич не слушал вопросов.

Довольный собой, он, ничуть не мешкая, на ходу подбирался к новой бухтинке:

— А то на днях пошла за водой на колодец да суседку на тропке и встретила. Суседка с полными ведрами, моя с пустыми. И до чего оне досудачили, что у обеих снег под ногами до самой земли протаял! За это времё у моей-то вёдра дочерна оборжавели. У той вода до капельки высохла, а до самых главных вопросов еще и не добрались, судят пока предварительно...

Павел Рогов слышал сквозь сон добродушную речь Апалонныча, лежа под теплым тулупом между Ванюхой Нечаевым и Володею Зыриным. Зырин давно спал, а любопытный Нечаев не сомкнул глаз, все сидел и слушал усташенского бухтинщика. Павел работал в лесу на пару с Нечаевым на его, нечаевской, лошади. С утра валили хлысты, обрубали сучья, затем накатывали, и, пока один отвозил дерево к реке и сдавал десятнику, другой успевал обкорнать хлысты и подготовиться к новой езде. Но кобыла была жерёбая, возили по одному дереву. Ванюха долго раскачивался, зато, когда входил в раж, его надо было останавливать, забывал в работе про все, в том числе про себя и кобылу. Вот и он повалился на нарах, усталость взяла свое. А голосок Апалонныча все журчит да журчит, будто вешний ручей. Уже совсем немного осталось бодрых слушателей, уже и в таганок никто не подкидывает. Угли краснеют, покрываются белой пепельной бахромой. Треснул мороз. Кто-то долгой клюкой задвинул под потолком трубу. Легкие судороги пробежали по рукам и ногам. Отдых, отрадный и сладкий, охватывал Павла, дрема ласковой занавеской отделила от него и эти красные угли, и обвешанную хомутами стену. Голос рассказчика звучал где-то далеко-далеко, будто Апалонныча отодвинуло за тридесять земель...

Но рассказчик обязан был говорить, пока не спал хотя бы один лесоруб. Шибановский Жучок, укладываясь, вроде бы дал старику передышку: «Оне, бабы-те, у тебя хоть на улице. А вон у нас Игнаха Сопронов загонит народ в помещенье — и двери на крюк. Говорит по целому дню, на волю не выпустит. Сидишь, бывало, сидишь, да чево-нибудь и приснишься».

Последние слушатели улеглись, и только тогда Апалонныч тоже начал устраиваться. Но и лежа еще долго продолжал говорить. Павлу хотелось расхохотаться во сне. Жена Апалонныча в судейской шубе ухватом выставляла из печи посуду. Сквозь сон все журчал голосок Апалонныча, она же выставляла посуду, но вместо нее оказалась жена Вера, тоже в шубе с борами. Сердце Павла Рогова сладко заныло. Жена будто бы вышла из кути, а он, Павел, спал в нижней дедковой избе. Вера пришла к нему за перегородку и будит, расталкивает его, смеется, а у самой брюхо не вмещается в дубленую шубу с борами. «Паша, да проснись, — шептала она, — пробудись ради Христа, ведь это я...» Он очнулся:

— А? Што?

Вера стояла с горящей лучиной и трясла его за ногу. Он вскочил босиком на земляной пол и обнял ее.

— Откуда взялась-то?

— Ой, унеси водяной! Завертка лопнула, еле доехала... Сена вот привезла. Тятя свернулся, поезжай да и только. У мужиков, говорит, сено кончилось и самим, наверно, жевать нечего... Ивана Нечаева тятя велит отпустить.

От нее пахло морозом и сеном. Павел еще раз прижался к ней, ощутил округлость ее живота. Встрепнулся, нашел валенки:

— Да как? С заверткой-то?

— Выпрягла да. От вожжины конец отрубил. Кое-как оглоблю припутала.

— Пойду погляжу... А ты вались на мое место и спи.

— Да я уже выпрягла Карька-то,— шептала она в темноте.— На-ко корзину-то...

Павел под нары задвинул корзину-пирожницу, накинул на плечи шубу, вышел на холод.

Небо, фиолетовое до черноты, опрокинулось над избой своей безбрежно звездной чашей. По звездам время шло часам к трем. Карько, распряженный, но в хомуте, стоял у сенного воза белый от инея. Конь всхрапнул, узнавая хозяина. Павел отвязал его, обер санным жгутом и провел в конюшню. Поставил к нечаевской кобыле и принес большую охапку сена. Звезды роились. В лесу несильно треснул мороз. Дверь избы опять заскрипела. Жучок в одних портках, в валенках на босу ногу, но в шапке и в балахоне выскочил на мороз. Он торопливо помочился, оглянулся и вдруг подскочил к сенной куче Акиндина Судейкина. Нагнулся, взял большое береме сена и, так же торопясь, понес своей лошади. Павел громко откашлялся. Жучок вместе с ним подбежал к дверям избы:

— Пашка, это... Не говори никому! Ради Христа...

— Не христарадничал бы, Северьян Кузьмич.

Жучок схватил за руку:

— Ради Христа не сказывай!

Павел выдернул руку, с усмешкой хмыкнул:

— Ты бы хоть по очереди да через ночь... А то берешь у одного Кинди Судейкина...

Оба враз запрыгнули в избыное тепло. Жучка как бы и не было, он исчез. Павел в темноте пробрался к своему месту, забрался к жене под тулуп. Вера не спала, начала шепотом говорить о шибановских новостях.

Самая главная новость: старик Носопырь опять всерьез посватался к Тане, да бесполезно, ушла по миру. Еще собирали сход, чтобы сбросить с церкви колокол, но старики отстояли, а в Ольховице уже и балки на колокольне подпилены. Павел боялся спросить про мельницу.

— Дедко-то...— ворковала Вера с беззаботной доверчивостью.— Толчи толчёт, а молот без тебя боится. Птицу деревянную сделал, чтобы ветер показывала... Ванюшка по утрам глядеть бегаёт, куда хвостом повернулась...

Он спрашивал ее о чем-нибудь, а сам и не ждал ответов, она говорила сама, сама знала, что ему интересней всего. На сгибе руки он держал ее голову с большой коковой родимых, пахнувших баней волос. Стены теплой избы трещали от наружного холода. Лесорубы

храпели в темноте, сопели, ворочались перед утром. Апалонич даже во сне бормотал что-то своей ровной скороговоркой.

Павел не мог больше уснуть. Он дождался, когда Вера начала спокойно и глубоко дышать, потихоньку высвободил руку и выбрался из-под тулупа. Открыл задвижку, подул на угли и растопил огонь. Он оделся по-настоящему, подпоясался ремнем, взял ведра, сходил на родник, подладил на тагане огонь и вылил воду в котел. Пора было уже и поить лошадей, но вся изба спала, наслушавшись вчерашних бухтин. Он вновь пошел к роднику, обрубил ледяные наросты с длинных деревянных колод, из которых пили лошади. Снял с колодезного обруба хвою, положенную для тепла, и начерпал воды в колоду. Мороз тонким ледяным панцирем тотчас схватывал воду. Кто-то из мужиков, громко понукая, уже выпускал из конюшни первую лошадь. Потом двери избы заскрипели чаще, звезды на небе начали тускнеть и гаснуть...

В избе просыпались то в одном углу, то в другом. Огонь в очаге, освещая сонные лица, горел в полную силу.

— Робята,— послышался чей-то хриплый от сна голос.— Человек-то с вечера был Пашка, а утром Верка. Вот чуда-то! За одну ночь из мужика получилась баба.

— И правда! Нет, ты погляди! Ивановна, ты ли это? — Нечаев не верил глазам.— А я думаю, Пашка под боком-то. Вот до чего долесничил.

Смущенная Вера достала из привезенной корзины рукотерник:

— Иди-ко лучше водицы полей!

Нечаев ковшиком у двери полил ей на руки, она умылась наскоро.

— Ишь! — восхищался Нечаев.— Мы тут как медвиди, редко и моемся. Уж три нидили дома-то не был, в баню охота! Ты мою жонку не видала ли?

— Видала, видала! Вон поклон от ее привезла! — Вера подала Нечаеву пироги, завязанные в холщовую скатерть.— А на возу молоко мороженое.

Кто варил пшениную кашу, кто картошку. Чугунки облепили таган. Двери поминутно скрипели. На улице заржал напоенный Ундер, порученный Киндей Володе Зырину, пока хозяин коня веселил усташенских лесорубов. Мужики уважительно, по очереди спрашивали Веру о своих, выпытывали, варят ли старики пиво на Николу, какова дорога, вывезено ли сено с дальних полянок.

— Апалонич, а ты чего спрятался? — сказал повеселевший Володя Зырин.— Давай хоть ко мне причаливай. Только у меня кроме толокна один сущик.

— А и ладно, сиючас пост,— проговорил Апалонич.— Я сушику-то давно не хлебывал.

— Мужики, дайте ложку взаймы Апалоничу.

— А вот загадку отганет, так дам,— сказал Новожилов.— Скажи, Апалонич, ворона два года прожила, чево будет?

— Будет ей третий годик,— сказал Апалонич.

Мужики одобрительно крикнули, начали хвалить старика. Завтракали, пили простой кипяток, мочили сухарики. Обжигаясь, дули в кружки.

Павел кувырнул сено с дровней, поставил их набок и разрубил замерзшую веревочную заветку. В избе, на штыре, имелись у него настоящие запасные. Он сходил, взял березовое кольцо, распустил его в длинную витую вицу и сплел его снова, но уже на копыле дровней. Затем вставил в него конец оглобли и туго, со скрипом завернул на три четверти оборота. Оглобля как тут и была.

Светало. Вера, едва попив кипятку, начала собираться в обратный путь. Надо было сменить нечаевскую кобылу, а Карька оставить. Пусть Нечаев как хочет, а он, Павел, решил не ехать домой даже и на Никольской неделе... Нечаев собирался ехать, оттого и смущался:

— Это... В баню схожу и приеду.

— Давай-давай! — успокоил его Павел.— Съезди, а после я. Авось не арестует Сопронов-то. Скажи там отцу да дедку, что дело идет... Кубометров вывезли больше сотни. Ежели Карько не подведет, выведу до Крещенья и еще столько... А там уже немного и останется. Поезжай...

Нечаев привязывал к дровням свой гнутый из фанеры чемодан.

На людях долго прощаться было стыдно. Вера уселась поудобней, спиной к Нечаеву, он разобрал вожжи. Через минуту они были далеко от избы. «Как привиделась,— подумалось Павлу.— Ну да пусть... К вечеру дома будут».

Мужики запрягали коней, совали за кушаки топоры, распутывали веревки подсанков, клали на дровни колодки и пилы. Полозья неистово и надсадно скрипели от холода. Перед тем как разъехаться по делянкам, спохватились:

— Стой, робятушки, а куда Апалонича-то?

— Пускай заместо дневального! — сказал Африкан Дрынов, мужик из чужой волости.

— Нет, не дело, чево ему одному?

— И Киндю Судейкина обратно надо бы привезти. Обменять, как уговаривались.

— Давай жеребей, кому ехать,— предложил Зырин. Апалонич сидел в избе с виноватым видом, приговаривал:

— Да ведь я что... Я уж, ежели, и сам добежу.

— Сиди! Добежу,— сказал Зырин.— Тут верст шесть с гаком.

— Как привезли, так и свезем.

— Сколько нас? Давай спички, отсчитывай...

Зырин отсчитал спички, отвернулся, зажал между большим и указательным пальцами:

— Вот! Горелая везет!

Шибановцы начали тянуть жребий, четвертым или пятым по счету подошел усташенский мужик в ватных штанах, Кошкин. Он-то и вытянул из зыринского кулака горелую спичку.

— Ну, братцы, опять мне! — искренно огорчился Кошкин.

— Да пошто опять? В тот раз, когда за махоркой ездили, я вытащил. А начальника вон Колюха возил.

Но Кошкину почему-то казалось, что не повезло опять ему:

— Такая уж у меня планида. Да я свезу, мне не-

долго. Кабы мерин-то у меня пошел. У меня мерин Гриня...

Апалонича с почетом посадили на дровни Кошкина. Сам Кошкин подстелил на колодку сенца и расправил вожжи. Его не больно откормленный вислозадый мерин прижимал то одно ухо, то другое. Володя Зырин хлопнул рукавицей по крестцу:

— Пошел!

Но мерин никуда не пошел. Он вдруг расставил задние ноги и выгнул спину. Из-под его заиндевелого брюха зашумела оранжевая струя, выбившая в снегу большую пенистую воронку.

— Вишь, когда ему приспичило,— сказал Володя.— Замерозишь у нас Апалонича-то. Пошел!

Мерин справил свои дела, но с места не сдвинулся. Напрасно взывал и шевелил вожжами встревоженный Кошкин.

— Он чево, с норовом у тебя? — подскочил Зырин.

— Ох, лучше не говори! У цыгана купил на свою шею. Гриня? Ты што? На восьмую версту не хошь?

Кошкин слез с дровней, погладил мерина, потрепал за гриву. Опять сел на дровни и присвистнул. Мерин, однако ж, не слушал хозяина. Мужики окружили подводу.

— Чево-то ему не хватает. Стоит.

— Ему дрына хорошего не хватает, вот и стоит,— сказал Жучок.

— Бывало ли раньше-то?

— Бывало, как не бывало! — в сердцах отозвался Кошкин.— Опозорил, подлец, опять опозорил мою голову...

Кошкин раскрутил вожжи и сильно огрел мерина. В ответ мерин лишь отмахнулся хвостом. Апалонич слез с дровней.

— Кошкин, ну-к, дай мне вожжи-то,— попросил Зырин.— Точь-в-точь, как саватеевская кобыла.

И тут все сразу вспомнили норовистую кобылу Саввы Климова, которую пришлось променять цыганам. Дело случилось, как рассказывали, еще до столыпинских отрубов. Савва поехал однажды за сеном, навил большой воз, а кобыла при выезде на большую дорогу заупрямилась. Савва бил ее, понукал, уговаривал, но лошадь оказалась упрямей его. Мимо будто бы ехал торговец дегтем и скипидаром. Он-то и выручил Климова. Кобыле под хвостом мазнули скипидарной мазилкой, кобыла дернула и понеслась с тяжеленным возом. Савватей видит, что воза ему не догнать, говорит торговцу: «Помажь-ко и мне!» Помазали. Савватей подскочил и бежать. Савва с возом он будто бы догнал, но пробежал мимо, и шпарит дальше, в деревню. Дома стучит в окошко: «Матка, матка, лошадь с сеном прибежит, дак ты выпряги, а я еще маленько побегаю». И побежал Савватей Климов дальше, в деревню Залесную...

Пока вспоминали случай с кобылой Саввы Климова, мерин тоже отдыхал и, вероятно, копил упрямство: при очередном хлестком ударе по тощей его лядвее он только слегка покосился на лесорубов.

— Вишь ведь бес! Что делает,— сказал Жучок сиротским своим голосом.— Ну точь-в-точь как ты, Новожилов. Такой же упорный, ей-богу.

— Это когда я был такой упорный? — окрылся Новожилов.

— А когда в колхоз-то тебя ташшыли. Помнишь? Ташшыли, ташшыли, так и отступились...

Павел Рогов и Зырин взяли по толстой вице и встали по бокам упрямого мерина:

— Садись, Кошкин! Держи вожжи-то...

Они начали хлестать мерина по заднице, но Гриня только вздрагивал, да храпел, да вскидывал голову. Он пробовал даже пятиться...

— И чего ты такого дурака сеном кормишь! Давно бы надо на живодерню!

— А по псе и поминки бы все! — согласился Кошкин.

— Робя! — крикнул Зырин.— А давай его на буксир. Выводи Ундера, Судейкин не рассердится. За ним же и ехать...

— А что? Можно. Кошкин, ты сам-то чего думаешь?

Расстроенный Кошкин только плюнул:

— Что ты? Пустое дело, и паровозу не утащить, не то что Ундеру...

Гриню манили сеном, соленой горбушкой, ничего не помогало. Толкали сзади, он шеперил передние ноги, становился в упор. Время шло. Уже совсем рассвело. Тут Апалонич шепнул вдруг что-то на ухо Кошкину. Тот хмыкнул, поперетапывался и побежал в избу, вытащил из-под нар свою пустую плетеную из лозы корзину, где хранил сухари. Нарочно долго прилаживал ее к дровням... Разнузданный мерин косил назад беспокойным, но цепким глазом.

— Ну, с Богом! Домой, Гринька, домой! — сказал Кошкин и чуть-чуть шевельнул вожжами.

Апалонич еле успел упасть на дровни...

Многие лесорубы стояли разинув рты, все забыли про своих лошадей. Кошкина с Апалоничем как будто и не было.

— Вот ведь... — пришел в себя Новожилов.— Животина, можно сказать, бессловесная тварь. И та знает про дом. А я что? Хуже мерина? В баню хочу!

И Новожилов хлопнул оземь своей собачьей шапкой.

— Пускай бы Сопронов сам сперва уши коптил!

— Все, братчики! И я поехал домой! — заявил Жучок.

— Видали мы эту Сухую курью! — ругнулся Зырин.

...Лесная изба за какие-то полчаса затихла, выстудилась и опустела.

В конюшне Ундер тоскливо переступал с ноги на ногу, вострил большие как рукавицы уши.

Павел Рогов, не зная, что делать, гладил длинную морду Карька. Прислушался. Крики лесорубов и скрип полозьев еще доносились из леса. Кто-то шпарил на морозе частушки:

Сталин Трочкуму сказал:
Пойдем-ко, милой, на базар,
Купим лошадь карюю,
Накормим пролютарию...

Вторая частушка прозвучала неразборчиво.

Павел задумчиво покачал головой, распряг Карька, поставил его поближе к Ундеру. Кинул обоим самому лучшего, с клевером и мышьяком, сенца.

Ехать в делянку показалось совсем не к месту... Он вошел в избу, подкинул дров на очаг и стал ждать Кошкина, который посулил привезти Киндю Судейкина.

Как будто Судейкин-то знал, как дальше жить и что затевать!

VII

Кошкин привез-таки Судейкина, но работать опять не пришлось, назавтра Сухую курью приказали очистить для украинских выселенцев, коих ждали с часу на час. Лесорубы Ольховской волости переехали на восьмую версту. Их поселили в одном бараке с усташенцами. Ездить в делянку стало намного дальше, но что было делать? Пришлось привыкать и к шумной усташенской молодяжке, которая приехала на участок со своей гармоньей. В бараке что ни день — дым коромыслом. Плясали, а то до полночи играли в карты. Павел Рогов не высыпался все эти дни. Из шибановских лесорубов работали в лесу только он с Киндей Судейкиным да Жучок, приехавший позже. Володя Зырин с Ванюхой Нечаевым как уехали, так больше и не показывались. Еда опять была на исходе. Правда, на восьмой версте вместе с двумя бараками имелись еще пилоставка, баня и ларек, торговавший соленой треской и кое-какими сладостями. Но вся беда — денег не выдавали, а не выдавали потому, что сбежал десятник. Нового не прислали, и за десятника был теперь сам Лузин, начальник лесоучастка. Он и хлысты клеймил, и кубы высчитывал, и в приказах он расписывался, но денег не выдавал. Может, их просто у него не было. Правда, в ларьке отпускали в долг, под запись, но Павел не хотел быть должником. Да и треска давно уж поднадоела. Это еще полбеда, беда целая в том, что сена осталось всего на неделю.

Однажды, в честь воскресенья, работу закончили раньше. Пошли давать лошадям, и Акиндин Судейкин доверительно взял Жучка за локоть:

— Давай уж, Северьян Кузьмич, по очереди: ты у меня по ночам таскаешь, а я у тебя буду днем. А иначе мне своего Ундера не прокормить, он вон как жорет.

Судейкин сгреб порядочное беремья Жучкова сена и поволок Ундеру. За ним, нога в ногу, ступал Жучок, беспокойно покашливал:

— Ты, Акиндин, это... не сказывай людям-то.

— Да люди, что люди? — не возражал Судейкин. — Им не надо и сказывать, оне все видят...

Павел слышал этот разговор и еле не фыркнул, удержал в себе готовый вырваться смех. Завернул подалее за угол барака, чтобы не смущать Жучка.

В бараке тоже творилось непонятно что. Усташенские лесорубы устроили выходной или забастовку, а может, то и другое вместе. В одном углу играли в очко, у дверей плясали под гармонь. Пока шибановцы обедали и пили кипяток с ландринном, стало ясно, к чему идет дело. Парни выворачивали полушубок, еще двое размалевывали углем берестяную личину.

— Тронулись, — удивлялся Жучок, — ведь святки давно прошли.

— Усташенцы, что с их возьмешь? — сказал Судейкин, переобуваясь. — Им что пост, что масленица.

Павла тоже так и подмывало что-нибудь сделать, сплясать либо там еще что-нибудь, вплоть до святочной рожни. Пока все вертелось вокруг Апалоньча, который с переездом на восьмую версту шибановского Судейкина совсем завял. Не каждый хотел слушать его длинные сказки, зато стихи и частушки Кинди Судейкина покорили усташенцев. Да упрям был и сам Апалоньч, ни за что не хотел признать своего поражения! Вот опять он торопится, торопится рассказать:

— Учуж я, что за морем мухи дороги, коровы дешёвы. Наимал мух два мешка, поехал за море. Мух продал, накупил коров. Гоню их домой, а море не застыло. Как делу быть? Вплавь пустить — коровы потонут. Я взял мутовку, сунул корове в ж... Накручу на мутовку сала, кину в море. Накидал много, от сала море застыло. Коров перегнал по морю, остался один бык. Тут витер подул, морё тронулось. Как делу быть? Быка на той стороне оставить не дело. Я схватил быка за фост, не за рога, раскрутил вокруг себя и фурунул на ту сторону. Бык через море перелетел и я за им. (Я от хвоста-то не отпустился.) Дома чем коров кормить? Я овса насыяв, каши овсяной наварил, размазал ее на поже. Налетела всякая птича и давай кашу клевать, а в котях у птич трава, наносили мне сена много зородов...

Апалоньча мало кто слушал, всего человек пять. Но старик упрямо держал свою марку:

— Повез я сено да в ляге завяз. Хлестнул по лошаде, лошадь сдохла. Я ее оснимал, из кожи вырезал ремень. Один конеч к возу, другой притащил к гумну, за угол привязая. Я овин зажег, ремень от жары скручивает, телегу к гумну ташыт. Потом чую: на небе — у всех богов нет сапогов, нарубил я дров, зарезал коров, съел яишницу, сделал на небо лисницу. Прорубил дыру тож, натащил наверх коровьих кож, большим богам сшил по сапогам, маленьким божкам сшил по сапожкам... Полез обратно, глянул, а внизу нету и дна, лисница обрана...

О том, как Апалоньч вил мякинную вервь и слезал с неба, никто не слушал, все сгрудились вокруг ряженных. Толстый, маленький ростом усташенец нарядился чертом, а длинный парень ведьмой. Цветастое лоскутное одеяло было превращено в юбку, на голове по-старушечьи завязали платок. Ведьма сильно нарумянилась давленной клюквой. Черт тащил ее по бараку и сватал за лесорубов: «Она у меня цесная девушка!» «Девушка» смущенно поживалась и отворачивалась, изображая стыдливость. Когда она задирала подол своей юбки, обнажались ноги в подштанниках, и женихи один за другим отказывались, пока черт не посватал ее Апалоньчу.

— Возьму, — сказал старичок уважительно. — Ежели в голове умеет искать.

Невеста начала искать у Апалоньча в голове, потюкала по его лысине и басом сказала: «Ницего нет». Сунула промеж ног березовую метлу и поскакала с криком:

— Не хоцю старика, хоцю нацяльнiка! Не хоцю старика, хоцю нацяльнiка!

Павел видел, как в общей кутерьме, в криках и хохоте черт начал стегать «невесту» широким красноармейским ремнем. Она взвизгивала и подскакивала, а он стегал да приговаривал:

— Ох, не бывать тебе замуж, дура ты лешева!

— А пошто не бывать? — включился в игру Судейкин. — Девка хорошая.

— Она, вишь, больно разборчивая, — по-сиротски сказал Жучок. — А начальников ноне мало, на каждую-то не напасешься.

— Да, может, за Степана Ивановича пойдет? За нашего-то?

— Нет, не пондравится ей и Степан Иванович. Больно скуп.

— А что, надо попробовать... — сказал «черт», и тут «ведьма» запричитала, чуя конец своего девчества.

Взыграла гармонь. Ватага усташенцев выпросталась на мороз. Пошли «сватать» начальника лесоучастка Лузина...

Степан Иванович Лузин жил в соседнем бараке холостяком, семья оставлена в Вологде. К бараку была прирублена с одной стороны контора, с другой через холодный коридор — ларек. Небольшая комната-боковушка с двумя окнами и отдельной печкой отгорожена досками. Она примыкала к сушилке, где денно и ночью прели, сохли рукавицы, шубы, хомуты, вожжи, портянки, ватные брюки и всевозможные валенки. Лузин вначале особенно страдал от этого прелого запаха, но постепенно привык. После разгрома Вологодского губкома он едва-едва удержался в партии. Его дважды публично обозвали стойким последовательным бухаринцем, но разворачивающиеся лесные дела сперва заслонили троцкистскую травлю, потом захлестнули новое руководство. Лузин, сам не зная как, уцелел и очутился начальником лесоучастка.

Пока ряженные шли до большого барака, их горячность остудило морозом, пыл у «черта» ослаб. Он первый вывернул шубу, а личину бросил в печной огонь. «Ведьма» сволокла с головы бабий платок. Парень вернулся в барак, скинул лоскутное, подпоясанное веревкой одеяло, быстро надел штаны и побежал догонять остальных.

Павел с Киндей Судейкиным почувствовали, что на этом дело не кончится. Они оделись и тоже прошли в соседний барак. Усташенцы приглушили гармонь, когда Степан Иванович вышел из боковушки.

— Здравствуйте, товарищи! — Он вынул из кармана блокнот. — В чем дело? Почему рано шабашите?

— Поплясать прибажилось, товарищ начальник, — сказал бывший «черт». — Денег нету ни гроша, да зато поет душа.

— Да, денег пока нет, берите что надо в долг.

— Да там одна треска.

— Табаку и того нету, — добавил кто-то.

Лузин сквозь толпу, скопившуюся у дверей и в проходе между нарами, пробирался к центру, вернее к передней стене, на которой между окнами висела большая,

покрашенная черным, фанера. Она была разделена графами поперек, на шесть частей. Перед каждой графой, слева, красовалась наклеенная картина. Первым стоял самолет, ниже его поезд, в третьей графе бегущий северный олень, ниже оленя пешеход, еще ниже змея, а под ней в самом низу значилась большая крашенная улитка.

На восьмой версте работали люди из шести деревень. Через каждые пять дней вписывались мелом названия всех деревень. Ах, знал-таки Степан Иванович, чем разбередить русскую душу! Каждую пятидневку десятник вставал с мелом к «доске». На весь барак он громко выкрикивал название деревни: «Усташиха!» И весь барак затихал, пока Лузин искал в своем блокноте цифры о вывезенных к сплавной реке кубометрах. «Самолет!» — объявлял он, и весь усташенский угол начинал торжественно и одобрительно крякать. Если же усташенцы попадали к «улите», то они виновато, как провинившиеся школяры, молчали и уходили подальше с глаз.

Ольховицу и Шибаниху проставляли на доске весь зимний сезон, проставляли Залесную и остальные деревни. Особенно сильно ревновали друг дружку Усташиха с Ольховицей. Они всю зиму и ехали то в «самолете», то в «поезде», сегодня же вдруг Усташиха сравнялась с «улиткой», а на самом верху, где летел «самолет», Лузин вписал Шибаниху.

У Павла даже дух захватило. Он и не знал, что так приятно быть впереди всех.

Лесорубы шумно обсуждали это событие.

— Ты гляди, шибановцы!

— Шибанули всех выше.

— А Усташиха-то что?

— Курят с утра до паужны!

— Палить оне мастера.

— Наврано! Я вчера десять хлыстов вывез.

— Как не стало десятника, так начали путать.

Лузин весело отбивался от обиженных усташенских лесорубов, пробирался к выходу. Только ему было ясно, что вчерашние кубометры, не записанные усташенцам в пятидневку, все равно не спрячешь, их придется записать в следующую пятидневку, и тогда усташенцы снова окажутся впереди всех...

Павел знал, что свою норму он давно выполнил, что вывез свое и Ванюха Нечаев, работавший в паре. Можно было ехать домой, но ехать один без Жучка и Судейкина он стеснялся. Сегодня же, после усташенских святок, ему нестерпимо захотелось запретить Карька и свистнув, уехать с восьмой версты, туда, домой, к жене и сыну, к своей бане, к мельнице... Шутка ли — всю осень в бараках? Да и тревога сочилась откуда-то из нутра: как там отец и тесть, что с колхозом. Говорят, Куземкина уже сняли, а кто поставлен взамен? Ежели переписали у всех семена, фураж и остальное зерно, то чем кормятся? У кого ключи от амбаров? Брат Васька домой в отпуск сулился. Может, уже приехал...

Павел Рогов решительно двинулся в конторку. Начальник лесоучастка Степан Иванович отбояривался от наседавших усташенцев:

— Да что вы, ребята, как маленькие? Ну, вчерашнее

не попало в сегодняшнее, попадет в завтрашнее! Не все ли равно?

— Не все!

— Поезд! Это вам что, худо, что ли? А на самолете я и сам еще ни разу не летывал.

— Перепиши, Степан Иванович!

— Нет, не перепису! Когда обгонишь шибановцев, тогда и перепису. Вот он, спросите, как хлыст обкарнировать.

И Степан Иванович указал на вошедшего Павла.

Не желая учиться обкарнивать, усташенцы вышли из конторы. Лузинские глаза смеялись.

— Ну, что, Павел Данилович, я уж вижу, зачем пожаловал. Что ж... Ты свое дело сделал, поезжай. Поезжай, скажешь от меня поклон Даниле Семеновичу... Расчет с тобой произведут в сельисполкоме. Такое есть указание...

У Павла екнуло сердце, но сгоряча он не захотел спрашивать, что это за указание. Домой! В ночь и выехать. Он уже схватился за железную скобу. Лузин окликнул:

— Павел Данилович! Одну минуту... Есть вопрос...

Павел остановился. Лузин подал ему карандаш и попросил расписаться. Павел недоуменно поставил подпись на старой газете.

— Сколько у тебя классов? — спросил Лузин. — Ты служил в Красной Армии?

— Три класса. На действительной еще не был, на приписке был.

Степан Иванович задумчиво разглядывал морозный узор на внутренней раме.

— У меня нет десятника. Пиши заявление и оставайся.

— Маловато моей грамотенки, Степан Иванович. Нет...

— Подумай. А насчет грамотенки... выучим! Таблицу умножения знаешь? Ну, а ежели таблицу знаешь, узнаешь и все остальное.

— Без таблицы я проживу, а без жены? Нет, Степан Иванович, поеду домой.

— Ну, как знаешь. Поезжай. Надумаешь, сообщи. Через Никулина либо письмом.

Начальник лесоучастка попрощался за руку. Павел, как в детстве, по-ребячьи выскочил из дверей. Через коридор сбежал на снег, двумя прыжками перемахнул крыльцо своего барака.

— Ты чего? — удивился Жучок. — Выпил с кем?

— Домой!

— А мы? — подскочил Акиндин Судейкин, но тут же сник: вспомнил, что норма не выполнена. — Свези хоть рыбы моим девкам...

Павел Рогов запрягал Карьку, когда на восьмую версту въехал возок в сопровождении двух конных милиционеров. Пока милиционеры слезали с седел, высокая фигура Ерохина успела исчезнуть в конторке у Лузина. Павел, не обращая внимания, собрал что надо, стремглав привязал корзину к среднему вязу дровней, положил сена.

— Ну, Киндя! Все! И ты, Северьян Кузьмич, говори, чего дома сказать.

Мужики так были расстроены, что ничего не могли

придумать. Павел шевельнул вожжиной. Карько не стал ждать второго разрешения, фыркнул и рысью, а потом вскачь пронес дровни мимо возка новоприезжих, мимо двух барakov и пилоставки.

Вскоре восьмая верста осталась далеко позади. Лесная тишина успокоила мерина. Дорога шла вековыми ельниками. Далеко справа остались порубочные делянки. Павел остановил мерина, перевел дыхание. Тишина показалась ему такой глубокой, такой нездешней, что он кашлянул. Не сон ли? Нет, все настоящее, даже Карько прядет ушами, ждет позволения бежать домой. Деревья стояли недвижимые, морозец бодрил дыханье.

— И-и-э-эх! — Лиюющий крик полетел в пустоту морозного леса. Павел упал на дровни. Карько понес без понукания и подхлестывания. Подсанки на веревках сзади дровней мотало из стороны в сторону. На повороте они стукнулись о сосну. Слетела навалочная колодка, но ездки не остановился. Шут с ней, с колодкой, вырубим новую!

Восторг передавался от ездки к лошади и от лошади к ездоку — через вожжи, что ли? — и тот и другой переживали одно и то же, словно на масленице.

Павел приосадил мерина, перевел на неторопливую рысь. Не удержался, спел коротушку:

Люблю Карюшку за гривушку,
Дугу за высоту.
Эх, люблю девушку молоденьку
За ум, за красоту.

Он пел еще и еще, а когда кончились коротушки, запел долгую — про московский пожар, которую любил на праздниках больше, чем иную другую.

Что было тогда и что за Москва была, когда шумел этот московский пожар? Павел не знал по-настоящему ни того, ни другого. Но почему-то он пел, сочувствуя и даже представляя, как «на стенах вдали кремлевских стоял он в сером сюртуке». Карько тоже знал что-то про Наполеона, иначе зачем бы ему то и дело поворачивать назад свое левое ухо? Мерин перешел на ровный шаг, рассчитанный на долгую дорогу.

К сумеркам проехали большое болото. Небо быстро чернело, спускалась ночь, но тут пошли веселые горушки и сосняки, а за горушками уже начинались усташенские лесные покосы. Павел вспомнил, как в долгие барачные вечера он разговаривал с одним мужиком о здешних ветряных и водяных мельницах. Мужик называл деревню, в которой вырубали из камня мельничные жернова. Павел тогда не осмелился даже думать о том, чтобы заехать в эту деревню. Сейчас мелькнула вдруг неожиданная мысль: «Не заехать ли? Хотя бы поглядеть... А может, и купить бы, ежели подходящий жернов. Денег нет, но ведь можно договориться и в долг».

Чем ближе была отворотка к Усташенской волости, тем больше попадалось стогов и зародов. Выехал поздно, все равно ночевать, так не заехать ли к жерновам? Да там и заночевать. Вот! И думать тут нечего...

Павел Рогов не любил долго прикидывать. Он направил мерина на Усташиху. Под самое горло подкатила новая коротушка. Павел проглотил слова и напев: перед

глазами махала крылом его новая мельница. Она будто крестила его! Он слышал сквозь скрип морозных дровней и сквозь надрывное пенье полозьев ласковый шорох верхнего жернова, ощущал в ладони теплоту ржаной пересыпающейся муки. Домой! Завтра Вера пораньше затопит баню, а сейчас он заедет пока в Усташиху.

Мерин сам, без ведома хозяина, остановился посредине деревни! Да уж не знак ли это самой судьбы?

Павел Рогов спрыгнул с дровней. Деревня дымила трубами, ночь была тихая, только где-то в конце взыграла вдруг бологовка. У мелких девчонок, пробегавших домой, он спросил, в котором доме куют жернова. Девчонки залились хохотом: «Да этот и есть!»

Побежали, оглядываясь.

Дом обшит и с хорошим въездом. Рябины в инее. Шесть окон по переду да с боков по два, в одном боковом краснеет ламповый отблеск. Значит, еще не спят. Павел, не привязывая Карька, постучал в ворота.

— Кто стучает? — послышался из дворного нутра голос.

— Проезжий...

— Так заходи, ворота не заперты.

Мужик с фонарем поздоровался с Павлом, провел вверх по лестнице, открыл двери в избу. Пахло теплом, запах свежих черемуховых вязов мешался в избе с запахом пареной брюквы. Павел поздоровался во второй раз, спросил, тут ли живет Иван Александрович.

— Тута,— сказал кривой старик, вязавший вершу.— Минька, дай человеку стуг.

«Минька» — бородатый, сильно похожий на отца — погасил фонарь, повесил на жердку:

— Раздевайтесь!

— Откуда будем? — спросил старик. Его бельмо мелькнуло в ламповом свете, когда Павел сказал про себя и назвал Шибаниху.

— Бывал, бывал. Да и про тебя слыхивал.

Из-за печки выглянули две детские бессонные головенки. Старуха, выйдя из кути, поздоровалась с Павлом. Дородная молодуха, то ли дочь, то ли старикова невестка, пришла с прялицей с бабьей беседы. Поставили самовар...

Карько был не привязан. Минька хотел сам сходить привязать лошадь к рябине и бросить сена, но Карька надо было поить, и Павел вышел на волю. Как быть? Ночевать не хотелось.

Он напоил мерина из колодца двумя ведрами, одним, чистым, доставал, другим, скотинным, потчевал. Карько выпил больше ведра.

Павел вернулся в избу. На столе уже стоял самовар и были нарезаны пироги. Кривой старик щипцами колол сахар. Павел откашлялся:

— Я к тебе, Иван Александрович, насчет нового жернова.

— Да я уж чую, что это,— сказал мельник.— Да тебе пошто новоё? Бери староё. Отдам за так... Вон у хлева оба лежат, и новоё, и староё...

Павел спросил, какая у них мельница.

— Водяная двухпоставная. Была, да сплыла,— невесело засмеялся Минька.— Гарнец наложен двести

пудов... Тягька вон окривел из-за нее, а мне оторвут и всю голову.

— Да, да, Павло Данилович.— Старик отодвинул чашку.— Не во времё ты мельницу выстроил! Отымут... Дак нашто тебе и новые жернова?

— Руки-то не отымут...— смутился Павел.— И мука любой власти нужна.

— Оно верно. Да мне не жерново жаль, а тебя жаль. Вези! Ядрены ли дровни-ти? Как бы на раскате не обдавело копылья.

— Да я рассчитаюсь! Привезу кожу опойковую либо овечьей шерсти... А то и деньгами!

Старик своим синим единственным глазом удивленно глядел на Павла. Из-под стального зубила пулей летит осколок гранита, никого не должно быть около, когда куешь жернова. Уметь надо и зубило дёржать... Сколько же видел он на своем веку своим единственным глазом, сколько перемолол зерна? И вот потух у него и второй глаз, слезится, не зажигает души собеседника. Что потушило? Неужто и ты вот так же когда-нибудь...

Павел тряхнул головой, подал руку.

— Литки, Иван Александрович!

— Не надобно, парень, литки... Минька, поди укажи место! Да ты бы, Павло Данилович, ночевал. В утре уехал бы.

Павел не захотел ночевать. Выпил чаю две чашки, попробовал пирога — и во двор. Вдвоем с Минькой просунули в дыру еловый кол, откатали от стены тяжелый жернов. (Как раз о таком и думалось по ночам!) Осторожно, на вагах, задвинули камень на дровни и привязали веревкой.

Павел заскочил в дом, попрощался с семейством и, не стыдясь радости, выехал из деревни. Лесной Усташенский волок не пугал ни темнотою, ни холодом...

Теплая хмарь, сулившая потепление, рассеялась в небе. Крупные звезды вызрели над пустынной лесной дорогой. Карько споро тянул воз, но, чтобы не надсадить мерина, Павел спрыгивал на дорогу, когда дровни шли на подъем. Вершины елок и сосен, раздвигаясь перед дугой влево и вправо, уплывали и уплывали назад. Смыкали за спиной лесные темные дебри. Волок тянулся часа два, Павел шел за возом, не чувствуя холода. Вдруг впереди он скорее почуял, чем увидел идущего по дороге. Чтобы не ударить пешехода запрягом, он приструнил мерина. Встречный или попутчик? Встречный...

Павел остановил Карька. Перед самым рылом мерина стояла женщина с закутанным наглухо ребенком. Она пыталась встать в глубоком снегу, чтобы пропустить подводу. Платок, перевязанный через плечо, поддерживал тяжелую ношу. Сзади, на спине, висела еще и котомка. На ногах была не понятная Павлу, никогда не виданная стеганая обутка. Зато рукавички на руках, даже при свете звезд, оказались такими праздничными, что Павел развеселился и крикнул:

— Доброго здоровьца!

Она ничего не ответила. Зимние дороги узки, она все пыталась зайти в снег, чтобы пропустить подводу. Павел стоял у дровней. Он не поймал ее взгляда, лицо было наполовину закутано. Но, кроме праздничных рукавиц, он успел разглядеть новый добротный, правда, совсем

летний казакин с борами, а из-под него виднелась темно-синяя длинная юбка домашней пряжи.

— Куда правишься-то? — спросил Павел.

Женщина поправила ношу и, ничего не сказав, начала краешком дороги обходить упряжку.

— Да ты погоди... — Павел только сейчас начал понимать, кто они. — Ты не в Сухую курью?

— Туды... В Сухую.

Она наконец подала голос, и Павел заговорил смело:

— А кого тебе там? К выселенцам, видать...

— К своим. Чоловик тамо, и деверь Грицько тамо...

Он хотел сказать, что никого там нет, барак в Сухой курье пуст. Хотел сказать, что нет там ни чоловика, ни деверя, но сказал ей совсем другое:

— Далеко. Не дойти на ночь-то глядя.

Она упрямо обходила упряжку:

— Ни. Пийду до Сухой курьи...

— Ты что, с ума сошла? — всерьез рассердился Павел. — Пропадешь в лесу вместе с дитем! Холод, снег...

— Пийду...

— Да нет там никакого Грицька! Чуешь? Нету...

— Нема наших? — Она остановилась.

— Нема! — кричал Павел. — Пустой барак, никого нету! А ну, садись на дровни, поедем в деревню. Заночуешь, потом видно будет.

Она все еще не хотела отступить назад.

— И дите ведь застудишь. Садись на сено! Тут рядом деревня. Замерзли ноги-то?

Он усадил ее на жернов, спиной к себе:

— Дёржитесь? Поехали...

Он хотел сказать ей, что нечего торопиться в Сухую курью, что искать надо в другом месте, на станциях, может, в Вожеге, может, в Семигородней, что с ребенком лучше бы совсем не соваться в такие места, но она молчала.

— У тебя кто, девка аль парень? — опять не утерпел Павел, когда кончился наконец волок и обозначилось поле. — Как звать-то?

— Хведя...

Он через свой полушубок, через ее казакин и через котомку почувствовал, как затряслась она в страшных рыданиях, как сдерживала свой животный нутряной крик, не вмещаемый ею. Она сдержала в себе, задушила тот страшный и безутешный крик, распивший ее, и этот крик начал медленно сдавливать, он сгущался вокруг ее сердца и твердел, твердел, пока не затвердел и не сдавил ее сердце в железный комок. Только в эту минуту Павел Рогов понял, почему так долго не сказывался ребенок. Понял, и сердце его тоже сжалось, сдавилось холодом и железом.

В первой же после волока деревне Павел остановился у дома, в котором еще горел свет. Ворота оказались незапертыми. Павел забежал в избу, договорился насчет ночлега, чуть не силой втолкнул женщину в сени, затем в избу.

— Со Христом, — сказала бабушка, колыхавшая зыбку на березовом оцепе. — Места хватит. Проходи, матушка, проходи.

Люди впустили Параску в избяное тепло.

Только веселому Феде, ее сынку, ее кровинке, пришлось остаться в сенях на трескучем крещенском морозе...

Павел в отчаянии выбежал на улицу, хлестнул вожжиной ни в чем не виноватого Карька. Почудилось вдруг, что это не она, не украинская выселенка, а жена Вера брела по морозу под хмурыми елками. Куда несла она свою мертвую ношу? Он бросился к дровням, снова ударил вожжиной по мерину.

Карько истратил последние сегодняшние силы и в га-лоп вынес Павла в почное чистое поле. В небе сквозь бесконечную морозную даль светились, мерцали, роились крупные и мелкие звезды. На пожнях завыл волк, собаки трусливо взлаяли по задворкам. И Павел тоже зарычал, как пес, утробно, не разжимая зубов...

Не вернуться ли на восьмую версту? В десятники ставят не каждый день. Бросить бы все, да и к Лузину под крыло. Этот не даст в обиду. Потом бы съездил, забрал из деревни Веру с Ванюшкой. По всему видно: лесное дело не на год, не на два, пойдет оно шири и вглубь. Либо на службу уйти, как брат Василий?.. «Карько, ты-то куда хошь? Согласен ли в лесу век свой вековать? Конюшня у тебя будет — одно небо вверху. Со звездами. Вода зимой — ледешки брякают. Сено чужое — жди, когда привезут. И куды ни глянешь, везде один лес, ни гумна, ни часовенки. Надолго ли хватит там и тебя, и меня? Эх, нет, Степан да Иванович! Ищи себе иного десятника...»

Павел закрыл глаза. Сквозь невеселые думы все мерещились веселые украинские рукавички. Он так и не успел разглядеть закутанное до глаз лицо выселенки, и какая-то посторонняя сила все подставляла на место этого лица образ жены Веры Ивановны. Страшась этого наваждения, Павел заставлял себя думать о новом жернове, о том, как заменит он старый, совсем легкий и маленький. Потянет ли мельница два постава с новым таким тяжелым камнем?

Карько отфыркнулся, будто вместо хозяина избавился от сомнения. Рассвет одну за другой стремительно гасил звезды. Заря растекалась широкой и красной небесной лужей. Мороз утром взъярился, как акиндиновский Ундер в свою лучшую еще доколхозную пору. Павел едва не ознобил нос и щеки, пришлось распустить шапку и обвязаться шарфом. Лошадь парила и покрывалась инеем, полозя тянули свою бесконечную скрипучую песню.

Ну вот и ольховские пустоши! Через час открылась вся розовая Ольховская волость. Павел не стал заезжать к отцу, решил ехать прямо в Шибаниху. Он срезал большой угол, для чего пришлось ехать через реку. Дорога была и тут хорошо наезжена. На берегу Карько слегка подзамялся. Ободренный хозяйским свистом, мерин ступил на запорошенный лед. Дорога по льду, обозначенная замерзшей наслудой, незаметно пропала, и Карько опять замялся. Павел искал глазами выезд, поехал вдоль берега. Выезд оказался совсем рядом, но мерин поторопился к нему, свернул на сажень раньше и ступил на травяное, худо простывшее место... Лед под передними ногами коня обрушился. Павел ничего не успел сделать, задние ноги лошади тоже оказались

в воде. К счастью, было не очень глубоко. «Стой! Стой, Карюшко!» — тихо уговаривал Павел, но замерзающий Карюшко дернул, и тяжелые дровни тоже обрушились. В ледяной обжигающей воде Павел долго не мог нащупать и вытащить из вяза топор. Надо было как можно скорее освободить бьющегося в воде мерина. Наконец Павлу удалось достать топор и ткнуть по одному гужу. Хомут раздвинулся, дуга упала. Павел перерубил и чересседельник, тогда конь, несмотря на топкое прибрежное место, выскочил на берег.

Из реки торчал один передок дровней. Павел решил оставить дровни и подсанки в воде, но жернов вздумал выволочь на берег на вожжах. Он тюкал под водой куда попало, чтобы разрубить веревки. Освободил камень от дровней, обрубил замерзшие вожжи. Под водой он просунул один конец вожжины в жабку жернова. Продернул ее, привязал к уцелевшему гужу хомута и, помогая мерину, начал вытаскивать жернов на берег:

— Карюшко! Скорей... Дергай... Ну? Скорей, милой, скорей...

Оба дернули, напряглись и выволокли жернов из воды. Ледяной панцирь быстро сковал одежду. Ноги и руки совсем зашлись от холода, теряли чувствительность. Лошадь дрожала, горбатилась, поджимала задние ноги. Павел обрубил вожжи, бросил на берегу топор, котомку, дровни и этот проклятый жернов. Уже невозможно было двигаться. Штаны и шуба стояли колом, но каким-то чудом с дровней, поперек, завалился он на конский хребет. «Выручай, Карюшко, вывози...» Куда вывозить? Было утро, вдали топились ольховские печи. Пока доберешься до отцовского дома, заоченеешь совсем. До Шибанихи еще дальше... Самое ближнее жилье — избушка на водяной рендовой, куда ездил молотить старик Апалонич... Ближе ничего нет... Карюшко и сам чувал, что ближе нет ни тепла, ни жилья. Пока добрались до мельницы, ноги совсем перестали слушаться. Павел чувствовал, слышал, что мельница не безлюдна, только не узнал даже, кто открыл ему скрипучую, как у Кеши Фогиева, дверь в теллушку. Кто-то помог забраться на нары и освободиться от мерзлой одежды. Павла, голого как младенца, завернули в сухой и теплый тулуп...

Несчастья не ходят поодиночке. Карюшко, обтертый жгутом соломы, устоял, а обмороженный и насквозь простуженный хозяин его захворал. Жара в избушке и чай-зверобой не помогли, и лихорадка трясла Павла Рогова как былинку...

VIII

— «Останемся здесь, говорил Роберт жене своей; зачем вверять нам опять коварному морю жизнь свою! Пусть она протечет в этом земном раю, вдали от людей, посреди природы и ея чистых, простых удовольствий.— Но эта прелестная мечта не рассеяла в Анне Дорзе мрачных предчувствий, тяготивших ее с некоторого времени, уныло слушала она фантазии своего мужа».

Как раз на этом месте кривой Носопырь громко

всхрипнул, девки рассмеялись и разбудили его. В большой Самоварихиной избе вместо девичьей беседы шло занятие по ликбезу. Марья Александровна Вознесенская, поповна и учительница Шибановской школы первой ступени, строго оглядела беседу, подождала, когда все затихнет, и снова взялась за книгу:

— «Действительно, только три дня продолжалось их счастье. На следующую ночь поднялась буря, и корабль их, долго носимый без мачт и парусов по безднам океана, был выброшен на берега варваров, осудивших небольшой экипаж его на рабство. Нещастные любовники...»

Ученицы — шибановские неграмотные девки — старались не шуметь ради наставницы. Собирались дружно, сидели, терпели, но у Марьи Александровны получалось худо. У нее не было практики, как у старшей сестры Ольги Александровны. Ах, не зря ли она согласилась учить неграмотных? Обширная изба Самоварихи совсем не похожа на школу, девичьи не имели ни книг, ни тетрадей, они пришли на учебу с прялками. На всех две-три тетрадки да столько же химических карандашей.

Вздохнула Марья Александровна и решила не останавливать урок чтения. Далее сочинение Александра Волкова продолжалось уже в стихах:

— Перед побегом своим из родительского дома,— повысила она голос, и девки снова затихли.— Письмо первое.

Все кончено, иду! Ах, Дженни, как
ужасно!
Как сердце бедное волнуется,
кипит!
Рассудок, совесть, честь — все, все,
увы! Напрасно!
Их нет, когда нам страсть о милых
говорит...
Ты знаешь, я к нему, несчастная,
пылаю...

— Девки, моряк! — Тонька-пигалица кинулась к боковому окошку, чуть-чуть не вышибла стекло головой. За ней бросились к окнам все остальные. Носопырь сочувственно поглядел на учительницу. Та и сама сделала как все, тоже глядела в окошко. Девки отпихивали друг дружку от подоконников:

— Дай мне-то, мне-то бы поглядеть.
— Гли-ко, гли-ко, штаны-ти! Широкие-то.
— Ой, дурочки, ведь к нам!
— Нет, к Мироновым правится.
— Это чей есть-то?

— Да ольховской, Василей Пачин! Давно уж сулился. Знамо он, — тараторила Тонька.— Вишь, прямо к Палашке, двоюродной-то. Потом к брату к Павлу пойдет, к Роговым. Агнейка, ну-ко ставь самовар!

Кое-кто фыркнул, но хозяйка ничего не заметила.

— Дайте мне-то хоть, мне-то, лешие! — совалась Самовариха то к одному окну, то к другому.— Вишь, и миня не пускают. Уставились.

— Тонька, беги да кричи его, загаркивай, — обернулась Агнейка Брускова.— Пусть приворачивает.

— Да на беседу-то вечером, однако, придет.

— Ой, а у меня и нос в черниле...

Агнейку отпихнули от зеркального обломка, приделанного к Самоварихиному простенку, но прохожий уже

свернул к дому Роговых и скрылся в проулке. Наставница — тоже дева — застыдилась своего поведения. Подражая своей старшей сестре, застучала она карандашом о Самоварихин стол, вокруг которого только что сидели ее полногрудые ученицы:

- А теперь повторим задание по чтению и письму!
- Ой, Марья да Олександровна, надо домой!
- Вечер вот-вот, а мы и чаю не пили.

Вознесенская пробовала остаться настойчивой. (Отец Александр предшествовал в Шибанихе отцу Николаю, попу-прогрессисту. Все Вознесенские-женщины, несколько поколений, были наставницами.)

— Читает Брускова Агней!

Агнейка взяла листок, засунутый было в прятку, за куделю. Расправила на столе. На ее востроносом, как у Жучка, лице явился страх и детская растерянность.

— Начали! — скомандовала наставница.

Девка поставила палец под первой буквой, шевельнула губами:

— М-м-м...

— Ой ты! — присела на скамью Самовариха. — Да ведь я да и то поняла.

— Сиди! — огрызнулась Агнейка и замычала вдургорядь: — М-м-м... мы.

— Так, правильно, — подбодрила учительница.

— Мы-я...

— Не мы, Агнечка, а мя, — поправила Тонька.

— Дальше.

— Мы-я-сы-о, — прочитала наконец девка. Агнейка даже растрепалась и покраснела от напряжения.

— Правильно! — поддержала учительница. — А что получилось?

— Говедина! — выпалила восторженная от счастья Агнейка.

После общего хохоту девки опять заговорили про Ваську Пачина, исчезнувшего в заулке Мироновых. Вознесенская закрыла урок ликбеза.

— Собираемся через два дня, в среду, в конторе, — объявила она, уходя. — Не опаздывать!

Двери за учительницей прокрипели и хлопнули.

— Ой, Марья Олександровна! Какие тут буквы, в среду мой черед коров колхозных доить.

— А я лошадей обряжаю!

— Я так, девушки, наплюю и на скотину, буду за моряком ухаживать. — Тонька-пигалица вышла среди избы, звонко пропела частушку:

Пятилетка, пятилетка,
Пятилетка, девушки.
Из-за этой пятилетки
Не видать беседашки.

Девки всем гуртом начали просить Самовариху, чтобы пустила беседу на вечер.

— Я што, я пожалуста, — хмыкала своим широким носом Самовариха. — Карасину ищите в лампу да и пляшите. Хоть до утра.

— Да ведь пост, девушки, плясать-то нельзя.

— Ну, эко место, что пост, — обнадежила Самовариха. Девки похватали прятки, одна за одной, а то и сразу

по две выпростались в сени и дальше на улицу. Все разговоры у них опять же крутились около ольховского Василия Пачина. И впрямь, настоящий моряк да еще зимой для Шибанихи был не малым событием...

Уже четыре дня, если не больше, ярим огнем горела морская душа! Что было делать Ваське Пачину, старшему брату Павла Рогова, ежели грудь его не вмещала восторга? После успешных курсов его перевели с Черного моря на Балтику, дали коротенький отпуск. Всего десять дней, не считая дорог. Слово в похмельной дреме ехал Василий из Севастополя, вспоминая трудные курсы. Особенно досталось ему от электричества. На всю жизнь запомнятся эти плюсы и минусы... Ведь в школу ходил всего по три зимы. Одно дело драить палубу на крейсере «Червонная Украина», другое дело корпеть над законом Ома. Все постигал от самого малого. Спасибо дружкам: помогали ему тайком после отбоя изучать электричество. А как только понял электричество — дело-то само и покатилося, вроде бы как по маслу, и уже не было ни единой заминки. Теперь начинается сверхсрочная служба. Есть что рассказать отцу и братанам, ольховским одногодкам-дружкам и красным девкам. Хотя бы про то, как приезжал на крейсер товарищ Сталин, как шел он вдоль выстроившейся команды в своем белом кителе. На что похожа матросская жизнь? Да ни на что, применительно к деревенской. Все, все до капли иное, и вот уже на станции он чуть не расхохотался у всех на виду, когда услышал вологодскую речь: «Пока цыя пила, котомицю на возу собацьки уцюели. Гляжу, ведь поволокли!» Потом едва не заплакал при виде скрипучих дровней, а от запаха зимнего суходольного сена совсем уже в горле сдавило. Пробежал стационным поселком из конца в конец, заглянул на базу потребкооперации. Из Ольховицы ни одной подводы. Ночевать не остался: в ночь по морозу, в ботинках, не размышляя, чуть не бегом ударился к дому. Хорошо, что чемодан не больно тяжел! Нес его через плечо на ремне. На середине пути вместе с усташенскими обозниками попил чаю в одной деревне, поспал часика три и опять в путь. Почти перед самой Ольховицей догнали Василья две шибановские подводы. Матрос остановился, чтобы пропустить лошадей.

— Это кто в ботинках-то по снегу бежит? — остановил Киндя Судейкин Жучкову лошадь.

— Летит! — сказал Жучок. — И ногами до земли не касается.

— Наверно, Пашкин братан Васька, — сказал Судейкин. — Сулился на Рожество. В матросах служит.

— В матросах это хорошо, — по-сиротски пропел Жучок. — Матрос да весь иньем оброс. Тпру, мать перемать! Эй, замерзли ноги-то? Садись, ежели...

Жучок остановился.

— Да тут рядом! Добегу.

— Садись, садись.

Матрос Василий Пачин пристроился на дровнях.

— Ждут, поди-ко, отец-то с маткой? — заговорил Киндя. — И брат Пашка ждет! Он раньше нашего домой уехал.

Судейкин до самой Ольховицы рассказывал матросу про Сухую курью...

Матрос Василий Пачин слушал Судейкина, потом слушал материнские причитания и жалобы, вечером слушал шипение банных камней и отцовы рассказы, слушал о новой колхозной жизни. Слушал и младшего брата Алешку, который громко на всю избу разучивал стихотворение:

Мы с тобой родные братья,
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие объятия
Смерть и гибель для владык.

Едва матрос переночевал под родимой матицей, только успел рассказать отцу-матери про свою черноморскую службу, про голубые и сивые морские валы да про зеленый город Севастополь, как защемило, заныло сердце: вспомнил про девок... Неужто напрасно наказывал им поклоны в своих письмах? На второй же день ринулся на ольховскую беседу, на третий день ударился матрос Пачин в деревню Шибаниху. Хотелось поскорей повидаться с родным братом Павлом, с двоюродной сестрой Палашкой Мироновой и заодно погулять, на шибановскую беседу. Забыл враз материнские слезы. Черт с ней, с этой зингеровской машиной, с новым костюмом, описанным за недоимки! Отобрана и выделанная кожа-коровина, да неужто без нее отцу не прожить? Проживем! Лишь бы больше не трогали...

Когда шел ольховской улицей, сердце поминутно всплескивалось от волнения и радости. Погода была не очень морозной, бушлат расстегнут. Эх, жаль, нет бескозырки, матросская шапка в отпуске совсем не то... А в Шибанихе что? К брату сперва? Или к дяде Евграфу? К нему, к божату, чтобы договориться с Палашкой насчет вечера.

Гуляет волостями черноморский матрос Васька Пачин, гуляет и думает... эх, да ничего он не думает! Одна у него сейчас мечта: поиграть у столбушки толстой девичьей косой, услышать запах земляничного мыла, посидеть на коленях у шибановских девок, потом проводить какую-нибудь по снежной тропке да сказать что-то такое, чтобы запомнила на вечные веки...

А что? Так и будет? И не когда-нибудь, а сегодня вечером. Перед службой не много удалось погулять: у горюна бывал всего два-три раза, да и то с ольховскими девками-перестарками. Учили целоваться, да так и не доучили. Так вот, пусть ныне молодые доучивают, и не ольховские, а шибановские! А что тут и учить, не электричество... Широко видно матросу, думается того шире. В ольховских белых полях дороги проложены туда и сюда, и при колхозе возят назем. Также крутятся и отцовская толчая, днем и ночью толкет овес. Поглядим теперь, что творится в Шибанихе.

Ветер-свежак полощет полотнища широких матросских брюк, румянит щеки, раздувает золотой огонек душистой дукатовской папироски. Семь километров как не бывало. Где же братова мельница? Вот она! Стоит на угоре, но стоит без движения.

Будет вам и движение! Брат Павел, наверно, не ждет, сват Иван Никитич дома ли? Тетка с божатом Евграфом дома, ворота открыты. Двоюродная Палашка кинется сейчас к шестку самовар ставить...

Так и было.

Горела душа, особенно после мироновского самовара, ходил матрос по деревне к знакомым ребятам и уже видел кое-кого из девок. И близился вечер. Уже знал, в каком доме соберется беседа. Сердце то и дело всплескивалось обжигающей радостью, и матрос Васька Пачин забыл рассказы про все недоимки и про то, как прятали добро по гумнам и погребам, как Селька Сопронов тайно разворошил не один клад. И в печальных глазах двоюродной, готовых к обильным слезам, не заметил матрос нездешней обиды. Заметил ли он и округлый Палашкин живот? Сарафан и передник стремились сровняться с высокой девичьей грудью. Нет, не заметил и этого счастливый матрос Васька Пачин! И лишь неприятно стало, когда сказали, что брата Павла нет дома, что его ждут из лесу со дня на день. Как так? Мужики говорили, что дома! Спутали, что ли, с кем?

Пришли с двоюродной на беседу. Девки — человек двадцать — пряли с короткими песнями. Ребят оказалось меньше. Палашка сразу уселась пряхть. Василий Пачин молча, с каждым за руку, поздоровался. Он обошел всех по порядку. Девки, не вставая с копыльев, брали веретена в левую руку, а правую умильно подавали матросу. Поздоровался Пачин за руку и с Селькой Сопроновым. Частушки на это время стихли, только потрескивала прядущаяся куделя, и веретена постукивали о сосновый Самоварихин пол.

— Садись-ко, садись, Василей Данилович! — Улыбчивая черноглазая пряха подхватила свою прялку, освобождая место на лавке. Она так глянула на него, так проворно вспорхнула и повела плечами, что у матроса заныло что-то в груди — честь да и место! «Чья это?» — подумал он, только думать стало совсем некогда. В сенях пикинула гармонь, пришли Володя Зырин с ольховским Акимком Дымовым. Оба навеселе. Акимко свой, ольховский, стало легче дышать. Запахло по-городскому, папиросы пошли в ход, но матрос разговаривал с ребятами невпопад. В одно ухо влетало, в другое вылетало. Он пытался не глядеть все время на Тоню, но глаза то и дело воротили в ее сторону. Одетая в коричневую кофту-пальтушку, клетчатый полушерстяной сарафан, обутая в аккуратные черные валенки, Тоня то и дело клала прялку, встречала новых пришельцев, устраивала гармонь сушиться с мороза. Шептала что-то на ухо Самоварихе. «Наверно, столбушку смекают, — подумалось Пачину. — А ежели на перепляс вызовут? Ведь четыре года не плясывал». Коричневая, с морхами на бедрах, с пышнями на круглых плечах пальтушка была оторочена по вороту черным кружевом, она плотно облегла девичью талию. Темные, заплетенные в косу волосы то и дело терялись, заслонялись, потом опять оказывались на виду, и тогда Васька Пачин, черноморский матрос, заставлял себя отворачиваться, чтобы никто не заметил его интереса. В избе становилось все шумливей, народу прибыло, но матрос чувствовал, что находится в самом центре беседы. Ребята старательно здоровались, девки поглядывали, успевая пряхть и петь. Двоюродная тоже пела вместе со всеми. Пела Палашка про любовь, но больше все про измену. Теперь Пачину было и вовсе не до нее. Плясать в пост нельзя, да мало ли чего нельзя делать в посты? Зырин поиграл сперва под

частушки, а тут недалеко оказалось и до пляски, почти все девки сложили прялки на полати, иные в куть, да и пошли метелицей, парами. Восторг волной захлестнул матроса. За печью уже налаживалась первая горюностолбушка, но тут пришел на беседу Митя Куземкин — шибановский напыженный председатель, в новом костюме, в валенках с блестящими калошами. За ним следом явился Савватей Климов и начал просить разрешения сплясать, обещая во что бы то ни стало переплясать колхозного командира.

— Сиди, Савватей, куда тебе!

— Мне? Да я перепляшу самого Калинина, ежели потребуется.

— Не потребуется!

Савватей вышел на середину избы и развел руками, чтобы освободили место. Гармонист, занятый разговором, не обратил на Климова внимания, и тогда кто-то из девиц начал наигрывать ртом. Климов не пожелал плясать под ротовую. Он решил «представиться» и показал, как петух топчет курицу, как кошка за собою «зацапывает», и под конец спел неприличную частушку:

Цяй пила, конфеты ела
У хороших у людей,
Не успела оглянуться
.

Девки замахались, заругали Савватея, схватили за полу и отволокли в сторону, но матрос Василий Пачин уже не слышал частушку, поскольку был позван к горюну. Селька Сопронов вызвал его и провел за печь, где только что сидел с кем-то из девок. Откинув плотную, сделанную из одеяла завесу, он показал направление, и матрос ступил в темноту. У стены в закутке стояла короткая скамья, а на скамье...

— Ты, что ли? — удивился матрос, когда зажег спичку и узнал в девке двоюродную.

— Садись.— Палашка подвинулась.— Да поближе, я ведь не укушу. Все уж теперича... Откусалася...

Палашка всхлипнула, но матрос взял ее за руку, начал перебирать пальцы, словно бы пересчитывая.

Только сейчас она рассказала ему историю с Микуленком. Слезы все-таки потекли и текли в два ручья, пока она жаловалась на свою судьбу.

— Вот так и живу, Василей, на белом свете. Хуже-то не бывает...

— Не тужи уж так-то,— сказал он.— Еще уладится.

— Нет, Васенька, не уладится...

Палашка платочком осушила глаза.

— Тебе кого позвать-то? Может, Тоню? Я видела, ты на нее поглядывал. Ну, думаю, надо подноровить...

— Ее! — Матрос еле выдохнул — так сильно забилося сердце.

Палашка ушла.

У столбушки парень с девицей не сидели подолгу, она уходила и звала по его заказу другую. Потом должен был уйти он сам и позвать того, кого попросит та, которая остается, и так продолжалось весь вечер. Если же кто-то с кем-то засиживался, то это был уже горюн, и приходилось заводить вторую столбушку. Обо всем

этом знал матрос Васька Пачин и раньше, знал, да забыл и теперь удивлялся тому, как это все хитро устроено.

Палашку, двоюродную, было, конечно, жаль, но что значило ее горькое горе, ежели своя радость и свой восторг палили огнем...

Минута прошла, вторая. Беседа шумела. Голоса девок заслоняли зыринскую гармонию. «Неужто сделаешь *головешку*, не придет?» Головешка — это когда отказывают и не идут ко столбу... Ему показалось, что это она, Тоня, спела в избе частушку:

Ягодиночка на льдиночке,
А я на берегу,
Перекинь сюда тесиночку,
К тебе переберегу.

Почему же она не идет? Матрос Василий Пачин весь горел от стыда, когда наконец послышался шорох. Девичья рука откинула занавеску. Он зажег спичку, глаза Тони блеснули так не по-здешнему, так лукаво и жарко, что он позабыл все на свете. Спичечный огонь был словно погашен девичьим взглядом.

— Ой! Где скамеечка-то? — громко проговорила девка.

— Вот, вот...

Он хотел вновь поздороваться, назвать ее по имени-отчеству, как это положено у столба. И ничего не сказал. Ах, дурак, не спросил у двоюродной отчества... Говорить, говорить же надо! Язык у матроса словно присох. Тоня вырчила его из беды, заговорила сама:

— Давно ли приехал-то, Василей Данилович?

— Да третий день всего.

И тут разговор пошел у них сам по себе, без надсады и понукания, без тех обычных глупых вопросов и глупых ответов, которыми пользуются у столба в первую встречу.

Они сидели, лишь слегка, плечами касаясь друг дружки.

Матрос Пачин, ликуя и напрягаясь от счастья, рассказывал ей о своей службе, спрашивал о знакомых, вспоминал праздники. Тоня отвечала ему вслух, тоже говорила и говорила, пока оба не почувяли нужный срок.

Теперь уже ему надо было уйти, а ей остаться. Он должен был позвать ко столбу того, кого она назовет, ему так не хотелось покинуть ее, так славно и так радостно было, так ровно тукало его счастливое сердце, что он осмелился взять ее за руку и в темноте приблизить свои губы к ее горячему маленькому ушку:

— Тебя кто провожает?

Она промолчала. Матрос Василий Пачин не помнил себя от восторга. Не выпуская ее руку, он тихо проговорил:

— Согласна ли, Антонина, вместе гулять? У меня никого нет. Не было и до службы, знаешь сама. А на службе тем более нет! Любить буду, как только могу...

Она, как ему показалось, вся замерла, затихла. Волнение его все прибывало. Не сдержавшись, он взял ее за маленькие крепкие плечи.

— Ой, Василей Данилович, нет.— Тоня освободила

плечи от его рук и заплакала.— Занятая ведь я... Нету моего согласия...

— Ну? — его словно окатили холодной водой. Он враз отстранился от девки и встал:

— А кто? С кем? Кого ко столбу?

— Кого надо, того нету...— сказала она спокойно.— А чтобы столбушку не нарушать, позови хоть Акима Дымова.

— Он что... из-за тебя в Шибаниху ходит?

— Нет, не из-за меня. А из-за кого, спроси у него сам...

Мир сразу поблек и переменялся. Он оставил Тонию в темноте на скамеечке и потерянный, оглушенный вышел на свет. В избе было тесно, пришли гулять из других деревень. Василий нашел Акимка Дымова, послал его ко столбушке.

— Не уходи без меня, я скоро,— шепнул на ходу Акимко.— А то тут некоторые завывлясывали...

Через две минуты Тоня вышла от столба, она отослала туда белокошую девку из деревни Залесной.

Василий Пачин еще дважды ходил ко столбу, его звали и звали, но теперь все эти вызовы казались ему ненужными, неинтересными. Что-то рвалось в нем на мелкие части. Душа холодела, хотя сердце не унималось. Хотелось драться...

Несколько раз выходил он на улицу, глядел на заметенную снегом загороду, слушал притихшие шибановские дома, собачью брехню и мычанье новорожденных колхозных телят на каком-то подворье. А бывать ли еще в этих домах? Все газеты сулят войну...

Метет по Шибанихе снег, метет без сна и без усталости. Палашка ушла домой, велела приходить ночевать к ним, поскольку брата Павла дома нет.

«Нет... Где брат? Ведь мужики, когда ехал с ними, говорили, что Павел уехал домой раньше их...»

Тревожная мысль о брате была заглушена пляской Мити Куземкина. Вместе ходили когда-то в школу, во вторую ступень. Митя плясал на беседе, а Володя Зырин играл. Играл и морщился, отворачивался, сидя на коленях Агнейки Брусковой.

— Ты чево все вертишься-то, Володя? — кричала Агнейка сквозь голос гармони и шум беседы.

— Надо было овса высушить мешка два,— скороговоркой сказал Володя.— Изопахали сейчас бы, а то бы и в муку истолкли!

Да, Митя худо плясал, словно «опихал» ногами сухое зерно. Зырин старался, подыгрывал, но Митины ноги толкли грузно, да все чего-то не в лад с игрой. Митя как раз вызывал на перепляс Акимка Дымова и спел что-то про «супостатов». Не разобрал Василий, что спел пляшущий председатель, но понял, что спето было что-то обидное для Ольховицы, а тут показалось еще, что костюм на Мите какой-то совсем знакомый. Ну, и верно! Костюм знакомый...

Володя Зырин заиграл по-новому, звонче и четче, когда Акимко вышел на смену Куземкину, который стоял, покачиваясь, глядя в ноги Дымову. А Дымов плясал складно! Хорошо отстукивал Дымов, хорошо и частушки пел, только зачем он все еще ходит гулять в Шибаниху? Неужели еще не забыл Веру — бывшую свою сударушку, нынешнюю жену Павла? Нет, не

кончится это добром, ежели так. Митя качался в своем новом костюме, глядел в ноги ольховскому плясуну.

Акимко Дымов с дробью прошелся по кругу, притопнул перед Куземкиным, остановился и спел частушку:

Мы ольховские ребята,
Пока не мужики.
Дай бы господи не нашивать
Чужие пинжаки!

Митя стоял, пока Дымов свое доплясывал, и ушел к дверям.

Зырин прикрыл игру. Дымов, утираясь носовым платком, сел на колени к залесенским девкам.

— А ну, выйдем на пару слов! — произнес вновь появившийся на кругу Митя Куземкин и уже направился было в сени, но Дымов насмешливо отказался:

— С пылу да на мороз, для здоровья вред.

Председатель скрипнул зубами, но драки не было. Ему пришлось уступить, хотя шибановцы то и дело ходили из избы да на улицу.

Палашка, почуяв неладное, пришла с дому и увела матроса. Дымова увел ночевать Володя Зырин. Митю прибрали к рукам шибановские девицы. Хоть и разведенный, а все-таки холостяк.

Что было теперь в душе у матроса Василия Пачина? Смятение и дым...

— Божат, а божат? — позвал он Евграфа Миронова, когда пришли с беседы.— Запряги мне лошадь!

Евграф поспешно слез с печи:

— Лошадь, Василей Данилович, надо спрашивать у Мити Куземкина. Хомут и сани тож у ево! Ночуй, завтра поедет с маслом, дак сvezут.

— Не в Ольховицу!

— А куды?

— Надо бы поискать Пашку.

— Где его ночью будешь искать? — пробудилась за шкапом тетка. Она вышла в одной рубашке.— Утро-то вечера мудренее, ложись-ко спать.

— Пойду, божатка, пешком. Валенки только дайте.

Нет, знал Евграф пачинскую породу! Хорошо знал. Что задумают, обратно не своротить. Потому и начал без лишних слов собираться:

— Погоди! Запрягу без Митькина позволенья. Куды поедешь?

— К мельникам! Отец говорил, что брат ищет новые жернова.

Евграф вышел из дому. Палашка с матерью, притихшие, сидели на лавке. Вторые петухи давно пропели.

— Хоть бы простокиши бы похлебал! — сказала тетка, но матрос Василий Пачин не стал хлебать теткину простоквашу. Он даже не стал переобуваться в Евграфовы валенки, схватил только тулуп и выскочил во двор, когда за окном послышался скрип розвальней. Он выбежал, бросил тулуп в повозку, завернулся в него, и Евграф едва успел кинуть ему в руки вожжи.

— Гляди в оба, не заблудись! — напутствовал Евграф.— А то, вишь, опять замедает. Ищи отворотку по вехам...

Повозка скрылась в ночи. Евграф махнул рукой.

И пошел ездить по снежным полям и лесам черноморский матрос Василий Пачин! На чужой, не на своей лошади, завернувшись в тулуп, погоняет коня, где дорога легла. Скачет на красные огоньки ночных деревень, на запах печного дыма. Едет и едет, бессонный, почти шальной от дум и снежного ветра. Уже и отец его, Данило Семенович, прослышал об этом, бросил тесать колхозные жерди да и тоже запряг, не свою — колхозную лошадь, поехал по сыновьему следу. По метельным проселкам, по дальним волостям несутся Даниловы розвальни. Да где же искать их, непутевых братанов? Велика Ольховская волость, Шибановская тоже не маленькая. А там за Шибановской другие подряд и везде мельницы: водяные и ветрянки. Ищи свищи! Данило не мог миновать Шибаниху, сват Иван Никитич тоже был уже подпоясан, готовый ехать на поиски. Уговорились с Данилом — один в одну сторону, второй в другую. На скорую руку попили чаю да и на двор, по лошадям хлесть! Готовые на слезы бабы не успели взречь...

* * *

Лохматое чудо шаршилось за выстывающей мельничной избой в ночной темноте, оно стучало копытом в двери, пытаясь открыть. Там, во тьме, шуршали чьи-то широкие крылья. Нет, это за дверями топчет в пристройке верный Карько. Совсем без сена, непоеный. И никто не летает над крышей, это шумит на колесе мельничная вода. Тогда почему не толкут песты? А где же сам-то Жильцов? Наверно, ушел домой, в Залесную...

Павел, очнувшись, оглядывает прокопченную мельничную избушку. Заметался и едва не погас крохотный огонек керосиновой коптилки, стоявшей на тесаных плахах стола. Темнота то раздвигалась, то сжималась. Болела уже не одна ступня, а все тело, знобящая мука размывала сознание и память.

Печь из камней чернела в ногах. Надо бы затопить, обогреть избу и вскипятить воды. Карька избиходить бы...

Рассвета не было. Павел снова забылся в бредовом сне. Снова что-то лохматое и черное забродило вокруг, снова пошли один за другим кошмарные образы. Потом он увидел свою ветрянку. Почему-то она молола без крыльев, и ему хотелось остановить, выяснить и понять, что с нею. Он не знал, как остановить мельницу, и мучился в лихорадочном сне. Его трясло и знобило.

Людей нет, а мельница мелет. Какая, чья мельница? Кажется, мелет... Нет, это ветер со снегом. Явь, сон и бред сменяли друг друга, боролись между собой. Как тяжело больному во сне! Вот опять оно... Темень и холод, скрипят двери. Если никто не поможет, лохматое чудо задушит его... Нет... Нельзя поддаваться. Надо встать. Легче стало дышать. Хорошо стало. Кто же зовет его?

Павел с неохотой, тяжким усилием вернул себя из какой-то нездешней, невыразимо хорошей иной стороны, откуда все тугошее показалось ненужным и мелким. Открыл глаза. Кто-то держал коптилку в руке, трогал ему лоб.

— Васька! Братан...— хотел крикнуть Павел, но крика не вышло. Он только сел на помосте, обнял брата.

— Лежи, лежи...— Матрос укрыл Павла тулупом.— Сейчас печь затоплю...

— Откуда ты? А и я-то где? Вот... Занемог... Да, Жильцов тут был, молот для залесенских... Ушел в деревню. Соль, говорит, кончилась.

— Арестован Жильцов.

Василий поджег бересту. Изба осветилась. Павлу показалось, что все это снова во сне. Но нет, запахло горячей берестой и даже городской папиросой. И Васька, брат, был живой, в морской форме, на шапке бляшка из золота со звездой. Даже не верилось.

— Давно ты тут? — Голос вроде бы изменился...

— Обморозился я.— Павел говорил хрипло.— Думал, на мельнице отогреюсь — и домой. Просил Жильцова не сказывать. Дровни на берегу оставил, около переезда... И вот заболел...

Береста догорела, вновь стало темно.

Матрос зажег лучину, откинул тулуп:

— Ну-к, покажи ногу.

И присвистнул: ступня была вся синяя. Большой палец уже почернел, из него текла сукровица.

— Эх, Пашка! — Матрос прикрыл ногу тулупом.— Худо дело, надо в больницу.

— Наверно, сена у Карька нету. И напоить бы надо,— не слушая брата, сказал Павел Рогов.

— В больницу! Чуешь?

— Фершала нет в Ольховице, знаешь сам. Только в Усташихе. Дак чево с Жильцовым-то? Ты видел его?

Матрос Василий Пачин растопил печь. Он не видел мельника. Он заезжал лишь в деревню Залесную, но Жильцова не было дома, его увезли в Ольховицу. Отбрали ключи от подвала, от амбара, от мельницы и увезли за то, что не сдал двести пудов — гарнцевый сбор, за то, что отказывался молоть.

— Да откуда Жильцову взять двести пудов? — Павел сел на топчане.— Насчитали за шесть годов...

Печь разгоралась все жарче и ярче. Матрос Василий Пачин выходил из избушки в конский сарай, напоил Карьку и дал ему сена. Свою лошадь тоже поставил под крышу, но не распряг. Уже светало. Калачи, оставленные мельником, и кипятки в котле пробудили голод, а брат выпил только полкружки горячей воды и откусил калача. Пожевал, откинулся к стенке.

— Нет... Ничего не хочу. Порасскажи, каково служить. И надолго ли...

— Эх! — Василий сел наконец на сосновый чурбан, хлопнул шапкою о колено.— И что тут у вас творится, а, Пашка?..

— А чего творится? — схитрил Павел. Его знобило, в ноге проснулась нестерпимая боль.

— Чего вы все... зажались как...— Матрос не мог подобрать слова.— Этих... братанов Сопроновых боятся сразу две волости. Да их... скрутить обоих и... под зад коленом!

— Этих скрутим, другие явятся.

— И тех туда! А чего? Вы уж совсем скисли! Пикнуть боитесь! Никуда не жалуетесь, будто грамотных нет!

— Отец вон до Москвы дошел, до Калинина,— тихо возразил Павел.— А что толку? Вернули было право голоса. А после прижали еще туже...

Но Василия не могли убедить слова брата. Он говорил свое. Он звал, стыдил, ругал шибановцев и ольховлян, предлагая дать срочную телеграмму Ворошилову. Грозился своротить рыло Игнашке Сопронову, предлагал порвать опись имущества и вызвать начальство из Вологды.

Павел слушал брата с полузакрытыми глазами. Похудевший, с небритым лицом, он слушал голос родного брата, слушал и не вникал. Потому что давно уже вник во все и думал больше о дровнях с подсанками, вмерзших в лед, об оставленных на берегу топоре и домашней корзине. Срам на всю округу... Еще прислушивался к шелесту ветра и к шуму вхолостую падающей воды да любовался матросом, его темно-синей форменкой, но Васька, казалось, рванет сейчас и тельняшку, и форменку, рванет пополам, на две стороны, и тогда что-то навсегда пропадет и исчезнет. Что, пьяный он, что ли?

Матрос почувствовал братнино насмешливое недоведение:

— Ты чего лыбишься?

На небритой щеке Павла уже высохла маленькая мокрая полоска. Он спокойно полулежал, опершись плечами на бревна стены. В груди матроса все клокотало. Все в нем кипело и плавилось, а брат, его родной брат, молчал и не двигался!

— Очнись! — сказал Павел спокойно.

Матрос вскочил с чурбана с жестоким северным матом.

Павел так же спокойно остановил его:

— Там, под лавочкой... Корзина с жильцовским инструментом. Дай суда!

Матрос нашарил корзину и поставил на стол. Павел поднялся. Попросил подать левый валенок, обул его. Оторвал от мучного мешка льняную завязку и оглядел правую обмороженную ступню. Снова откинулся на топчане...

— Ты чего? — спросил матрос, когда Павел дважды, вдоль, разорвал чистую холщовую скатерку, в которой были завернуты жильцовские калачи. Павел молча достал из корзины широкую жильцовскую стамеску, попробовал острее:

— Лапка-то... вишь, синее. Зажги лучину! — тихо, но твердо сказал Павел.— Да не одну, а пучок...

В голосе брата было столько уверенности, столько спокойной силы, что матрос затих, вопреки себе. Он зажег пук лучины и приблизился к топчану.

— Дай топор! Там, за печью.

— Ты что? — заговорил было матрос, но брат жестом приказал замолчать. Василий, не зная, что будет дальше, принес топор. Павел взял стамеску и начал калить ее на лучинном огне. Бросил недогоревшую лучину на земляной пол и поставил обмороженную ступню на сосновый чурбан:

— Бери топор и стамеску!

Старший брат растерянно взял стамеску, но взять топор не осмеливался. Мельничная избушка на минуту

утонула в стылую тишину. Казалось, даже дрова в очаге перестали трещать.

— Ну? Васька... Бери топор, бей! Я сам 'подержу стамеску-то...

Павел наставил стамеску к основанию большого пальца.

Матрос Василий Пачин нехотя взял топор.

— Эх... ну? — Павел скрипнул зубами.— Дай топор мне! Тютя. Держи стамеску. Наставляй! Выше, выше, под самый корень. Держи прямо, бл... такая, кому говорю? — закричал Павел.

Когда рука матроса перестала дрожать, Павел ударил обухом по стамеске. Палец отлетел далеко к дверям. Кровь показалась не сразу. Павел успел лечь на спину. Матрос начал пеленать рану холщовой лентой, она быстро наливалась бордовым цветом. Он льняной бечевой перетянул ступню наискось от среднего пальца, но вторая холстина тоже быстро краснела.

Теперь Павел лежал на спине поперек топчана, белый как полотно. Нога была поднята и упиралась пяткой в стену избы. Кровь останавливалась.

Матрос Василий Пачин плакал, он сидел рядом, на чурбане, который не успела оросить Павлова кровь. Сидел, упершись локтями в колени. Кровавые сжатые кулаки подпирали его обросшие за ночь скулы.

— Ну? Ты чего? — Павел шевельнул головой.— Три к носу, все пройдет. Еще поживем. Поглядим, что будет... Прибери... схорони мертвую плоть...

Матрос нашел у порога отсеченный палец, завернул его в остаток окровавленной жильцовской скатертки. Вышел в пристройку. Оба коня, наставив уши, тревожно глядели на человека. Василий сходил к запертой на замок мельнице, взял стоявшую у ворот пешню, которой мельник Жильцов скалывал с желобов лед. Матрос Василий Пачин вернулся к избушке. В углу пристройки, где стоял сторожкий Карько, промерзло не очень глубоко. Пешня тремя ударами пробила мерзлую землю...

IX

Еще осенью, по доносам троцкистов-горкомовцев, Вологодский губком был разгромлен.

Борьба вологжан за то, чтобы центр Севкрая был в Вологде, закончилась поражением. Губернию ликвидировали. Хотя Сталин и не поддержал переименование города в Сталинопорт, но столицей вновь образованного края сделал Архангельск. В Вологду посылали специального инструктора Седельникова, после чего ЦК слушал секретаря Вологодского окружкома Стацевича. Содоклад Седельникова, одобренный Кагановичем, лег в основу резолюции по Вологде.

Текст постановления гласил¹:

«1. ЦК отмечает отсутствие пролетарски выдержанной политической линии в работе организации. Признавая на словах борьбу с правым уклоном и примиренческим к нему отношением, партийное руководство на деле

¹ Орфография документа полностью сохранена. (Здесь и далее примеч. автора.)

оказалось политически совершенно близоруким и проводило в ряде случаев на практике явно оппортунистическую политику. В условиях острой классовой борьбы в деревне не было уделено, несмотря на значительный рост политической активности основных масс крестьянства, никакого внимания организации батрацко-бедняцких и середняцких сил для отпора кулачеству. Политический террор кулачества нередко квалифицировался как хулиганство, а напор кулачества в низовые советские и кооперативные органы рассматривался в отдельных случаях как здоровый процесс вовлечения «зажиточных» в советское и кооперативное строительство. В руководстве решающими для деревенской экономики отраслями хозяйства — животноводство, льноводство, лес, кустарные промыслы — отсутствовала выдержанная пролетарская классовая линия, в результате чего, несмотря на общий хозяйственный подъем основных масс крестьянства, кулацкие слои деревни имели возможность быстро расти и укрепляться. В проведении важнейших мероприятий Советской власти — сельскохозяйственный налог, самообложение, землеустройство — наблюдается ряд отклонений на практике от партийной линии — случаи недообложения кулака, уравнильность при самообложении, насаждение кулацких хуторов и отрубов.

Благодаря такой явно неправильной политике и практике руководства работой в деревне, кулак сумел, несмотря на общие хозяйственные и политические успехи Советской власти в Вологодской деревне, добиться в некоторых районах известного укрепления своей политической и экономической роли, а в отдельных случаях даже подчинить своему влиянию советский и кооперативный аппарат (факты сращивания аппарата с кулачеством — Шуйская волость, Кубено-Озерская, Верхне-Вологодская).

ЦК отмечает поворот организации за последнее время (в период после районирования) в наступлении на кулака. Однако ЦК считает мероприятия Вологодского ОК и Северного краевого комитета партии в этом направлении недостаточными и предлагает перестроить работу всех звеньев организации, добиваясь решительного перелома в состоянии всей работы в деревне.

ЦК предлагает провести с тщательной подготовкой досрочные перевыборы всей сети партийных органов и созвать чрезвычайную окружную партийную конференцию, энергично развертывая в ходе перевыборной кампании самокритику снизу и мобилизуя всю организацию на решительную борьбу с конкретными проявлениями правого уклона и примиренческого к нему отношения.

Проверить тщательно во время проходящей чистки партии и госаппарата весь состав руководящих кадров (окружных, районных и сельских) с точки зрения их боеспособности, моральной устойчивости и выдержанности в проведении директив XV съезда партии о наступлении на капиталистические элементы и о развертывании социалистического строительства. В первую очередь проверить состав тех соворганов, в работе которых имели место явные классовые извращения — земельный отдел, финотдел, а также, принимая во внимание, что кулак крепче всего окопался в органах кооперации

(особенно в маслосоюзе), провести снизу доверху проверку состава и работы кооперанов, беспощадно изгоняя из них всех проводников кулацкого влияния.

Отмечая неудовлетворительность руководства местными органами со стороны ряда центральных учреждений (НКЗем, НКФин, Маслоцентр, Союз Союзов, Колхозцентр), предложить им укрепить постановку организационной работы.¹

Боевой задачей ближайшего времени поставить организацию бедноты и батрачества по всей системе советских и кооперативных органов, обеспечив их руководящее влияние в этих органах и добиваясь изоляции кулака в вологодской деревне на основе укрепления союза рабочих и бедноты с середняком.

Поручить орграспреду ЦК выделить в месячный срок для укрепления Вологодской организации пятьдесят выдержанных и твердых работников из состава Ленинградской и Московской организаций, в первую очередь для низовой партийной и советской работы и оздоровления аппаратов кооперации (особенно Маслосоюза и Животноводсоюза).

Командировать в Вологодский округ сроком на 1 месяц члена ЦКК и члена ЦК.

2. Крупнейшим недочетом в работе организации является совершенно недостаточное внимание развитию животноводства и маслоделия, играющих решающую роль в экономике округа и имеющих известное общесоюзное значение, — темп подъема этих отраслей чрезмерно медленный, а животноводческих совхозов и колхозов нет ни одного. ЦК предлагает СНК РСФСР, Северному комитету партии и окружному разработать мероприятия, направленные к социалистической перестройке животноводческого хозяйства (строительство крупных молочно-животноводческих и племенных совхозов и колхозов, организация машинно-мелиоративных станций и др.) и к усилению темпа подъема всей массы животноводческих индивидуальных бедняцко-середняцких хозяйств.

3. ЦК предлагает добиться превращения лесозаготовок в одну из основных общественно-политических кампаний в деревне, руководствуясь директивами ЦК от 29 июля 1929 г. по докладу Северных парторганизаций.

В области кустарных промыслов обратить особое внимание на борьбу с засилием кулацких и нэпмановских (скупщики) элементов, на создание в районах из наиболее развитых промыслов (Кубено-Озерский, Усть-Кубинский, Шуйский) крупных коллективных промысловых хозяйств.

4. Отмечая совершенно неудовлетворительное состояние парторганизации в деревне — незначительное количество крестьян-коммунистов и хозяйственное обрастание части из них, — предложить Северному краевому комитету партии и окружному принять меры к укреплению рядов деревенской организации путем вовлечения в партию лучших батраков и бедняков, а также усилить работу по политическому воспитанию всей деревенской организации.

5. ЦК считает, что извращения в области работы в деревне явились результатом, в первую очередь, отсутствия связи партруководства с деревней, а также пас-

сивности городской парторганизации в деле мобилизации пролетарских масс для социалистической перестройки деревни и укрепления политической работы в ней. В частности, организации ж.-д. мастерских не оказывали должного влияния на состояние деревенской работы вследствие того, что среди отдельных групп рабочих-железнодорожников все еще наблюдаются элементы хвостизма, цеховщины и непонимания классовых задач пролетариата. Необходимо улучшить руководство деревенской работой в организации, наладить систематическую живую связь с местами, ввести практику регулярных выездов ответственных работников в районы и т. д. Добиться решительного перелома в состоянии парторганизации и массовой работы на предприятиях округа, мобилизуя на основе социалистического соревнования широкие рабочие массы на выполнение поставленных производственных задач и на действительную практическую помощь работе в вологодской деревне.

6. Командировать в распоряжение Вологодского ОК 1 пропгруппы и 2 орггруппы».

26 декабря, в четверг, Каганович утвердил список орггруппы, направляемой в Вологду. В группе насчитывалось семеро. (После нового года, 6 января, в понедельник, дополнительным решением к группе присоединилась восьмой, по фамилии Вилюмати.)

Ну, и дала ж вологжанам перцу эта орггруппа! Игнорируя распоряжения из Архангельска, действуя помимо крайкома, эти люди развернули поразительно активную деятельность. Бергавинов глотал множество золоченых пилюль, он не очень охотно соглашался с действиями московских уполномоченных. В Вологде над самыми боевыми партийцами нависла угроза обвинения в правизне. Обвинения же в малоактивности сыпались на всех подряд, начиная с секретаря окружкома Стацевича. Все чувствовали, что надвигается нечто неотвратимое.

В четверг, 30 января, Стацевичу принесли телеграмму из Архангельска, переданную открытым текстом:

«По сообщению уполномоченного крайколхозсоюза, в Грязовецком и Вожегодском районах начался выход членов из колхозов в результате кулацкой агитации среди колхозниц и недостаточного руководства районных организаций. Руководящие организации за подсчетом процентов коллективизации забыли о качестве колхозов. Предлагаем немедленно обратиться на это внимание — бросить в районы сплошной коллективизации силы и сломить противодействие кулачества, развернуть работу по организации бедноты, женщин. Ответственность возлагаем на вас».

Стацевич красным карандашом подчеркнул слова о «сплошной коллективизации», о том, что нужно «сломить противодействие кулачества», и занялся было очередными делами, но ему тут же принесли еще одну шифровку, подписанную Бергавиновым. В этой шифровке предлагалось немедленно выделить дополнительные помещения для прибывающих с юга раскулаченных в Прилуцком монастыре, Высоковской запани и в Грязовецких казармах.

Телеграммы шли одна за одной. Орггруппа действовала автономно. Крайком требовал одно, Москва другое. Текущим и местным делам не оставалось времени...

Того же дня, вечером, по требованию члена орггруппы ЦК Сагитулина пришлось срочно создать бюро окружкома. Кроме членов Ромашина, Гуляева-Зайцева, Шевковой, Рыбина, Сидорова, Колмакова, Рахманского, Анохина и Рогаткина на заседании присутствовали: Козлов, окружной прокурор Головин, представитель ОГПУ Райберг, Карельский, Пузырев, Болод, Гиндин и член орггруппы ЦК Сагитулин.

По выступлению Рыбина «О практических мероприятиях по выполнению решения партии и ликвидации кулака как класса» бюро единогласно приняло постановление, в котором предлагалось:

«...всем парторганизациям немедленно приступить к учету и конфискации всего кулацкого имущества, обратив при этом внимание не только на основные средства производства, но и на возможные запасы дефицитных товаров в кулацких хозяйствах».

В ночь на 31 января почти никто из членов окружкома и окрисполкома не спал. Шли срочные инструктивные совещания. Секретные телеграммы были немедленно переданы по всем районам. По всем районам, не дожидаясь утра, выехали специальные и оперативные уполномоченные. Органам милиции и подиву 10-й дивизии были даны спецуказания.

И все же долгая январская ночь оказалась намного короче, чем требовалось. Специальные группы в районах были организованы только под утро, да и то кое-как, наспех. Районный актив, поднятый нарочными, торопливо ознакомили с телеграммой из Вологды.

Как и кого раскулачивать? Никто толком не знал. Прежде чем выехать в Ольховицу, замначальника милиции Скачков в четвертом часу утра вызвал на телефон Сопронова — председателя Ольховского сельисполкома. Он дал ему устное указание немедленно приступить к экс... экспро-про-про-приации.

* * *

Скачков словно на школьном уроке потребовал повторить, что надо делать. Но Сопронов так и не выговорил как следует это костоглотное, хотя и давно знакомое, слово. Скачков отвязался. На столбе за стеной гудела железная телефонная жила. Нудно, надрывно, словно от зубной боли, стонала она от дальнего ветра и холода, но Игнаха слушал эту ночную струну с нарастающей бодростью. Он все еще держал в руке телефонную трубку. Рядом на стуле коптила зажженная Степанидой «летучая мышь». А где сама Степанида? Он забыл, что турнул ее собирать сельсоветский актив.

Ночь выдалась нехолодная и без ветра. Темнее не могло уж и быть, тишина давила, казалось, снизу и сверху. Глухо, будто из-под земли, сказывались в Ольховских домах петухи. Степанида по памяти, чуть не на ощупь, выбрела к дому Гривенника. Пошарила по воротам, забрякала железным кольцом. Подождала. Никто не шевелился, и она начала стучать кулаком в полотно.

Гривенник спал сном праведника. Степанида, потеряв терпение, начала пинать в полотно ногой, и ворота вдруг сами раскрылись. Баба напугалась темноты в холодных чужих сенях. От этого начала звать громче, и только тогда в избе зашбаркались. Не вздувая огонь, в одних портках Гривенник выглянул в двери:

— Кто?

— Унеси тебя водяной! До чего доломилась, что и руке больно. Вставай, поваровой!

Она велела Гривеннику скорее бежать в сельсовет, сама, опять на ощупь, по памяти направилась к дому Веричева. Ругала Игнатя, что отнял фонарь, зато у ворот Веричева пришлось стучать недолго. Едва ступила на крыльцо, в сенях громко, залиристо залаяла собака, будто обрадовалась неурочной побудке.

После Веричева Степанида сходила до прозоровского флигеля и подняла Митьку Усова. Оставалось сбегать к наставнице Дугиной.

Как раз в это время и зажглись нижние окна большого шустовского дома. Степанида слышала, когда пробежала мимо, что в проулке у Шустова что-то движется, за окнами тоже чувалось шевеление, но ей было велено — кровь из носу — скорее собрать ольховских членов ячейки, поэтому она тут же забыла про шустовское подворье.

«Лешие, сотоны, — ворчала уборщица. — Вишь, моду взяли и по ночам не спят!»

Она вернулась в сельсовет, зажгла десятилинейную лампу, подставила стул и повесила ее к матице. В сельсоветской комнате стало светлее. Когда собрались Веричев, Гривенник, Дугина, когда приковылял Митька Усов, председатель попросил Степаниду выйти... О чем они совещались? Она не знала, но примерно через час все пятеро дружно вывалились из дверей и по коридору на улицу.

Фонари несли Веричев и наставница. Длинные тени от валенок метнулись по снегу. Все молча двинулись по дороге. Сопронов на ходу приказал Степаниде запретить сельсоветскую лошадь. Степаниде было совсем невтерпех. Ей обязательно нужно было знать, куда это и зачем двинулись активисты. Она решила, что лошадь ей недолго запретить, минутное дело. Она и после запрета успеет. Степанида пошла следом. Сперва она шла за ними на порядочном расстоянии, чтобы не видно было, но вскоре начала догонять, а в проулке у Шустовых и совсем присоседалась. Все пятеро были в таком состоянии, что и не заметили Степанидиной вольности. И вот уборщица совсем забыла, что надо запрягать сельсоветскую лошадь, она уже переговаривалась с наставницей, как будто так и надо.

Окна в нижней, первоэтажной избе Шустовых ярко светились. Сопронов предостерегающе поднял руку. Все остановились.

— Не спят! Надо было хоть ружье взять! — тихо проговорил Гривенник.

Веричев, лесной объездчик, насчет ружья промолчал. Минуты две стояли, не двигаясь. Переступив с ноги на ногу, Веричев произнес:

— Ну, что, чево стоять? Пришли, дак надо идти! Стоять нечего.

Сопронов взял фонарь учительницы и первым ступил

с улицы к дому Шустовых. Остальные поспешно пошли за ним. Было около пяти часов за полночь. Кое-где в домах уже начинали вставать старики и большухи. Была пятница — последний день января 1930 года. Пятеро ступили на шустовское крыльцо. Сопронов хотел постучать, но ворота оказались настезь распахнуты. Сопронов оглянулся на спутников. Те молчали. Он пошел дальше, открыл двери нижней избы.

Пахнуло давно обжитым теплом. Смешанный запах печного варева и детских одежд, шорного дела и пирожной закваски успокоил Сопронова, за ним осмелели и все остальные.

— Встали хозяйева? — с порога спросил Сопронов и еще смелее шагнул на свет.

Но ему никто не вышел навстречу. Под потолком ярко горела висячая лампа, в горнице светила настольная, семи линий, но в обеих избах было пусто. «Спрятались, что ли? — мелькнуло в председательской голове. — Достанем из-под земли». И он дернул за колечко, открыл люк, ведущий в подполье. Посветил фонарем. Подполье было завалено картошкой и брюквой.

— А вот и ружье есть, Игнатей Павлович, — то ли всерьез, то ли с насмешкой сказал Веричев.

На лосиных рогах, вделанных в стену, действительно висели тульская сломка, сделанная из бычьего рога пороховница и патронташ. Сопронов поспешно снял ружье, проверил. Схватил патронташ и так же поспешно зарядил.

— В хлевы! — приказал он.

— В хлевах нам нечего делать, — сказал Митька Усов и сел на лавку. — Закуривай.

— То есть как нечего? — удивилась учительница.

— Так. Никого нет.

Но Гривенник и Сопронов с фонарями в руках уже шастали по верхнему сараю и в верхних холодных избах, распахивали сенники и спускались вниз. Вся скотина, кроме лошади, была на месте. Овцы в хлеву испуганно шарахались по углам, корова недоуменно глядела на незнакомцев.

Лошади в стойле не было.

Сопронов как угорелый выскочил на улицу, прыгнул под въезд, где стояли обычно розвальни. Ни упряжи, ни розвальней тоже не было.

— Степанида! — заорал он. — Ты запрягла аль нет? Давай пулей чтобы...

Но Степанида уже пропала куда-то. Дом со всем добром брошен, и людей нет. Могла ли уборщица удерживать при себе такую новость? Нет, это было ей не под силу... Сопронов прибежал в избу, хватая за рукава Митьку, то Веричева, кричал:

— Уехал! Догонить надо гада. Быстро запретить и догонять!

— Ищи ветра в поле, — сказал Усов. Он не спеша заворачивал сигарку.

— Ты у меня... — Сопронов был окончательно взбешен. — Ты у меня после... после поговоришь!..

— Да куда ехать? — вступился за Митьку Веричев. — Оне, может, с вечера выехали, тридцать верст отмахали.

— Неизвестно ишшо, по какой и дороге-то... — вставил Гривенник, держа в одной руке затейливый чайник,

в другой пчеловодный дымарь. Глазами он успевал ощупывать шустовский стол с чернильницей и с какими-то книгами.

— Положь на место! — приказал Сопронов, и Гривенник поставил чайник на стол.

Все пятеро, ошарашенные и удивленные, не знали, что делать. Брошенный дом был полная чаша. В хлевах скотина, на верхнем сарае солома и сено. В ларях мука, в сундуках белье и одежда, в шкапах посуда и книги — все брошено на произвол судьбы! Но как осмелился Шустов, как уместил в розвальнях пятерых малолеток, старуху, глубокого старика? «Ну, ладно, — думал Митька. — Ядреные ушли за возом пешком. А как с харчами-то? С кормом для лошади как? Ежели на возу пятеро малолетков да два старика, туды уж больше ничего не положишь».

Комиссия между тем ходила с фонарями по всему дому. До рассвета успели описать самое главное: скот и одежду. Сопронов, не расставаясь с ружьем, распакивал сундуки и шкафы, откидывал одеяла. Драночная зыбка на березовом оцепе еще хранила тепло, одеяльце еще не остыло. Пеленочный запах не успел выветриться. Сопронов перевернул всю внутренность зыбки и вдруг снова вскинулся вороном:

— Под твою ответственность! — Он схватил Веричева за ворот. — Чтобы все до последнего гвоздя в список! Я его, гада, все равно догоню...

Он выскочил из дома и побежал к прозоровскому подворью, где стояли кони и где образовался центр усовского колхоза. Там было свалено сено и вся колхозная упряжь. Сопронов прибежал туда с фонарем и с ружьем, долго искал сбрую. Сельсоветская лошадь тоже куда-то исчезла. Бегая по Митькиному колхозному двору с ружьем и с фонарем, он вспомнил наконец, что велел запречь Степаниде, но у сельсовета ни повозки, ни уборщицы не оказалось. Пока бегал по Ольховице, лошадь, запряженная в санки, стояла у дома Шустова, где продолжала хозяйничать комиссия. Сопронов отвязал лошадь, положил ружье и патронташ в передок санок. Потом бросил в них охапку шустовского сена, развернулся и на ходу запрыгнул в корешковые санки.

«Куда он ударился? — думал Сопронов. — По какой уехал дороге?.. Ежели в сторону станции, надо позвонить в район. А ежели в сторону Пунемы? И еще есть дорога, третья.. Нет, на третьей Шустову нечего делать, он либо на станцию, либо в лесопункт. Может, и догоню, надо попробовать...»

И Сопронов привстал в санках, ударил по лошади ременной вожжиной.

* * *

Светало. Василий-матрос разверстал в розвальнях Евграфов тулуп, в другой тулуп завернул Павла и на руках вынес его из мельничного тепляка. Утыкал со всех боков:

— Ну, Пашка, терпи. Авось не заморожу тебя. Куда поедем? В Шибаниху или в Ольховицу?

— Вези, где сударушка. — Брат даже пробовал пошутить. — В Шибаниху...

Матрос гикнул, мельница исчезла за лесом. Дорога

была переметена во многих местах, особенно на полянах, но застоявшаяся лошадь понеслась в галоп. Когда выехали на большую дорогу, совсем рассвело. Поземка настырно и косо неслась поперек пути. Следы от полозьев тотчас заметало. Лошадь сама перешла на шаг.

— Может, к отцу? — спросил брата Василий. — Тут ближе... И медицину легче бы вызвать.

— Нет. Давай уж в Шибаниху. — Голос Павла звучал глухо и равнодушно. Матрос погасил тревогу в душе. «Ничего, ничего...»

— Полундра! — вдруг крикнул он, когда встречающая лошадь нисколько не отвернула в сторону. Ударилась запрягами. Оглобли сцепились.

— Сдавай назад! — крикнул матрос. — Сворачивай.

— Сворачивай сам! — послышалось впереди.

— Нам нельзя в снег.

— А мне можно? Давай ворота, а то худо будет, — крикнул Сопронов.

«Кому худо будет, еще поглядим», — подумал матрос Василий Пачин и прыгнул в снег.

— Лежи, Пашка. Где топор? Я ему гужи обрублю...

Но лошади сами, без человеческого приказа подались вспять, оглобли упряжек расцепились. Можно было разъезжаться. Матрос не стал выдирать из вяза топор. Он взял встречную лошадь под уздцы и свел ее с дороги в глубокий снег. Сопронов схватил из передка шустовское ружье. Матрос же прыгнул в свою повозку и тронул вожжи. Сопроновская лошадь вплавь, рывками выбиралась на твердое место. Павел шеvelyнулся в тулупе, слегка привстал и узнал Сопронова. «Он, — подумалось Рогову. — Опять с ружьем. Куда бы такую рань?» Василий замерз от купания в снегу. Надо было ехать скорее. Матрос показал Сопронову кулак, лошадь пошла скорой рысью. Повозка с братьями удалялась все дальше к Шибанихе.

«Чего это занесло меня на залесенскую дорогу?» — подумал Сопронов. Он положил ружье в передок санок. Взглянул за вожжи. И сразу забыл Сопронов про побег Шустова. Сыновья Данила Пачина напомнили ему о родной деревне Шибанихе. Он начал прикидывать, что делать дальше: «Так. Значит, так. Скачков приедет не раньше ночи. Да за это время они все по родне растащат! Все попрячут. Нет, нельзя ждать Скачкова, надо самим! Догадаются ли Веричев с Усовым и Гривенником сходить с описью к Гаврилу Насонову? Учительша — эта только бумаги писать... Гаврила — опишем и Данила возьмем за жабры. Ноце Пачин не вывернется...»

Так думал Сопронов. Думал, гадал: то ли повернуть в Ольховицу, то ли ехать в Шибаниху.

«В Шибаниху! — вдруг твердо решил он. — Еще успею. Теперь не ускочат...»

Он решительно выехал к шибановской отворотке, куда только что скрылись братья. План уже выстраивался в голове. «Что сделать в первую очередь? Собрать комиссию. Группу, а то и две. Кого в группу? Митя Куземкин поведет одну группу, он, Сопронов, вторую. Чтобы успеть, пока не очухались. Куземкина в группу — раз, он, Сопронов, — два. Селька, братан, — три. Володя Зырин, счетовод, — четыре. Лыткин — пять, Кеша Фотиев — шесть. Для счету сгодится и Носопыр. Нет, не выйдет, пожалуй, на две группы! Придется одной...»

Так думал он, погоняя кобылу, возбужденный и радостный: «Пришли, пришли знатные времена. Дремаť некогда. С кого бы начать? Знаем, с кого начать...»

Сопронов запалил кобылу. Она вся потемнела от пота, белые хлопья появились в паху. В деревне он кинул вожжи на колья своей изгороди, схватил из санок ружье и вбежал в избу. Минуты через две из ворот выскочила Зоя, она побежала собирать намеченных членов... Потом, на ходу что-то пережевывая, появился Селька, он двинулся открывать красный шибановский угол, в котором всю зиму топил печь и подшивал газеты.

Не больно-то жарко натопил Селька в бывшей конторе, в половине лошкаревского дома! Вторые рамы имелись не в каждом окне, двери ничем не обиты, печка-щиток давно потрескалась.

Первым в читальню явился Миша Лыткин в своей желтой дубленке. На полах шубы намерзли ледяные бубенцы, они слегка побрякивали. Он снял шапку, но от холода сразу надел, отчего постеснялся читать, вернее глядеть картинки в газетах. (Читать, не снимая головных уборов, Селька не разрешал.) Вторым пришел Володя Зырин — продавец кооперации, он же счетовод колхоза «1-я пятилетка»; сразу за ним показался сам председатель Митя Куземкин. Последним, с ружьем за спиной, пришел Сопронов.

— Ты, Игнатей Павлович, чево это? — спросил Куземкин. — За охотой, что ли? У нас за гумном зайцы вон так и скачут...

Сопронов прищурился на Куземкина, и Митя сразу сменил тон.

— Товарищи! — заговорил Сопронов, когда все притихли. — Ночью получена устная телеграмма из района. Есть указание немедленно приступить к разгрому кулачества как класса... В Ольховице уже начали. Не будем терять драгоценных минут, начнем сразу и мы...

Все замерли.

— А кто в Шибанихе кулаки-то? — спросил Зыбин. — У нас нет.

— У меня список! — жестко сказал Сопронов. — Да все мы и так знаем, кто в Шибанихе кулаки, товарищ Зырин! Ежели тебе неизвестно, могу зачитать...

Кеша Фотиев как раз заглянул в двери. Сопронов махнул ему, чтобы заходил быстрее, и продолжал:

— Предлагаю: разделимся на две группы. Одна с Куземкиным, другая со мной. Кому начинать с ольховского конца?

— Нет, Игнатей Павлович, с двух-то концов не лучше, — сказал Куземкин. — Давай уж пойдем все вместе.

— Пока опишем в одном конце, в другом все спрятают! — со злом обернулся Сопронов. — Боишься, что ли?

— Не боюсь, а вместе надежнее!

Сопронов нехотя сдался. Он взял у Сельки карандаш и амбарную книгу для описей, первым открыл двери:

— Пошли! — В коридоре он перевесил ружье из-за спины на плечо. Лестница заскрипела, все двинулись за Игнахой.

У крыльца встретился Носопырь. Сопронов велел ему идти в дом к Роговым, Сельке приказал караулить Еврафа Миронова.

— А с кого будешь начинать? — поинтересовался Куземкин.

— С Жука! — на ходу бросил Сопронов.

...Пятеро подошли к воротам Брусковых. Сильный стук в полотно ничего не дал. Сопронов пошел к окну зимней избы. За стеклом мелькнула женская кацавейка. Сопронов сильно постучал в раму, но ворота уже открылись.

Жучок в шубной жилетке поверх синей рубахи, простоголовой, стоял в воротах.

— Ну, здорово-те. Больно вас много! — промолвил он, бледнея. В избе он пнул тершегося о валенок кота.

— Матка, ставь самовар вдрогорядь! Видишь, сколько сватов наехало? — Голос Жучка совсем истончился. — И ты, тятка, слезай с печи, погляди на гостей. Пришли раскулачивать...

Жучок проворно достал из шкапа какую-то бумагу. Он совал ее под нос Сопронову:

— Вот! Почитай, ты грамотный! У меня с тяткой роздельный акт!

— Не имеет значенья, — сказал Сопронов.

— Это как это так?

— А так! Хозяйство разделено с цели!

Напуганная, белая как холстина Агнейка стояла за такой же перепуганной матерью, две младших девочки словно зверьки глядели из-за шкапа. Сивый сухой Кузьма по прозвищу Жук слезал с полатей. Его длинная, ниже колен рубаха удивила комиссию. Старик, стуча клюкой, по очереди подходил к каждому, пытаясь узнать по обличью, кто пришел.

— Сивырька, этот-то чей?

— Этот, тятка, у их главной конвой, — сказал Жучок про Мишу Лыткина. — Вишь, у одного батог, у другого ружье. Пришли как на медведя...

Сопронов сел за стол, сдвинул чайные чашки. Поставил ружье между колен, подал Куземкину бумагу и карандаш.

Сиротский голос Жучка растворился в жутком женском плаче. Вслед за матерью взревела Агнейка, за шкапом тоненько заплакали младшие.

Жучок скакнул с лавки прямо к Лыткину, ткнул ему пальцем между ключиц:

— Что, Миша? Доходы мои пришел считать? Посчитай, коли своих нет! Посчитай, только гляди, Михайло, не просчитайся.

— Подай ключи от подвалов! — крикнул Сопронов Жучку, но тот сделал вид, что не слышит. Он только что обратился к Фотиеву:

— И ты, Асикрет Ливодорович, заодно с има? Добро, парень, очень добро! Давно бы так... Дело у тя пойдет...

Северьян Кузьмич подскочил наконец к Сопронову:

— Ежели право такое есть, иди ломай! Подламывая, Игнатей Павлович, был ты вор полуношный, ныне грабишь середь белого дня! Иди в сеники!

Сопронов сдержался. Кивнул Куземкину:

— Начинать! Узнаем, у кого наворовано больше.

Сопронов велел закрыть избу на крюк и никого не пускать, Кеша встал было у дверей, но плач в брусков-

ском дому слышали Новожиловы. Появились и другие соседи. Сопронов диктовал Мите Куземкину:

— Самовар желтый, ведерный, да второй самовар белый! Записал? Котел чугунный. Шкап резной! Кровать железная.

Игнаха распахнул было шкаф, да передумал и решил открыть вначале девичий сундук. Агнейка ничком упала на крышку:

— Не дам! Иди к лешему!

Он сильно отпихнул девку: взял у шестка лучевник. Подсочился и нажал. Крышка отлетела, сломанный музыкальный звонок печально и тонко пропел в тишине.

— Пиши. Пара отласная. Холсты два конца. Строчи, фата кашемировка...

Агнейка, причитая, вместе с Марфой, своей матерью, покатила по полу. Жучок вдруг схватил у шестка железный ухват и хлестнул по залавку. Там все полетело, но Сопронов, с виду спокойный, обернулся к нему:

— За порчу имущества будешь отвечать по закону!

— Закон? Это какой закон? Вот тебе закон! Вот!

Жучок бил по горшкам, но Сопронов не слушал, диктовал Мите Куземкину:

— Труба самоварная, новая. Шуба крытая. Прибор чайных фарфоровых шесть, тушилка для угольев...

Игнаха не заметил, как исчез из избы Володя Зырин. «Убежал счетовод! — со злобой подумал Сопронов. — Ладно, это дезертирство мы припомним, придет срок...»

Наконец-то пошли по сеникам и подвалам. Кеша и Зоя Сопронова вязали узлы с одеждой, торопливо таскали на улицу и складывали в сельсоветские сани. Из подвала Кеша и Миша Лыткин волокли выделанные кожи, мотки пряжи, мешок с толокном, два с мукой, замороженную баранью тушу. Все это Сопронов велел возить под замок, в бывший орловский, нынче колхозный амбар.

Миша Лыткин, прикрываясь, топтался около воза. Его заинтересовало большое лукошко с вяленой брюквой:

— Это... Больно много навялено! Галанки-то.

— Наворовано того больше, — поддержал Кеша. — Я этого Жучка знаю, он вор с малолетства. Бывало, вместе с ребятами ходили по ягоды. В сеновале уснули. Я очнулся, гляжу, он черницу перекладывает из моей корзины в свою.

— Давай не рассусоливай! Плотнее клади, — командовала Зоя около воза.

«Ничего не успеть! — выходя на крыльцо, подумал Игнаха. — Дело к вечеру, а мы с одним не управимся».

Жук и Жучок, оба как пьяные, ходили по морозному дому, один босиком, другой без шапки, вскоре они как-то сразу стихли, одеревенели. Стояли посреди повети и бормотали что-то непонятное. В избе соседки оттирали снегом Агнейку и Марфу, кто-то увел из дому двоих девочек-малюток. Сопронов вернулся в дом, поглядел поверх Жука и Жучка:

— К завтрашнему утру помещенье освободить! Ты, Северьян, мою натуру знаешь, второй раз говорить не стану.

— А куда? — по-бабьи взвизгнул Жучок. — Пес! Разорил гнездо, дак ты и скажи: куда мне топерь? Со стариком-то да с детками? Ты, пес, тебе, псу, все одно на какие пеньки с...! А мне-то куда?

Но Сопронов не слушал слезных криков Жучка.

От Брусовых, уже с фонарем, он направил группу к поповнам. Он рассчитывал там на драгоценный металл. Третьим на очереди был у него Евграф Миронов, четвертым...

«Успеем ли за ночь? — мелькнуло в разгоряченном уме. — Успеем». Он сдержал, не дал свободы восторженной тряске, готовой охватить его от ушей и до пят. Словно хозяйка-большуха, что оставляет овсяный кисель на конец праздничного застолья, он оставлял Роговых, как говорится, «на верхосытку»...

Гигантские тени от ног стелились по снегу, бесшумными призраками шагали вместе с Куземкиным к церкви и кладбищу. Поповка мерцала во тьме двумя желтоватыми окнами. Куземкин шел вперед и вперед, за Куземкиным с ружьем и с женой шагал Сопронов. За ними бойко ступал Кеша Фотиев, и сзади всех торопился взопревший Миша Лыткин. Они прошли мимо безмолвного, белеющего в ночи храма. Боясь взглянуть на церковь, спеша и оступаясь с высокой тропы в снег, они миновали поповский садик. Фонарь выдыхался, коптил, наконец и совсем погас. Когда направляющий ступил на крыльцо, свет в окнах тоже погас. Тихая тьма со всех сторон, снизу и сверху сдавила пришельцев.

— Ломись! — ободрил Сопронов Куземкина. — Чево испугался?

Председатель повернулся задом к дверям. Приноровился и начал пяткой подшитого валенка бухать по воротному полотну.

х

В Ольховице с отъездом Сопронова группа понемногу потеряла боевой пыл. Чуть не весь день описывали шустовское имущество, потом пили чай у Гривенника. Под вечер по предложению Дугиной решили было идти на Гаврила Насонова, чтобы отобрать хотя бы кузницу, но сперва Усов укостылял по своим колхозным тоже срочным делам, потом прибежали за Веричевым: у него начала телиться корова. Один Гривенник да учительша Дугина и уборщица Степанида с Гаврилом Насоновым явно бы не управились. Пока в исполком не прикостылял Митька Усов да пока не отелилась веричевская корова, все бездействовали, а тут пришло убеждение, что надо дожидаться Игнатя Павловича и только потом идти кулачить Насонова.

И все разошлись.

Глубокой ночью в притихшую Ольховицу въехали две подводы. Усталые, запорошенные снегом кони с фырканием остановились у сельсовета. Из первых санок выпростался Скачков в полушубке и Фокич в пальто. Из вторых — широких — вылезло два заснеженных милиционера. Они долго отряхивались, разминались, затем все поднялись в мезонин. Лесенка наверх, казалось, не вытерпит тяжести, ступени скрипели долго и жалобно. И вот уборщица Степаниде вторую ночь подряд пришлось бегать по всей деревне...

В мезонине было не очень холодно. Едва покормив лошадей, Скачков отправил одного милиционера и Смирнова Каллистрата Фокича в Шибаниху к Сопронову, с тем, чтобы они вместе немедленно ехали дальше, в Залесную, где недавно был арестован мельник Иван Жильцов, и по другим деревням. Сам Скачков вместе со вторым милиционером остался и срочно потребовал в мезонин секретаря ячейки Веричева, а также председателя колхоза Дмитрия Усова. Веричев доложил обстановку, сказал о Сопронове.

— А вы чем тут занимаетесь? — на повышенном тоне спросил Скачков. — За весь день одно хозяйство? Вы чем думаете, головой или задницей?

И Скачков потребовал у Веричева список недонщиков. Он тщательно изучил список, поставил на нем шесть или семь красных галочек. Задумался.

— Шустова мы найдем, далеко не уедет, — сказал он. — А эти? Пачин с Насоновым... что, они у вас на особом счету? Сейчас же реквизируйте дома и имущество! Обоих арестовать! Выделить людей для охраны, отправить в район.

Веричев муром мял свою белую заячью шапку:

— Насонова с Пачиным мы не посмели трогать.

— Почему? — Скачков встал. — За какие заслуги?

— Сыновья у обоих в Красной Армии, — поддержал Веричева Митька Усов.

— Это не ваше дело! — взъярился Скачков. — Вы оба понесете партийную ответственность.

— За что, товарищ Скачков? — не удержался Веричев.

— За то, что потворствуете классовому врагу! — Он сбавил тон, заговорил тише. — Я из-за вас неприятностей наживать не хочу, поймите. Надо выправлять положение. Собрать понятых!

Пришел сонный Гривенник.

Скачков расстегнул кобуру, проверил наган.

— Учтите. Сегодня спать не придется, — улыбнулся он Веричеву. — Надо бы хоть по стакану чаю сперва.

Веричев повел приезжих к себе. Гривенник, Степанида и Усов спустились вниз, терпеливо стали ждать возвращения начальства. Зазвонил телефон. Усов взял трубку. Далекий голос Меерсона требовал срочно позвать к аппарату Сопронова.

— Да нету, нету Сопронова-то! — орал Митька. В трубке что-то шумело, как в самоваре. Провод на столбе за окном выпевал свою бесконечную ветряную ночную песню, сердце у Митьки ныло еще больше. Степанида тоже кряхтела и охала. Когда Гривенник в очередной раз вышел до ветру, Усов обернулся к уборщице:

— Это... Ты бы сходила... знаешь сама.

— Куды?

— Куды, куды! — рассердился Усов. — К людям! К Данилу да Гаврилу. Не знают ведь ничего... ни сном ни духом...

Степанида смекнула, послушалась и проворно исчезла. Провода загудели еще настойчивее. Мышь за печкой невозмутимо грызла какой-то сухарик. Митька Усов, по прозвищу Паранинец, слушал ночные звуки, ему было обидно, что к Веричеву ушли без него. «Наверняка и поллитру выставит, — думал Усов. — Веричев без вина

не живет». Вернувшийся с воли Гривенник тоже был недоволен. Усов припомнил давешний спор с Гривенником насчет Данила с Гаврилом, когда, уже под вечер, описали и заперли на замок подворье Шустова. Веричев занял колебательную позицию, учительница встала было за Гривенника. Но председатель колхоза высказал сомнение: можно ли раскулачивать колхозников? Да еще и семь-то красноармейские. Он предлагал подождать, что скажут завтра по телефону, и вот тут-то Веричев и поддержал Митьку Усова. Хорошо, что Игнахи не было, уехал шибановский раскулачивать. Но все равно ныла почему-то усовская душа! Это нытье было похоже на гул столба, на стон телефонного провода. Тревожная дрема совсем сморила Димитрия. «А чего это, председатель-то и в том колхозе тоже Митька? И в Залесной Митька, и в Шибанихе Митька...» Усов, не спавший вторую ночь, начал клониться набок, то влево, то вправо. Голова то и дело тыкалась подбородком в грудь. Вскоре он перестал сопротивляться и захрапел.

Сколько времени он спал? Топот ног и скрип наружного входа вклинились в его невыразимо приятную грезу. Он не желал возвращаться из потустороннего состояния, но здешняя неприятная сторона вновь выволакивала его к зимней растревоженной Ольховице, к Скачкову с наганом и ко многим и прочим неприятностям. «Идет!» — проснулся Усов и тряхнул нестриженной головой. Но был это не Скачков и не Веричев.

В дверях объявилась широкая фигура Данила Пачина. У порога Данило обил рукавицей налипший на валенки снег, только после этого поздоровался с Усовым.

— Ну, Димитрей, ясли-то мы добры сделали. Да жердья не хватило, вишь, надо бы в трех углах. Кто приехал-то?

— Сам Скачков да еще и с помощниками.

— Может, и нам с Гаврилом как Шустову? Семейство на воз, избушку на клюшку...

Едва помянул Данило Гаврилу, как послышался новый топот и тот сам заглянул во двери:

— Разрешите, пожалуйста!

Большая каштановая борода Гаврила была похожа на бороду отца Николая, только темнее. Не успел Гаврило поздороваться с Усовым, как половицы в сенях опять заскрипели, запрогребались, и Дымов Аким шагнул через порог, а вскоре пришли еще двое, а когда вернулись Скачков и Веричев, народу стало еще больше.

— Кто разрешил? — Скачков так поглядел на Митьку, что у того съежилось что-то внутри. — Почему не спим, граждане? Время ночное.

— Мы-то, гражданин начальник, товарищ Скачков, уснуть севодни никак не могли! — заговорил Данило Пачин. — Оба с Гаврилом вторую ночь не можем уснуть. Да ведь и ты-то не спишь!

Скачков, раздраженный, ходил по свободному месту, разглядывал всех в лицо. «А ты чего?» — хотелось ему сказать каждому, но он лишь глядел в переносицу и отходил к следующему. Он взглянул наконец и на Гаврила Насонова. Тот встал со скамьи, снял шапку:

— Позвольте, товарищ Скачков, спросить...

— Спрашивай!

— Я, значит, так... Говорят, что я записан в класс. Этот класс велено, говорят, выдрать с корнем, значит, ликвидировать. Так я, значит, и хочу спросить, кто велел меня ликвидировать? Ведь я вроде не тать, не разбойник...

Не удержался тут и Данило, перебил Гаврилову речь да и начал рассказывать, как воевали они с белыми генералами. Данило сунул в руку Скачкову «копию с копии» — письмо от Калинина. Все заговорили, и Митька Усов понял, что это он, Усов, испортил Скачкову всю обедню, понял, и вроде бы стало Усову легче. Нет, ничего не получится у Скачкова в эту ночь! Время идет, и народ идет... Поневоле придется объявлять митинг либо собрание. А тут объявился и матрос Василий! Он подошел прямо к Скачкову и, здороваясь, подал руку

— Откуда и кто? — спросил Скачков, нехотя отвечая на рукопожатие.

— Я матрос Пачин. Нахожусь в кратковременном отпуске.

— Прошу помещенье освободить! — Скачков отвернулся.

— А вы кто такой?

— Кто я, не обязательно знать! — Скачков вспыхнул.— Предъявить документ!

Матрос Василий Пачин достал из нагрудного кармана документы. Скачков долго разглядывал удостоверение и отпускное свидетельство, смотрел на печати. Василий Пачин разглядывал в это время его, Скачкова, а на них двоих напряженно глядели все остальные.

— Я хочу позвонить в военкомат лично районному комиссару,— сказал матрос и шагнул к телефону. И Усов окончательно понял, что раскулачивания не будет.

Данило, гордясь сыном, не утерпел, повернулся к народу, хотел что-то сказать, да одумался, разволновался и вдруг стал приглашать районных гостей на ночлег...

Шел третий час ночи. Гудение столба и железной жилы, протянутой в Ольховице, стало умиротворенней и тише. Может быть, погода менялась к лучшему?

* * *

Погода и впрямь менялась, но только не политическая. Через три дня в крайком Бергавиново начали поступать предостерегающие сигналы из воинских частей. Самоуправство орггруппы в Вологде возмутило секретаря. Во вторник, четвертого февраля, крайком дал округам телеграфное указание впредь до указания крайкома приостановить раскулачивание. Но на следующий день, после шифровки, подписанной Кагановичем и Молотовым, бергавиновский «либерализм» как ветром дуло, и бюро Северного крайкома приняло совсем иное постановление:

«Исходя из политики ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации и решительного подавления противодействия кулачества и контрреволюционных элементов деревни происходящим

процессам социалистического переустройства сельского хозяйства, бюро крайкома постановляет:

1. Отнести контрреволюционную верхушку кулачества края к I категории и немедленно начать ее ликвидацию¹.

4. В районах сплошной коллективизации кулачество отнести ко второй категории. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, жилье и хозяйственные постройки, предприятия по переработке, корма, семена и сырьевые запасы, а сами кулацкие семьи выселить через аппарат ПП ОГПУ в северные необжитые районы края.

5. Количество семей II категории, подлежащих переселению в северные районы края, должно устанавливаться окружками, исходя из фактического числа кулацких хозяйств каждого района, но ни в коем случае не должны превышать в среднем 3—5% общего числа хозяйств района. Цифры немедленно сообщить крайкому и окротделу ОГПУ и не проводить выселение без разрешения и плана ПП ОГПУ.

6. Остальные кулацкие хозяйства, не вошедшие во вторую категорию, отнести к третьей категории, которые подлежат расселению в пределах района коллективизации на новых, отводимых им за пределами колхозов землях.

7. Разрешить отдельным кулацким хозяйствам добровольное переселение в северные районы при условии оставления этим семьям указанного в настоящем постановлении количества инвентаря и средств.

Допустить с разрешения РИКов оставление отдельных семей, имеющих в своем составе больных членов семей или грудных детей, на постоянное или временное жительство их в прежних районах.

8. Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА. В отношении кулаков, члены семей которых длительное время работают на производстве в постоянных кадрах, проявить особо осторожный подход и выяснение их положения в производстве и отношении к своим кулацким хозяйствам.

9. Ликвидацию I категории закончить не позднее 20 февраля. Началом выселения остальных категорий определить 20 марта.

10. Списки кулацких хозяйств, выселяемых в отдаленные районы (II категория), составляются райисполкомами на основании решений собраний и утверждаются окрисполкомами.

11. Высылаемым кулакам при конфискации имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства (топор, пила, лопата и т. п.) и 2-месячный запас продовольствия, денежные средства также конфискуются с оставлением, однако, на каждую семью не более 500 рублей.

12. Для конфискации имущества райисполкомы назначают своих уполномоченных, которые производят точную опись и оценку имущества с обязательным участием сельсовета, представителей колхозов, бедняц-

¹ Следовала четырехзначная цифра.

ко-батрацких групп и батрачества. Ответственность за полную сохранность конфискованного имущества возложить на сельсоветы.

13. Райисполкомы передают конфискуемые у кулаков средства производства и имущество в колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением его в неделимый фонд колхозов. До передачи из конфискуемого имущества погашаются долги государству и кооперации (налоги, гарнсбор и т. д.). Конфискуемые жилые постройки используются на общественные нужды сельсовета и колхозов и для общежития батраков.

14. У кулаков всех трех категорий отбирать сберкнижки и облигации госзаймов, заносить в опись и направить на хранение в финорганы с выдачей соответствующей расписки. Немедленно прекратить в районах сплошной коллективизации выдачу кулацким хозяйствам их взносов из сберегательных касс, а также выдачу ссуд под залог облигаций.

15. Паи и вклады кулаков всех трех категорий в кооперативных объединениях передать в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцев их исключить из всех видов кооперации.

16. Считать обязательным, чтобы колхозы, принимающие конфискованные у кулачества орудия производства и земли, полностью их использовали в целях увеличения производства и сдачи государству товарной продукции.

17. Часть имущества, конфискуемого у кулаков (рабочий скот и инвентарь), подлежит сдаче в особый краевой фонд для использования в местах постоянного расселения кулачества (подвозка лесных материалов для постройки жилищ, освоения земель и т. д.). Поручить крайзу в 3-дневный срок разработать минимальную потребную для этой цели норму инвентаря и рабочего скота.

18. В отношении кулацких хозяйств, расселяемых на месте вне колхозных полей, окрисполкомам указать места расселения, допуская таковые лишь небольшими поселками, управляемыми специальными тройками или уполномоченными, назначаемыми РИКами и утверждаемыми окрисполкомами. Этой категории хозяйств оставить минимальные размеры средств производства, необходимые для ведения хозяйства на новых участках, возложив на них определенные производственные задания и обязательства по сдаче товарной продукции государству и кооперации. Окрисполкомам срочно проработать вопрос об использовании кулаков как рабочую силу на ряде работ.

19. Выселяемые в отдаленные районы Севера кулацкие семьи расселить отдельными небольшими — до 100 дворов — поселками, управляемыми специальными комендантами, назначаемыми органами ОГПУ. Предложить ПП ОГПУ к моменту расселения кулацких семейств выработать специальное положение о таких поселках.

20. Для предотвращения бегства кулаков со своих хозяйств и разбазаривания ими имущества предложить РИКаМ немедленно конфисковать имущество и средства производства кулаков, уничтожающих свои хозяйства или бросающих их на произвол судьбы, ПП ОГПУ повести решительную борьбу с кулаками, самовольно

уничтожающими свои хозяйства и переселяющимися в города и другие местности.

21. Учитывая особые хозяйственные и бытовые условия и необследованность оленеводческих районов, вопрос о раскулачивании самоедских, зырянских кулацких оленеводческих хозяйств обсудить особо, запросить одновременно Ненецкий окружком и Коми обком их мнения о сроках проведения раскулачивания и методах его ликвидации как класса.

Предложить Коми обкому и Ненецкому окружкому ликвидацию кулачества оленеводов не проводить до получения особых указаний крайкома.

22. Учитывая начавшееся местами стихийное и неорганизованное раскулачивание, которое, не будучи связано с подлинно массовым движением бедняцко-средняцких масс к сплошной коллективизации, превращается в голую административную меру, бюро крайкома предупреждает против таких методов раскулачивания и напоминает, что административные меры по раскулачиванию лишь только в сочетании с широким развертыванием работы по организации бедноты и батрачества, сплочению бедняцко-средняцких масс на основе и во круг социалистической коллективизации могут привести к успешному решению поставленных партией задач по ликвидации кулачества как класса и социалистического переустройства деревни.

Перед партийной организацией стоят большие трудности. Отдавая себе полный отчет в них, бюро крайкома призывает организацию принять все меры для действительно организованного и серьезного проведения этой важнейшей работы.

23. Обязать окружкомы и Коми обком каждую десятидневку информировать крайком о ходе этой работы, настроении парторганизации, рабочих и деревни.

Особые постановления:

1 В целях недопустимости возможного ухода из леса части лесорубов и возчиков в момент проведения этой операции предложить окружкомам и Коми обкому ВКП(б) по получении планов перед операцией повести широкую и серьезную разъяснительную работу среди лесорубческих масс по этому вопросу.

2. Для руководства всем делом ликвидации кулачества как класса в районах сплошной коллективизации и изъятия контрреволюционного элемента (I группа) обязать окружкомы и Коми обком ВКП(б) послать в районы своих уполномоченных.

3. Считать, что тройка из членов бюро крайкома в составе т.т. Аустрина, Иоффе (с заменой т. Конториным) и Лютина должна на весь период работы по раскулачиванию и приему кулаков из других районов Союза систематически осуществлять политическое руководство этой важнейшей работой.

Предложить этой же тройке в 3-дневный срок разработать конкретную инструкцию практического проведения всей этой операции, а также правила расселения выселяемых и порядок их работы».

Ночью текст был передан по телеграфу всем окружкомам.

Часть вторая

I

Павел Рогов лежал за шкафом в нижней избе, где была зыбка и печь. Ступня заживала худо. Из-под бурой, давно спекшейся пелены постоянно сочились бесцветная сукровица. На лапку нельзя было приступить. Великим постом на третьей седмице оба с женой перебрались вниз из верхней зимней избы. И вот целыми днями он лежал за шкафом на деревянной кровати.

Горько лежать весь день! Еще горше бессонной ночью. Он старался не думать о родной Ольховице, о пустом, охладевшем отцовском доме. Рассказывают, что, едва сани с Данилом да Гаврилом перестали скрипеть по снегу, Игнаха, держа руки в карманах галифе, на виду у всего народа направился к пачинскому подворью. Мать, Катерина Андреевна, причитала и христалась. Вокруг плакали соседские бабы. Игнаха ступил будто бы на крыльцо, потребовал у нее ключи от дома и сенников. Не дала. Он пробовал силой отнять ключи, но у него ничего не вышло. Тогда Сопронов взял ее за ворот зимнего казачка и деловито стащил с крыльца. Она успела бросить ключи в колодезь...

Павел сжал зубы и сдавленно замычал, хотел податься, но не сумел. Заплакал, кусая подушку.

Где Вера? Лампа горит. Ребенок в зыбке говорит сам с собой. Вечер или раннее утро?

Дом в Ольховице зачислен в колхоз, а брат Алешка и мать Катерина ночуют теперь в бане. Как шибановский Носопырь... Спасибо Ивану Никитичу, ездил к ним, отвез ржаной и овсяной муки.

От отца Данила Семеновича нет никаких вестей. Старший братан Василий служит на новом месте, долго не было адреса. Пришло вот только что короткое письмецо.

Божат Евграф раскулачен по третьему списку. Уезден в одну, в ту же сторону. У божатки с Палашкой все отняли, но оставили жить в зимовке. Ночами многие шибановцы не гасят огня. Мужики насаживают ухваты. Вон и Аксинья — теща — втихомолку режет по вечерам хлеб, сует на противне в печь. Для кого сухари? И как жить нынче, куда ступить? Да еще с бо́льной ногой...

А дедко Никита все так же поет псалмы.

Сколько ни просил дедко Митю Куземкина, чтобы приняли в колхоз, столько же раз Митя отказывал. Прикашливал, отворачивал рыло в сторону да приговаривал: «Нет, нет, Никита Иванович». — «Да что нет?» — «А нет, да и все. У нас, та-скать, и так лишних набрано».

Лишние были Ключины, Новожиловы и, по слухам, даже счетовод Зырин, оттого что играл на гармонии. Ванюху Нечаева тоже страшали, что отчислят при первой возможности. Не принимают в колхоз ни каталей, ни сапожников, что же про мельников говорить? Всех, кто в колхоз не вступил, велено раскулачить. Командует Игнаха из ольховского мезонина. Пес! Многих уже разорил и пустил по миру. Жучок тоже вон в один день с божатом Евграфом арестован и увезен. Старый Жук ходит по волостям с большущей корзиной, за ручки водит двух девочек-малолеток. Агнейка — старшая дочь Жучка — вместе с маткой кое-как живет в избе Самоварихи, потому что в Жучковом доме учини-

ли контору колхоза. А наш дедко — только молится да поет псалмы...

Никита Иванович по-прежнему ночевал внизу на полатах, иногда на печи и, вставая на ночную молитву, никогда не забывал качнуть разок-другой зыбку с Ванюшкой. Вера слышала это сквозь сон по легкому скрипу очеп. С вечера перед сном она наматывала на ладонь конец долгой льняной бечевки, привязанной к зыбке. Она дергала за веревочку, когда Ванюшко начинал сказываться. Муж Павел то и дело стонал во сне. В больницу бы надо, да не едет! Примочка, сваренная из коровьего масла и сосновой смолы, не вытягивает жар из ноги. Другая забота: с часу на час должна телиться Пеструха. Ветка — вторая корова роговского подворья — доилась уже вторую неделю. Теленок у Ветки родился со звездкой во лбу, ядрененький, словно гудочек. Нынче ждали второго. В начале каждой ночи Аксинья с Верой по очереди ходили глядеть Пеструху. Дедко Никита проводывал животину под утро...

В ту ночь улегся Никита Иванович второпях, без душевной оглядки. Устыдился творить молитву прилюдно, оттого и не мог уснуть. Ворочался на печи с боку на бок. Все спали, вплоть до самого маленького — Ванюшки. Одна невестка Аксинья, при увернутой лампе, сидя почти в темноте, стучала мутовкой о края рыльника: она сбивала сметану. Не терпелось ей натопить свежего масла к Светлому воскресенью.

Дедко Никита, уязвленный тем, что не удалось понастоящему, одному постоять перед иконной лампадкой, погасил наконец недовольство. Положил голову на холщовый мешок с отрубями и забылся под спокойное часовое постукивание. Около уха журчала привычная воркотня. Кот Кустик старательно убаюкивал старика. Постукивала невесткина мутовка, еще изредка скрипел березовый очеп. «Ванюшко-то вырос за зиму, а все в зыбке спит, — подумалось дедку сквозь сон. — Экой санапал. Верка-внучка вот-вот принесет второго. А первый еще лягается в люльку».

Дедко Никита улыбнулся в темноту. Он слышал во сне Аксиньины хлопоты с готовым масляным смесом. Невестка погасила огонь и ушла наверх к Ивану Никитичу.

О чем шуршит за стеной ночной снежок? Какие думы истаивают в долгую великопостную ночь? С вечера, слушая шибановские и ольховские новости, дедко Никита думал так: «Одно осталось, веки у глаз дратвой зашить, уши замазать еловой смолой. И что только не творилось нынче на грешной земле! Или раньше еще извертелся крещеный народ? Так ведь так и есть, намного, пожалуй, раньше. Может, еще при том амператоре...»

Сейчас Никита Иванович спал, зная, когда ему пробудиться. Он дремал все еще с надеждой и верой в душе. Да и сама любовь еще витала под широким роговским кровом. Ясная, неосознанная у младенца — первенца Павла и Веры. Взаимная и горячая у его отца с матерью. Подростковая любовь к родственникам была не то чтобы неприятна Сережке, но вроде бы мешала ему и показалась бы лишней, если б он осознал ее. (Уже поглядывал парень на дедок, и вот-вот должна была обозначиться одна чья-то, совсем одна и особенная.) Спит Сережка как праведник. А что говорить про любовь

Веры Ивановны, женскую, дочернюю, материнскую? Три любви у ней и все разные, одна на одну совсем не похожи. Про мужскую любовь и думать не принято. Все само собой.

Петух воспрянул под печкой. Хлопнул крылом и хотел пропеть, а вышел один грех, одно какое-то бульканье. Может, простору мало, может, не время. Дедку Никите и этого жаль — под печкой в потемках много ли развернешься? Спасибо хоть под утро поет взаправду.

Валенки сохнут у печного кожуха, жилетка тоже тут. Все под рукой.

Дедко слезает с печи, зажигает фонарь, тихо, чтобы не разбудить Веру и Павла, выходит в сени. Перед тем, как спуститься по грязной лестнице к хлевам, он снимает валенки и сует свои костлявые лапки в берестяные самими же им сплетенные ступни. Спускается вниз, к скотине. Фонарь освещает большую кучу еловой хвои, чурбан с топором, штыри с вожжами и хомутами. Надо бы сразу тесать хвою, да рановато. Неохота шуметь, будить домашних.

Дедко Никита поднимает фонарь, не торопясь оглядывает хозяйство и отворяет двери к Пеструхе. Хлев разгорожен надвое. В одной половине овцы, в другой — широкая, как баржа, Пеструха. Корова шумно и тяжело дышит. Готовая ко всему, она благодарно глядит на дедка, будто говорит ему спасибо. Дедко осматривает корову со всех сторон, успокаивает, чешет за ухом. Затем приносит в ясли охапку сена, но Пеструхе нынче не до сена. Она тревожно помыривается, когда дедко хочет уйти.

— Ну, ну, матушка, не реви,— подбадривает дедко, Пеструху.— Не реви, тут мы, тут. Подсобим, ежели...

Он поднимается вверх, меняет ступни на валенки. В избе гасит фонарь, опускается на колени и в темноте, шепотом читает перед красным углом ночную молитву. Затем он опять хочет залезть на печь, но что-то мешает ему, какое-то сторожкое чувство не пускает улечься и подремать до утра.

Который час? Бог ведает. Вон вдругорядь поет петух, теперь позвонче. Значит, около трех. Из печи уже тянет паренюю галанкой. Спят за шкафом молодые. Спит в зыбке правнук Иванушко. Сын с невесткой наверху, да и внучек Серега там...

Часы вдруг перестали тикать. В теплой темной избе установилась жутковатая тишина. Дедко на ощупь подтянул гирию, болтнул маятник, но часы походили немного и снова остановились. «Сдвинулись, видно, не станут ходить,— подумал Никита Иванович.— А на среду их ставить надо днем, на свету...»

За окном почуялся шорох. Или ветер ночной? Кот Кустик тяжело спрыгнул с печного приступка. В зеленых его глазах мелькнуло что-то нездешнее. Дедко Никита ногой отпихнул Кустика. Лампадка в красном углу еще мерцала. В темном окне старику почудилась тень. Что может быть в такой темноте? Там снегу выше колена, за окном, на той стороне. «Дедушко, а дедушко?» — послышался из-за шкафа шепот Веры. Больной Павел тоже проснулся. Дедко ничего не успел сказать. Вкрадчивый, неторопливый стук у наружных ворот услышали все трое.

Большой роговский дом замер. Напрягся каждой своей стропиной, каждой решетиной и замер, затих вместе с людьми и скотиной, вместе с каждой подпольной мышкой. Одни тараканы, кои опять начали копиться в теплых местах, водили усами из потолочных щелей.

Только ребенок в зыбке не слышал тот вкрадчивый, негромкий, но настойчивый стук у ворот. А слышен ли был тот стук там, наверху? Ивану да свет Никитичу, Аксинье и малолетку Сережке?

Дедко поднялся по лесенке к лазу, ведущему в верхнюю избу.

— Вставай, Ванька... Стукают. Видать, дошло и до нас. Сподобились...

Никита Иванович никак не мог засветить покупной железный фонарь. Спички то ломались, то гасли. Стук у ворот становился нетерпеливей и громче. Фонарь наконец засветился. Дедко открыл двери. Ступил в сени.

— Кто? — все еще не теряя надежды, спросил старик.

За воротами было тихо. Но дедко чувствовал, что там стоит человек и не один, а два или три. Они молчали.

— Открой, хозяин, милиция! — хрипло сказал кто-то.

Никита Иванович вынул из скоб еловый засов. С крыльца ногой ударили в воротницу. Передний, освещенный дедковым фонарем, в черном полушубке и весь в ремнях, шагнул на деда и вырвал фонарь из стариковской десницы. Огонь полыхнул и снова выровнялся. Никиту Ивановича властно отодвинули в сторону. Четверо, не обметая с валенок снег, гуртом ввалились в сени, спешно протопали дальше в избу, где уже горела зажженная Иваном Никитичем лампа. Он держал эту лампу, стоя босиком в белых портках и в белой холщовой рубахе. Черная с проседью борода затрещала от жара, когда Иван Никитич случайно закрыл ею воздушный ток из лампового стекла. Запах паленых волос рассмешил Скачкова, который, не снимая шубы, уселся к столу и начал расстегивать сумку:

— Из помещенья не выходить!

Аксинья, стоявшая у дверей в куть, зажала платком рот. Утробный возглас, готовый перейти на истошный крик, был задушен этим платком, а может, не платком, а суровым взглядом Ивана Никитича. Хозяин повесил светильник на пруток и прибавил огня. С белым лицом стояла рядом с матерью успевшая одеться Вера. Из-за сестры испуганно выглядывал Сережка.

Павел едва не оборвал зажатую в кулаке крашеную холщовую занавеску, отделявшую кровать за шкафом. Хотелось немедля подняться и сесть на постели. Дедко остановил его легким шлепком через занавеску: «Лежи, лежи! Ишь...»

Скачков курил, нехотя разбирая бумаги. Никогда от самых начал не пахло в роговском доме таким душистым табачным дымом! Испокон веку пахло горячей лучиной, берестой, то подгорелой ржаной коркой, то паренюй репой либо сухим праздничным солодом.

Ныне запах был новый, неслыханный. Папиросный дым слоистым облачком плыл по избе, проникал в куть и за шкаф, знаменуя новую жизнь.

Фокич, белея лысиной, сидел нога на ногу в среднем простенке, под зеркалом меж передними окнами. Не он первый старался нынче садиться промеж окон! А вот Митя Куземкин беспечно уселся напротив бокового окна. Кеша Фотиев не снял ни шапки, ни рукавиц. Стоял у шкафа, поминутно вертел головой и глядел себе под ноги, чтобы узнать, много ли натаяло снегу от его растоптанных валенок.

— Ну, борода,— глядя на Ивана Никитича, сказал Скачков,— садись ближе к столу.

— Я не в гостях, а дома,— ответил Иван Никитич.— Это уж вы садитесь, коли в гости пришли!

Кеша послушался и прошел вперед.

Теперь все «гости» сидели по лавкам.

— Значит, так! — Скачков хлопнул ладонью по столешнице.— Есть предписание к обыску. Гражданин Рогов, глава семьи кто в вашем доме?

— Да ведь, товарищ Скачков,— весело перебил лысый Фокич.— Это дело на данный момент не имеет значения.

Скачков поднялся, сверкнул глазом в сторону Фокича, но удержался от стычки, перекинул взгляд на Никиту Ивановича:

— Бери, дедко, фонарь! Веди понятых по сенникам и чуланам!

Дедко взял фонарь, но Митя Куземкин вскочил с лавки:

— Товарищ Скачков!

— Я за него,— притворно-добродушно отозвался Скачков.

— Тут нам, значит, это... Ночью не видно. Чево мы ночью увидим? Дом большой... Еще амбар с гумном. Надо днем. Мое, значит, какое предложенье? Мое предложенье...

Скачков остановил Митю Куземкина:

— Ясно. Делай чего велют!

Митя поглядел на Фокича, Фокич поглядел на Скачкова.

— Обыск! — крикнул Скачков и обвел всех торжествующим взглядом.

Вера принесла одеться отцу.

— Гражданин Рогов! Ваше хозяйство обязано было сдать гарнцевый сбор в количестве... — Скачков искал какую-то бумагу.— В количестве девяносто шесть пудов девятнадцать фунтов. Почему не сдали зерно?

Иван Никитич зашел в куть, натянул на себя верхнее, вышел и произнес:

— Я, товарищ Скачков, не мелю. Мелют вон дедко да зять, с их и спрашивай. Дедко, а дедко? С тебя чуть не сто пудов гарницу...

— Сто пудов? — подскочил к Мите Куземкину Никита Иванович.— А пошто это не двести, а только сто? Ежели Бога не боязно, дак сами-то себя побоялись бы! Научились сперва считать бы! Неужто приятно дураско-то дело?

— Считать мы умеем! — гаркнул милиционер.— И вас научим!

Скачков встал, пошел к дверям, но по пути поднял с пола фонарь и отодвинул занавеску:

— А тут хто?

Он поднял фонарь. Худое лицо Павла Рогова белело

в глубине закутка. Блеск провалившихся глаз и чуть заметное движение под обросшими скулами напугали Скачкова. Он отошел от шкафа и осветил фонарем зыбку. Подвешенная к очепу на черемуховых дужках, плетенная из дранок, пахнущая пеленками, эта зыбка вызвала у Скачкова улыбку. Но из нее по-взрослому серьезно, не мигая, глядели глаза младенца. Разбуженный мальчик не плакал, он молча слушал, а теперь по-взрослому, внимательно и даже слегка удивленно глядел прямо в глаза Скачкова.

Скачков не выдержал этого взгляда. Толкнул зыбку. Она закачалась, и Вера бросилась из кути, встала между Скачковым и зыбкой. Он прищурился на Веру и расстегнул наконец верхние пуговицы полушубка:

— Так...

— Уже утро, товарищ Скачков.— Фокич глядел на свои карманные.— А мы еще в двух деревнях не были.

— Да, да... — Скачков, казалось, был сонлив и рассеян.— Который час-то?

— Шестой, товарищ Скачков! Надо ехать...

Фокич надел шапку.

— Гражданин Рогов! — строго произнес милиционер и снова уселся к столу.— Мы вынуждены тебя арестовать и доставить в райён!

Все замерли, в избе стало тихо-тихо.

— Одевайся. Немедленно! — Скачков двумя движениями застегнул командирскую сумку. Гости дружно поднялись на ноги.

Иван Никитич начал искать кушак и шапку, дедко перекрестился и поник головой. Вера взревела вместе с Аксиньей. Заплакал ребенок. Сережка дрожал осинювым листиком.

Павел слышал все это, рванулся, пробуя встать. Он вскочил, в ярости оборвал занавеску. Обжигающая боль в ноге вышибла его из памяти.

Он пришел в себя, когда Ивана Никитича уже не было в доме. Не было и ночных гостей. Только жена и теща Аксинья тихонько голосили в избе. Плакал ребенок в зыбке, и еще слышно было, как, хлюпая носом, хныкал Сережка.

Избу совсем выстудили. Лампа еле мерцала, и все не стихало тоскливое причитание Аксиньи и Веры. Павел хотел утешить хотя бы жену и громко позвал ее. Вера не отозвалась. Где же дедко Никита?

Дедко неожиданно, с фонарем появился в избе:

— Бабы... Пеструха-то телится.

Женский рев сразу же стих, как по команде. Вера, Аксинья, дедко — все трое ушли в хлев, к Пеструхе. Сережка тоже перестал хлюпать носом и начал качать зыбку с племянником...

И теперь уже сам Павел безмолвно заплакал, кусая подушку. Сердце, как пойманный стриж, билось в ребра, боль в ноге отзывалась во всем теле с каждым его ударом. Павел вновь забылся в тяжком беспомоществе. Над ним опять громоздились причудливые виденья. Мельница махала белыми крыльями, то вдруг падала на него и давила, то снова чернела и останавливалась, то оборачивалась зимнею лошадиной мордой, хрипела над самым ухом. А то вдруг ружейное дуло упиралось из тьмы, росло и глядело черным своим оком.

Видения таяли, исчезали, когда он перебарывал лихорадочное забытьё. И вспомнил он тот знойный полдень с купаньем на лошади, как, спасаясь от оводов, заехал на Карьке прямо под шибановский мост. Может быть, зря бросил в омут тяжелый масляный сверток?.. Нынче ночью он разрядил бы патрон прямо в черную шубу либо в белую лысину веселого гармониста. Разнес бы обоих в пух и прах... А чем бы кончилось? Нет, все не то. Да не сгинет терпенье... Мог бы ведь и тогда в сеновале убить Игнаху, лишит его белого свету. Мог бы... Да мог ли бы сам-то жить после этого? А пошто оне-то? А оне ведь, наверно, так: убьют, а после всю жизнь мучаются. Мучает их, корежит совесть, вот они и злятся, и убивают вдругорядь. А грабят попутно. Так и живут, пока самих не прикончат... Увели тестя Ивана Никитича. За что? За мельницу. Он, Павел, сблазнил, построили на свою шею. Неужто все из-за мельницы? Да нет, не все! Отец за так отдал толчею в коммуны Митьке Усову, а ведь один бес, загребли Данила Семеновича. Есть — отымут и самого уведут, а и нет — тож уведут. Как татарское иго. Где слой-то найти?

Он вновь забывался, и вновь наплывали со всех сторон кошмары. Слышал, как Вера прикладывала ко лбу мокрое полотенце: «Паша, Пашенька!» Родной голос, родные жесткие пальцы. Волосы не прибраны в кокову. Что это она? Нет, это не волосы Веры, это сыплется на лицо теплая мельничная мука... Сыплется, не дает дышать. Ночь, мрак. Тяжко, ничего нет. И он, Павел, умрет сейчас, его не станет...

Павел пришел в себя, нащупал на шее крестик и льняную жилку гайтана. Крестик съехал на сторону и лежал на плече, а родная жесткая ладонь жены Веры Ивановны лежала на лбу. Сердце билось ровнее и медленней. Павел заснул.

Он пробудился от ноющей боли. Что и когда случилось? Он не знал. Вспоминал долго и горько. Был день, тихо скрипел очеп. Ни жены, ни дедка, ни тещи Аксиньи, только тихо скрипел очеп. Павел отодвинул занавеску: зыбку качал Серега. А за печью, совсем рядом, корячился, пытался встать краснопестрый теленок. Задние ноги уже держали его плоское тельце, передние покамест никак не слушались. Большие глаза глядели и мигали: мол, что такое? Почему ничего не выходит? Павел с улыбкой глядел на прибыль. Жар в ступне вроде бы начал спадать, дышалось легче. Вспомнил все, что случилось. Позвал Сережку, спросил, где дедко, где Вера и теща Аксинья. Сережка сказал, что Вера плакала наверху, сейчас перестала, что дедко рубит фою, а мамка ушла гадать на клюшинской Библии.

— Сережа, иди-ко поближе,— позвал Павел.— Есть у тебя тетрадка с ручкой?

— Есть.

— И чернило есть? Садись за стол и пиши, пока Ванюшка спит. Я буду говорить, а ты пиши...

Сережка так и сделал.

Павел Рогов медленно, слово за словом, продиктовал письмо брату Василию:

«Добрый день или вечер, здравствуй, дорогой брат Василий Данилович. Во первых строках своего письма сообщаю, что наш отец Данило Семенович был увезен из деревни в райён и

больше от его нет никаких вестей. Еще увезен кузнец Гаврило Насонов. Дом наш в Ольховице весь раскулачен. Матка с Олешкой живут в чужих людях. Да и тут в Шибанихе все одно, такая-жо свистопляска. Божат Евграф арестован, и севодняшней ночью арестовали отца Веры Ивановны Ивана Никитича. Будто бы не выплачен гарнец 96 пудов 19 фунтов жита. Наверно, будут судить. Так что не знаем, как жить дальше. В остальном все мы здоровы, чего и тебе желаем. Опиши, как идет служба и каково здоровье, а ежели можно, то помоги нам каким советом.

Остаюсь твой родной брат Павел».

Сережка закончил письмо и поставил точку.

— Число обозначь! — подсказал Павел.— И отдай дедку, пусть запечатает и сразу пошлет в Ольховицу. Где дедко-то? Сходи, позови.

Сережка сходил на сарай, покликнул дедка. Спустился даже по лесенке.

Но старика у хлевов не было, только топор торчал из чурбана, на котором тесали хвою.

Вера сошла вниз и отпустила Сережку в школу. Заплаканная, с коричневыми пятнами на лице, брюхатая, она даже сейчас стеснялась показываться мужу при дневном свете. Он не понимал этого и сердился.

— Очнулся, слава Богу...— Вера присела на пристомье за шкафом, потрогала ему голову.— Паша, как жить-то будем...

— Не плачь...

— Мне тятю жаль... Увезли и без подорожников. Торопятся. Бабы сказывали, что ищут каково-то Ратька, скорей поехали.

— Какого Ратька?

— Украинча.

Павел терял силы. Боль в ноге опять росла, отнимала его от белого света. Он осторожно погладил большой живот Веры Ивановны. Промолвил:

— Ты это... побереглась бы... Ноши не подынай, по воду не ходи...

И вновь забылся, вновь жаркая лихорадка начала кутать его в тесную смертную пелену...

Вера побежала искать мать Аксинью либо дедка Никиту. «Сама запрягу...— твердила она на ходу.— Сама поеду за фершалом. Господи, подсоби! Не оставь, смилостивись... За што на нас горе с бедой, чем провинились?»

* * *

Не в первый раз собирались везти Павла в Усташиху к фельдшеру, но каждый раз, как только доходило до запрягания, он ехать отказывался.

Не в первый раз и Аксинья просила у дедка Клюшина Библию, чтобы узнать судьбу. Клюшин сердился, называл бабу тягу к гаданью бесовским помыслом. Не давал Клюшин книгу, но Аксинья рассчитывала на клюшинскую невестку Таисью. Когда старик выйдет из дому, они и возьмут книгу, хоть ненадолго. Либо Сережку вызовут, чтобы почитал. Но сегодня Клюшин никуда не спешил, а тут как назло присеменил вслед за Аксиньей и дедко Никита. Куда было податься, как не к соседям, с кем посоветоваться в горькие дни?

За самоваром с постной едой, без самовара и без угощений судили-рядили, разбирали шибановские дела. Между выгями и хождением в гумно или к скотине говорили и говорили.

Дедко Ключин тряс седой бородашкой, рубил ладонью по воздуху:

— Аблаката надоть, Никита Иванович, аблаката! Искать! Денег не пожалеть, корову продать, а найти.

— Да где ево найдешь?

— Как это где? В Питере! Ты ведь знаешь зарышанто! Бывало, ишшо при старом прижиме. Саша-то зарышенский приехал домой, вокурат на Петров день. Девки косят в одних рубахах, он при часах и в манишке. Щиблеты как зерькало. Бывало ходил в одних ступнях, попов гонял из дому пердежом. А тут приехал чик-брик! Моему Степке привез ремень, широкой такой, с застежками. Да... Застежки-ти, значит, медные, как у книги.

— Помлю, помлю,— кивал дедко Никита.— Этот Саша еще говорил противу царя. Людям давал брушурки. Бесплатные.

— То и есть! — прискакивал на табуретке дедко Ключин.— Давал, он давал брушурки нашим ребятам, а в пятом году его и самого взяли за гребень. Две, говорит, нидили высидел в каталажке-то! А и не один бы год просидел, кабы не аблакат. Дело-то уж каторгой пахло, а выручил, говорит, еврей-аблакат. Евреи питерские, оне все почти аблакаты. Ведь и сам Ленин был аблакат! Бывало, о празднике говаривал Саша-то: того целовека буду споминать по край своей жизни! До смерти буду добром поминать, как он меня выручил! Кабы не он, таскал бы, грит, я счас железные кандалы на руках, не пил бы ржаное пиво!

Дедко Никита с отрадою слушал Ключина. И мысль о спасительном «аблакате» уже не казалась ему детской забавой. «Што, ежли качнуться к этому? Который приезжал в Ольховицу-то? Говорят, недавно в Залесной видели. Не тот, который плясал по кругу, а другой, рыжие волосы. Найти бы ево, авось подсобит... Эх, забыл, как звали-то...»

И старики начали сообща вспоминать имя и отчество Меерсона.

II

В начале марта судьба загнала Якова Меерсона в деревню Дворище, стоявшую наособицу, на высоком холме, но вдали от большой дороги. Это был угол волости, куда напрямую из Шибанихи не содержалось ни зимней, ни летней дороги. Ездили только кружным путем через деревню Залесную. Возвышенность, на которой стояло Дворище, обширным болотом отделялась от шибановских сенокосов.

Кампанию по сбросу колоколов, притихшую в январе — феврале и отодвинутую раскулачиванием, специальным распоряжением из Вологды было приказано начинать сначала. Райфо выделило для этого изрядные средства. Райком поручил эту кампанию Меерсону.

Яков Наумович ночевал в Дворищах в избе местного активиста, который брался вчера спихнуть колокол. Деньги — семьдесят пять рублей — выданы были вперед. Колокол, по словам обывателей, весил всего пят-

надцать пудов, но за целый день его так и не сумели отцепить и спихнуть.

Кровать в избе, застланная неизвестно чем, имелась всего одна. Меерсон предпочел для ночлега жесткую горячую печь. Спал очень немного. Всю ночь поворачивался с боку на бок, боясь обжечься, заснул только утром. Теперь, проснувшись от детского возгласа, он открыл глаза и ужаснулся. Весь потрескавшийся от времени потолок был заселен рыжими тараканьими полчищами. Вчера, в темноте, он не заметил их. Насекомые торчали везде и настороженно шевелили усами. Особенно густо их было около трубы. Скрипела гибкая березовая жердь с младенческой зыбкой — как ее, очеп, что ли? Слышался шепелявый детский лепет второго ребенка. Этот — с утра настойчиво просил сказку.

«Где я? — жалея себя, подумал Яков Наумович.— Как оказался в этом странном мире?» Казалось, еще совсем недавно он жил в Петербурге, ездил в Гельсингфорс и через день менял крахмальные воротнички.

Тараканы, вода усами, стояли рядами вдоль пазов и потолочных щелей. Пахло репчатым луком, валенками, печным дымом. «Для чего было делать революцию в подобной стране? Еще не исчезли феодальные отношения...» Так словесно думал ночлежник, на самом же деле внутренне он думал о своих, все еще не сбывшихся планах переезда в Вологду или в Архангельск.

Скрипел очеп, старуха в избе монотонно рассказывала, почти пела для своего раннего внука:

— Шла лисичка по дорожке, нашла скалочку...

«Что такое скалочка? Наверное, что-то железное,— подумал Яков Наумович.— Что ж... Пусть будет скалочка».

— Попросилась Лиса ночевать, хозяин ее спрашивает: ты чья будешь? Я лисичка со скалочкой. Ну, места хватит, ночуй. Ночью она скалочку сунула в печь, скалочка утром сгорела. Лиса спрашивает: куды девали мою скалочку? Подайте мне курочку, ежли скалочки нет! Делать нечего, дали курочку. Вечером стучается в другой деревне: пустите, пожалуйста, вся измёрзла. Да одна ли ты? — спрашивают. Нет, я с курочкой. Ну, места хватит, ночуй. Легла Лиса спать. Сама на лавочку, хвостик под лавочку. Ночью она курочку съела, а утром спрашивает: где моя курочка?

«Какая дремучая затрапезная чушь,— подумалось Меерсону.— Где же я? Почему оказался на этой тараканьей печи?»

В избе под скрип очепа, с домашней хрипотцой, с поплевыванием на нить (старуха еще и прядла) речитативом произносились постные усыпляющие слова: «Идет Лиса, идет и поет: шла лисичка по дороге, нашла скалочку, на скалочку дали курочку, на курочку дали чиченьку...» Раздался детский возглас:

— Бавуска, бавуска, ты гуся пропустила!

— О господи, царица небесная, все-то он углядит. Ну, слушай, коли. Опеть она в новой деревне ночует. Легла, ночью гусыню-то съела и говорит: где моя гусочка? Подавайте овечку мне, коли гусочки нет, пустая не уйду. Нечего делать, пошла хозяйка в хлев за чичкой. А хозяин-от, тот поумней был. Взял да и положил в мешок собаку, заместо овцы-то. И подал мешок Лисе.

Лиса идет по дорожке и знает поет. Вдруг навстречу идет Волк. Куды, кума, пошла? А вот, куманек, у меня чичка в мешке, пошла домой обряжатся. Волк, зубами щелк, тожо поись-то охота. Говорит: возьми меня с собой. Нет, кум, я и одна дойду. Пошел Волк своей дорогой, а Лиса идет да поет. А тут мешок-то взял да и развязался, собака из ево выскочила. Лиса подол подобрала да от собаки бежать!

Послышался восторженный детский смех.

— Добежала до лесу да юрк в нору! Пришла маленько в себя и спрашивает: ножки, ножки, вы чего делали? А мы все бежали, Лису от собак спасали. Глазки, глазки, вы чего делали? Мы все глядели, куды бежать сподрушнее. Ушки, ушки, а вы чего делали? А мы слушали, нет ли кого с боку да спереди. А ты, хвост? А я, хвост, меж ног путался, Лисе бежать мешал! Рассердилась Лиса на свой хвост и говорит: нате, собаки, дерите его! Она и высунула ево из норы-то. Собаки во хвост вцепились и всю Лису из норы выволокли.

Меерсон начал слезать с печи.

— Что, батюшко, пробудивсё? — Старуха отложила прялку.— Невестка-то к ковахозной скотине ушла, а сын лошадь запрягать. Вот у нас тут и рукотерник у рукомойника.

— Хорошо, хорошо,— пробормотал Меерсон, надевая бурки. Накинул на плечи меховую бекешу, без шапки вышел в холодные сени. Не найдя уборной, он выбрался через воротца в огород и завернул за угол слева.

Перед ним открылась удивительная картина. Никогда в жизни не видел он зимнего солнечного восхода. Над лесами, над белыми снегами полей бесшумно вставал зоревой розово-красный разлив. Со всех сторон слышались какие-то странные булькающие звуки.

Деревня была выстроена на заметно высоком уровне. Внизу, за темными болотными перелесками, четко дымили другие деревни. Шибановская колокольня, которая и была сегодня нужна, маячила как бы совсем рядом. Почему же ему сказали вчера, что до Шибанихи больше пятнадцати верст? Да потому, что дорога даже зимою идет в обход болота.

Довольный своей догадливостью, Меерсон поднял воротник бекешы (уши зябли), наскоро сделал несколько приседаний и направился было в избу, но увидел еще одно непонятное представление.

Прямиком по снежному полю, без всяких дорог, вышагивала фигура какого-то мужика в коричневой шубе. Мужик приближался. Он топал по снегу как по асфальту, шел, как Христос по водам.

Свежо было и голове и ушам, но пришлось еще потерпеть: Яков Наумович ждал мужика. Но чего же ждать? Нельзя ли и самому прямо по снегу пойти навстречу аборигену?

Ногою, обутой в белую бурку, Меерсон топнул по насту. На снегу даже не осталось следа каблука. Ступил и сделал два шага. Бурая, причем рваная шуба бежала уже соседним огородом, держа под мышкой букет зеленых сосновых веток.

— Эй! — позвал Меерсон.— Здравствуйте, милейший. Что это вы несете?

— Да вот, лапок на помело.— Шуба остановилась и подошла поближе.— Доброго здоровья.

«Кажется, этот человек был вчера у часовни»,— подумал Меерсон и сказал:

— Я не имел представления, что можно ходить по снегу. Скажи-ка, милейший, а сможешь ты пройти прямо в ту деревню?

— В Шибаниху-то? — Мужик широкими, тоже рваными валенками сделал от холода перепляс.— Да как сказать. Мне можно, тебе нельзя.

— Почему же нельзя именно мне?

— Ежели бегом, так можно,— в задумчивости сказала шуба.

— Так, так. Значит, бегом? Марш, марш вперед, рабочий народ. Прикажете мелкими перебежками? Что ж, милейший, благодарю за ваши рекомендации.

— Не на чем! — Шуба, не замечая меерсоновского негодования, ускакала за баню.

«Вполне гоголевский типаж! — подумал Яков Наумович.— Но кто из нас бегать будет, это еще посмотрим».

Солнце всходило.

Старуха щепала в избе лучину. Сына ее с лошадью все еще не было. Ребятишки уже заняли печь.

— Видно, супонь убежал искать,— оправдывалась старуха.— Супонь-то у нас худая, веревочная.

«Зачем лошадь?» — подумал Меерсон. Помывшись и обсушив лицо собственным полотенцем, он ощутил прилив альтруизма. Неожиданно для себя решительно заявил:

— Очень был рад у вас ночевать! Скажите сыну, что подвода не требуется. Пойду пешком, прямо по снегу.

— Да что ты, батюшко? Куды? Ведь счас самовар skipит! — Старуха даже расстроилась и отложила прялку.

Но Меерсон не стал ждать самовара. Проверил в портфеле оставшиеся деньги, застегнул бекешу, надел пыжиковую шапку, перчатки:

— Скажите сыну, что в подводе нет необходимости.

И (опять же очень довольный собою) покинул избу. Он вышел за огороды.

Наст, казалось, звенел, и снег под каблуками просто надрывался от скрипа. Вокруг было так много этого снега, так яростно светило восходящее солнце, что глаза начали было слепнуть. Но вскоре привыкли. Морозный воздух саднил в бронхах. «Куда спешить? — подумал Яков Наумович.— Тут не более шести километров».

За изгородями открылся широкий белый простор.

Поле шло под уклон, к болоту, поросшему ивняком и редкими сосенками. Меерсон вспомнил о шоколадной плитке, на ходу открыл сумку и отломил две порции. Подумал: «Через час-полтора можно достигнуть Шибанихи. К вечеру буду в Ольховнице. Послезавтра есть возможность попасть в райцентр. Пора, давно пора звонить или ехать в Вологду! Редактор «Красного Севера» Турло уже в Архангельске. Обещал же помочь... Сколько можно ждать?» Хотелось в Москву, в крайнем случае в Ленинград или даже в Архангельск, но Меерсон терпеливо ждал перевода. Он был уверен в себе, надо было просто иметь терпение.

Слепящие белые поля плавилась серебряным, при-

зрачно дрожащим морозным маревом. Какое-то гортанное бульканье слышалось в воздухе. Вдруг раздался еще более странный звук — широкий и мощный. Что это?словно шелест какой-то грандиозной книги. Яков Наумович в недоумении остановился. Прислушался. Но шелест не повторился. Одни какие-то булькающие звуки доносились с болота. Вот они, ближе и ближе. Лишь подойдя к токовищу метров на пятьдесят, Меерсон понял, что это тетерева. Птицы тяжело, одна за другой, снимались и улетали к лесу. Он насчитал их больше десятка и пошел дальше. Там и тут, на снегу, видны были шарики заячьего помета. Старые следы, тоже, видимо, заячьи, выветренные и выпуклые, виднелись по насту снежными бородавками. Болото и дальний лес заслонили колокольню Шибанихи, но переход ориентировался теперь по солнцу. Оно вставало все выше и уже начало пригревать. Странный, широкий и мощный звук, похожий на шелест свежей, раздираемой перед сном простыни, вновь удивил и даже напугал путника. Что это? Яков Наумович остановился, сделал шаг, второй, и вдруг наст под ним раскололся и слегка осел с тем же самым характерным шелестом.

Он не понял вначале, чем грозит ему этот широкий шелест, но зашагал быстрее. Болото едва началось. Наст, правда широкими пластами, начал обрушиваться все чаще. И вдруг нога валилась в снег по колено: синий, крупичатый, снег этот посыпался за голенище. Меерсон вылез на твердое место. Шагнул, но через два метра провалился в снег по пояс.

Родившись где-то внутри живота, страх объял его всего. Яков Наумович попробовал успокоиться и осмыслить случившееся. Осмыслил, понял и ужаснулся еще больше. В отчаянии он влез на снежную корку, однако наст снова обрушился. Меерсон влезал и влезал на снежную бровку, наст же, точь-в-точь как лед на воде, обваливался и обваливался. Путник то и дело барахтался в глубоком снегу. Чуть ли не вплавь преодолевал он метр за метром. В рукава бекеши и в голенища бурок набился снег, перчатки были мокры. Руки и ноги начали мерзнуть.

Солнце подымалось выше и выше. Оно быстро и окончательно размягчало снежную корку наста...

Меерсон обессилел, выдохся и, охваченный страхом, замер в снегу. Голова его едва возвышалась над снежной бездной. Но какое-то странное неосознанное упорство не позволяло ему кричать и звать на помощь... Отдышавшись и снова придя в себя, он увидел синее бездонное небо. Он отвернулся. Разглядел предательский край размягченного, ослабленного утренним солнцем наста. Над белой коркой плавилась дрожащая бесцветная пленка. Под коркой мерцала синеватая крупчатая кристаллическая масса. Совсем близко низкие бледно-зеленые сосенки безмолвно грелись на солнце. Рыжая хвостатая лиса, подняв лапку и сонно шурясь, глядела в сторону Меерсона. Он не заметил ее. Ноги в бурках и руки в перчатках заныли от холода. Яков Наумович собрал все силы и снова, как бы вплавь, начал выбираться из глубины болотного снега, наползать на край наста. Он наползал, а наст под ним рушился. Он руками, ногами и даже портфелем отпихивался от снежной сыпучей массы, пока не понял, что все

это совершенно бесполезно. Силы кончились. Лиса, распушив хвост, удалилась от него легким быстрым наметом. Вскоре она остановилась, повернула на человека вострую мордочку и замерла, ждала, что будет дальше.

* * *

В ту ночь Акиндин Судейкин спал тоже что-то уж больно плохо: все кряхтел и ворочался. Думал сперва про Ундера, потом про корову. То, что скотина нынче колхозная, никак в голове не вмещалось, да только не это больше всего мучило Акиндина!

Не мог он никак забыть про тот глупый момент, когда потрошили поповский дом. Сопронов раскулачил сперва Жучка и поповских дочек. Наутро дошла очередь до Евграфа Миронова. Норовил обделать и Роговых, да не успел, приехала из Ольховицы милиция и увезла Игнаху в Залесную. Искали какого-то выселенца. И работы в Залесной у них было побольше... В тот вечер, когда Сопронов начал кулачить учительниц, Киндя сидел как раз у Евграфа. Одна поповна, вся в слезах, прибежала к Мироновым. Помогите, спасите, мол, а что можно было сделать? Евграф и сам с часу на час ждал незваных гостей, даже огня в лампе не зажигали. Киндя вышел тогда от Мироновых, а Селька-Шило тут и топчется. Увидел Селька Киндю и присел за колодец. «Что, Сильвестр, на посту нонче? — крикнул Судейкин. — Стой, батюшко, стой. Хорошее дело!»

Хорошее или худое, а деревня пережила-таки и ту долгую ночь! Обе поповны ночевали в чужих людях, утром протопили избу просвирни. Жучка и Евграфа отправили сперва в Ольховицу, потом в район, а старый Жук с корзиной пошел по миру. В доме Жучка учинили новую контору колхоза, а Зойка Сопронова на той же неделе перешла жить в поповы хоромы.

Что тут скажешь и станешь делать?

Акиндин видел, как из Поповки, еще до Зойкиного переселения, Митя Куземкин тащил в читальню часы с гириями. После такого дела осмелел и Кеша Фотиев: унес домой чуть не новое стеганое одеяло. Ну а потом и пошло! Многие в тот день приложились к поповскому дому, в том числе и он, Киндя Судейкин. Вертелся тогда в уме один вопрос: а кому-то достанется граммофон с трубой? Думал, думал Судейкин об этом граммофоне и — дернул его нечистый дух! — тоже подался в Поповку, следом за Мишей Лыткиным: Забрал Киндя граммофон и приволок домой. Прямо с пластинкой. И даже завел на радость девочкам. Хорошо женщина пела, выводила от всего сердца. «Вы-я-ль-це-ва,— прочитал Судейкин фамилию. — Не чета моей балалайке». Он готов был слушать эту пластинку каждый день, но тут пробудилась и начала грызть совесть, а вслед за ней поднялась и жена: «Снеси обратно!»

Акиндин понес граммофон обратно в Поповку, но там уже командовала Зойка Сопронова, и Селька-Шило стучал топором на сарае. Судейкин вспомнил, что учительницы поселились в пустой клетине бывшей просвирни. Больше негде им жить. В бывшей приходской школе, где обитал когда-то отец Николай с попадией, давно развалены печи. В просвириной избе было про-

топлено, но дымно и неудобно. На лавке в верхней одежде сидела младшая, Марья Александровна, сидела и плакала. Старшая ушла в Ольховицу искать справедливость. Ищи ее свищи, ту справедливость! Зря и ушла. Судейкина то и дело кидало в краску:

— Марья Олександровна, это... значит... — Он поставил граммофон на стол. — Принес. В полной сохранности.

Учительница даже не повернулась в сторону Кинди. Он потоптался немного у дверей и подался домой. И вот все последнее время Судейкина мучила совесть...

Сегодня, уже под утро, Киндю неожиданно осенило: «А несую-ко я им зайца!» На сердце враз полегчало. Все бы ладно, но зайца-то надо было еще и поймать. Ружья у Кинди не было сроду, зато имелись клепцы, и по зимам он держал небольшой охотничий путик в болоте. Правда, путик Судейкина пересекался с нечаевским. Клепцы — штук шесть — были поставлены сразу после лесозаготовок. Зайца нынче развелось много, Киндя с помощью ржаного кислого теста начал выделывать шкурки. Пушистые, легкие и белоснежные заячьи хвостики рядами висели на ниточках под матицей для детской забавы.

Судейкин, еще до того как жена затопила печь, оделся и встал на лыжи, не спеша выехал на свой путик. За лесом в болоте он сразу увидел, что кто-то чернеет и молча шевелится в снегу. «Медвидь, что ли?» — взволновался Судейкин. — Так ведь медведи зимой спят в берлогах. Нет, не медвидь, а живой человек!»

Судейкин съехал с лыжни, приблизился и увидел уполномоченного, который года полтора тому назад запирали в ольховский амбар шибановских стариков, запирали за то, что они выстегали Сельку Сопронова. Он же самый чистил и местную партийную ячею, а больше Судейкин его не видывал.

— Та... та... товарищ! — заикаясь, пробормотал Меерсон и снова попытался выбраться из глубокой снежной воронки. — К-к-как ваша фамилия?

«Вишь, язык у него не ворочается, совсем замерз», — подумал Киндя и спросил:

— Ты тут кого ловишь?

— П-п-прашу, п-п-помогите!

— Эк тебя угораздило! — Судейкин подал Меерсону черень веселки, с помощью которой ставят и припорошивают снегом клепцы. — Держи, ежели дуж!

Уполномоченный ухватился, но Судейкин с одного раза не сумел вытащить его на поверхность наста. Только после многих попыток, по веселке, а потом боком, уполномоченный выкатился из снежного плена.

— Садовая голова! — ворчал Киндя. — По насту ходить надо до солнышка и тоже умеючи. Чево в низину-то сунулся?

— Х-х-хотел прямо! — выдохнул Меерсон.

— Прямо-то одне вороны летают. Ты бы шел, где бугор да голое место, выбирал бы, где крепко. Не вставай, опять провалишься!

Уполномоченный покорно затих, лежа на левом боку.

— Что нонче мне с тобой делать? — вслух размышлял Судейкин. — За другими бы лыжами съездить?

Уполномоченный зашевелился, выражая тревогу.

Киндя положил веселку на снег и ступил на нее, снял сперва одну лыжину, после другую.

— Ладно, коли! — решительно сказал Судейкин. — Вставай на мои. А я как-нибудь без лыж выберусь. Не встать? Ну так ложись на их! На обе!

Меерсон закатился на широкие самодельные лыжи. Судейкин, не сходя с веселки, распустил бечеву, на коей таскал свои лыжи, когда ходил по дороге. Прodel в дырки веревку, а другой конец привязал к поясному ремню. И опустился руками на снег. Стоял Киндя на карачках, чтобы не провалиться в снегу, держал веселку попереки и опирался ею на слабеющий с каждой минутой наст. Дернул, сдвинул воз на пол-аршина, дернул еще. Бекеша и портфель тащились по снегу, тормозили движение...

Судейкин выволок воз на чистое, без кустиков место. Наст тут был прочнее, отсюда недалеко и до путика. Лыжня на путике еще крепче, она подымала человека без лыж. Киндя вытащил уполномоченного на путик, встал на ноги и шапкой обтер пот с лысого лба:

— Теперь правик! Выбрались.

— С-сп... Очень благодарю, — услышал спаситель.

С помощью Судейкина Меерсон попробовал встать и чуть не слетел с путика. Казалось, что уполномоченный совсем ослаб и замерз. Судейкин велел ему опять закатиться на лыжи и протащил его до самых гумен. Только на широкой, твердо укатанной дороге Меерсон наконец поднялся на четвереньки. Судейкин подсобил ему встать на обе ноги:

— Вот, брат, каково не умеючи-то!

Меерсон не ответил, ему тяжело дышалось.

Вскоре с помощью снежного охотничьего весла и самого охотника уполномоченный района добрался до первого шибановского проулка. Судейкин хотел увести его к себе, предлагал затопить баню, чтобы не заболеть и прогреться. Но Меерсон отказался. Спросил лишь, где живет учительница Ольга Александровна Вознесенская. Киндя обиделся, но виду не подал. Довел подопечного до избы просвирни и показал на ворота с высоким крыльцом.

«Нате вам! Заместо зайца целый уполномоченный!» — сказал про себя Судейкин и был таков.

Меерсон, пытавшийся достать деньги и отблагодарить Судейкина, оглянулся с крыльца. Но спасителя уже не было, его и след простыл...

Вопреки всем неблагоприятным обстоятельствам, Яков Наумович не заболел и не простудился. Сестры Вознесенские отогрели его малиновым чаем, снабдили сухими теплыми валенками. Вскоре одни потерянные в снегу очки напоминали ему о морозном плене. Уже к середине дня он, бодрый и помолодевшим от всего случившегося, держа портфель под мышкой, вышел на высокое крыльцо церковной избы.

То, что Яков Наумович увидел с крыльца, было для него совсем уж неожиданным, повергло опять в короткое изумление.

Внизу, перед крыльцом, выстроенные в ряд, стояли пять шибановских стариков. В самой середине, одетый в черную суконную, переходящую от отца к сыну, трой-

ку, в табачного цвета полукафтани, в черных с галошами валенках стоял Никита Рогов. Он держал в руках выбеленный тонкого холста плат с кружевами и красными строчками на концах. Через этот холщовый плат старик держал круглый подовый каравай. По правую руку от Никиты Ивановича стоял дедко Ключин — сухой и маленький, как подросток, в дубленой шубе. С краю торчал длинный старик Новожилов, на нем была крытая шуба. Слева от дедка Никиты перетаптывался Савватей Климов в стеганной на куделе солдатской перешитой шинели, рядом с ним, с краю, подобно огородному чучелу, весь в заплатах недвижно стоял кривой Носопыр.

При виде уполномоченного старики дружно обнажили свои сивые и лысые головы. Никита Иванович, уже и до этого стоявший без шапки, вышел вперед. Подавая приезжему каравай с полотенцем, сказал:

— Милости просим.— Никита Иванович слегка поклонился.— Прими, Яков Наумович, хлеб-соль, не побрезгуй!

— Благодарю, я полностью сыт.— Меерсон сошел с крыльца.— Мы пять минут назад пили чай. А вы? Что это вы держите? Жалоба?

Дедко Ключин занял место Никиты Ивановича. Он подал Меерсону исписанный лист. «Фабрика Сумкина»,— мельком подумал Яков Наумович и взял бумагу. Глаза Ключина слезились, редкие сивые волосы шевелило холодным мартовским воздухом.

— О чем, граждане, жалоба? И почему не послали по почте?

Старики надели шапки и обступили Меерсона, заговорили все сразу.

— Ну, хорошо, хорошо, выясним.

Меерсон заторопился в сторону лошкаревского дома, где размещалась шибановская читальня. Старики так и стояли с непокрытыми головами.

— Вот и вся недолга! — произнес Савватей Климов.

— Кроши хлеб воробешкам,— сказал Новожилов.— Здря и пекли.

III

«В нашей читальне хоть волков морозь,— мысленно ругал Сельку председатель колхоза Куземкин.— Экая холодрыга!»

Митя все утро ходил наискосок от газетного угла к лошкаревской еле тепленькой печке и обратно. Уполномоченный гостил у наставниц. Об этом доложил председателю Киндя Судейкин. У Мити было время подумать. Забот, правда, в колхозе прорва, инструкций из района никаких. Должности всего три: он, да Зырин, да еще кладовщик Миша Лыткин. Скотина, инвентарь, гумна — все взято на учет. Но что дальше-то? Солому и сено таскали кому не лень. Коров бабы доили по очереди. Молоко колхозники делят медным ковшиком у Тани в избушке. Кони стоят на трех подворьях — их кормят по очереди. Овцы, куры, переписанные, живут в трех местах. К этим ходят постоянные люди. Имущество Жучка записано в неделимый колхозный фонд..

Дом поповских сестриц тоже приписан в колхоз, в него-то и вселилось сопроновское семейство. Не пустовать же такому хорошему дому!

На этом месте мысли председателя оборвались, коридорные половицы скрипом возвестили о приходе уполномоченного. Вошел Меерсон в бекеше, с портфелем. Торопливо пожал руку Мити Куземкина. Он сразу уселся к столу. Раскрыл портфель, близоруко глядя в бумаги, произнес:

— Чем вы руководствовались, когда выселяли из дома учительницу Ольгу Александровну Вознесенскую?

Митя растерянно заморгал, заглядывался, но надеяться было не на кого. Голос начальника был строг и без всякой пощады.

— Повторяю: чем вы руководствовались?

— Сопроновым,— сообразил наконец Куземкин.— Игнатием Павловичем.

— За притеснение шкрабов придется отвечать, товарищ Куземкин! Прочитайте этот документ и подпишите.

Митя начал читать. Бумага запрыгала перед глазами. Называлась она «актом», в ней было подробно описано, что и как делал Куземкин и вся группа в доме сестер Вознесенских в ночь раскулачивания. «Сим доводим до сведения вышестоящих,— стояло в конце.— Работник Наробраза Вознесенская, работник Ликбеза Вознесенская».

Куземкин растерялся, взял карандаш и поставил подпись. Меерсон спрятал бумагу в портфель.

— Теперь, товарищ Куземкин, слушай меня внимательно. Во-первых, нужна подвода до Ольховицы. Во-вторых, ты должен получить деньги для найма по удалению с церкви креста и сбросу колоколов. В-третьих, вашему колхозу выделяется сто пятьдесят рублей на удаление креста и пятьдесят на ликвидацию колокола. Итого двести рублей. Напиши мне расписку в получении денег.

Уполномоченный достал из кармана бумажник, близоруко отсчитал двадцать розовых новых червонцев. Тем временем Куземкин писал расписку: «Получено от товарища Меерсона двести рублей для сброса двух крестов и четырех медных колоколов».

Митя подумал и дописал: «Как в данный момент медные колокола требуются для пролетарского государства на железные трактора. Деньги получил сполна Куземкин».

Меерсон прочитал, затем спрятал в портфель и эту бумагу. Только после этого он взялся за стариковскую жалобу. На старинном большом листе крупным почерком школьника было написано:

«Прошение

товарищу полномочному гражданину Мерсонову.

Мы ниже подписавшие жители деревни Шибанихи покорнейше просим разобрать наше усное и бумажное заявление в следушом. Просим дозволить наем поа либо псомомщика поелику страховка за церкву во всей сумме уплочена гербовым сбором. Как основной и главной просим призвать к порядку председателя Куземкина Димитрия. Мы пока не пришли в сознание колхоза и не

готовы ступить в новое будущее. Он же Дмитрий Куземкин вкупе с предвником Сопроновым розорил семейство Евграфа Миронова и наставницу Вознесенскую и середнѐе хозяйство Северьяна Брускова. И ишло сулит. Живем мы все земельным трудом без наемной силы. Торговли нету, купец Лошкарев давненько пропал без вести. Потому вникните в нашу беду и в прозьбе не откажите».

Митя Куземкин видел, как Меерсон поворачивал лист против часовой стрелки, читал подписи, поставленные по кругу, от центра, для того, чтобы не было ни первого, ни последнего.

— Товарищ Куземкин! — Меерсон и эту бумагу положил в портфель. — Как там в части подводы?

У председателя враз отлегло от сердца.

— Подвода, Яков Наумович, ждет. Да ведь и самовар ждет!

— Нет, нет, в Ольховицу.

Меерсон застегнул портфель.

Через короткое время Куземкин усадил приезжего на охапку зеленого сена в новожиловских розвальнях. Селька Сопронов держал в руках вожжи, он уже собрался тронуться с места, но мироновская кобыла Зацепка вздумала вдруг мочиться. Селька глазел ей под хвост, он забыл в эту минуту про свои ямщицкие обязанности. И тут Якову Наумовичу — в который раз за эти два дня! — открылось еще одно чудо живой природы: под кобыльим хвостом что-то мелькало, будто подмигивало.

— Товарищ Куземкин, — повернулся напоследок уполномоченный. — Не затягивайте, приступайте немедленно. Колокола на вашей личной ответственности! Отлагательства дело не терпит!

Селька дернул за обе вожжины сразу.

Подвода с уполномоченным уехала, осталась только глубокая дыра в снегу и большое оранжевое пятно. Митя поскреб в затылке: «С церковью-то. Не было печали, так черти накачали. Кого нарывать? Кеша Фотиев не осмелится, на колокольню лезть дело нешуточное. Да ведь и кресты с кумпола срубить велено. На колокольню-то ход есть, можно забраться, а на кумпол-то как? Ничего себе!»

Куземкин шел обедать домой, шел и прикидывал, кто бы мог быстро справиться с почетной задачей: «Пожалуй, один Ванюха Нечаев. Этот не струсит. Ну, и Володя Зырин. А Селька? Можно и этого подрядить. Да неужели двести рублей Шилу отдать? Лишка ему! Молод еще для таких денег... А ежели самому-то?»

Председатель даже остановился от этой неожиданной мысли. В самом деле, он что, маленький? Сам не хуже других.

Забыл Митя про обед, про постные щи, про толокно с квасом, про гороховый со льняным маслом кисель! Скорым шагом направился он к церкви.

Легко сказать, скинуть колокол! Два-то подголоска, те не грузные. Полетят как миленькие. Четвертый совсем небольшой, фунтов на двадцать. Кресты срубить? С колокольни-то, хоть она и выше, легче легкого. Пробей в крыше дыру и спихивай. А как с летней церкви, с главного кумпола?

Куземкин за три месяца председательской жизни научился пока одному: составлять план. Он обошел вокруг церкви. На обеих входных дверях висели замки. Ключи у дедки Никиты Рогова либо у Ключиных. Будут ключи, был бы план! Первым делом нужны две лестницы, вторым делом — веревка. Ежели связать концы двух пожарных лестниц да заволочи их на зимнюю церковь, оттуда можно забраться на крышу летней. А там? Там узкий приступок и край кумпола. Тоже нужна будет лестница. Но разве затащишь? Высота будь здоров. Нет, не добраться до главного кумпольного креста, нечего и мечтать. Ну, а в Ольховице-то как лазали? В Ольховице-то пошли в Гаврилову кузню, нагнули железных скоб. Вбивали их в крышу кумпола, забирались по скобам, выше и выше. Под конец обратали железный крест ужищем, накинули петлю. Внизу воротом натягивали веревку. Маковку скочырнули вместе с крестом. А и мы не хуже ольховских!..

Бывало, раньше звонили к заутрене. Митя с дружками-приятелями не однажды лазивал по крутым лестницам колокольни. Четыре пролета — пятый самый маленький. Зато совсем отвесный. За ним площадка с деревянной оградой. Колокола висят на толстой балке, четыре веревки протянуты к языкам. От густого гудения большого колокола щекотало в ушах. Слабыми, как у мышей, казались после того человеческие голоса.

«Думай, думай, Куземкин, — подбадривал Митя сам себя. — А чего тут думать? Веревки в колхозе имеются, пожарная лестница тоже есть. Где взять вторую? Вторая только у Роговых — нарочно делали, когда строили мельницу. Надо созвать народ. Народ будет — будет все: и лестницы, и веревки, и топоры, и горячие головы. Вопрос: как созвать народ? Ясное дело, взять и ударить в главный колокол! Э, нет, не дело... Старики сбегутся, утороку не найдешь...»

Митя подергал за тяжелый амбарный замок, и замок вдруг открылся сам, без ключа. Куземкин вынул его из пробоев, ногой распахнул тяжелую дверь, шагнул в зимнюю, низкую, когда-то отапливаемую церковь. Ребята давно выбили стекла. Тянуло мартовским сквозняком. Иконостас был изломан. На полу и на солее валялись иконы, подсвечники и перевернутая купель для крещения младенцев. «Вот и меня вроде бы в ей полоскали, — усмехнулся Куземкин, ступая в алтарь. — Главное место, сюда раньше никого не пускали, а ничего и особенного». Под ногами бумаги и какие-то книжечки. «Поминальнички, что ли?» — подумал Митя. Ему вспомнилась бумага, подписанная сестрами Вознесенскими. Почему Меерсон оформил акт против Куземкина? Назвал еще и левым загибщиком. Но разве Куземкин был главным, когда кулачили сестер Вознесенских? Сопронов главный, а не Куземкин! «Эх, не надо было бумагу подписывать. Ну, ничего, с Игнахой не пропадем».

Митя пересчитал деньги, выданные уполномоченным, и вышел из алтаря. Двести рублей, из тютельки в тютельку.

«Надо сходить к Роговым, договориться насчет лестницы, — решил председатель. — Нечего и волюнку

тянуть». На паперти он задумчиво помочился на кирпичную стенку.

* * *

Павел Рогов лежал за шкафом, пересиливал боль в ноге. Иногда боль чуть затихала, начинала таиться, тогда он ясно чувствовал и себя, и все, что в избе. Но иногда боль нарастала, окутывала его с головой. Тогда она словно бы отделялась от Павла и шла одна, вместе со временем, катилась широким безбрежным водным потоком. Затем она снова соединялась с Павлом Роговым... И он снова становился самим собой. Думы, одна другой горше, опять шли и шли одна за другой.

Жизнь в доме, как боль, тоже отделялась от Павла.

Что там было с утра, почему Аксиныя замешала квашню пшеничной мукой? Дедко Никита принес из чулана суконную тройку. Весь день в избе нафталиновый дух. Нарядился, ушел куда-то Никита Иванович. Куда? Все правду ищет да молится Богу. Может, и не зря молится...

Почему Игнаха не тронул роговский дом? Испугался брата Василья, потому и не трогают. Нет, когда отца загребли, матроса не испугались. Всею скорее тянет Игнаха нарочно, чтобы на дольше хватило. Играет, как кот с мышонком... Жди с часу на час, с минуты на минуту. Не зря делал новую добавку к лесной норме, не зря прибавлял и гарнцевый сбор... Вот! Может, он и идет. Топают на крыльце. Слышно, как сбивают снег с валеков. Скрипят морозные сени...

Круглый коток и березовый рубец для катки белья лежат почти рядом за шкафом на лавке. Только и стоит протянуть руку... У Павла темно в глазах, сейчас рука его потянется за вальком. А там... будь что будет! Вспомнился лесной сеновал, белые бешеные глаза Игнахи, мелькнуло ружейное дуло, и почудилось, что тот сопрановский крик вот-вот раздерет тишину. И задрожит, обрушится вся изба, где спит в люльке сынок, Павлов первенец. «Нет... Все не то... Не то... Рука не подымется... Да и что ты убьешь? Ничего не убьешь, так все и останется, может, будет... еще хуже... Но куда еще хуже? Нет. Да и пришли не они. Бабы идут. В сенях, на верхнем сарае — женские голоса...»

Сквозь холщовую занавеску, натянутую от шкафа до задней стены, он чувствует, как холод хлынул в избу через открытые двери. Не простудили бы парня. Чего это они затаскивают? Неужели кросна? Командует сама теща Аксиныя. Вера, жена, тоже в этой суতোлке. О, господи... Волокут с верхнего сарая кросна, всерьез собрались сновать. Вся жизнь кувыром, а бабы опять за свое, волокут кросна... Стол отодвигают ближе к зыбке, в красный угол, где посветлее, ставят кросна. Тюрики пойдут в ход, нитченки, притужальники. Скально... На верхнем сарае поставят большие воробы, будут перематывать моты с малых вороб, считать пасма и нити... Кто подсобляет? Голос вроде Таисьи Ключиной. И Таня кривая тут. С одним-то глазом худо сновать, так дали дело полегче, зыбку качает, поет тонко-тонко, словно прядет:

Утушка ути-ути,
Тебе некуда пройти.

Сорочий стрекот в избе. Все говорят, и каждая свое. Но ведь успевают и друг дружку услышать! Но от этого бестолкового бабьего стрёкоту вдруг станет легче на сердце, отодвинется, заглохнет большая твоя тоска, останется одна малая. И даже ножная боль вроде бы отступит куда-то под эти бесконечные разговоры и колыбельные песни:

На лужайке, на лугу
Потерял мужик дугу.
Шарил, шарил, не нашел,
Без дуги домой пошел.

— Ну-ко, баушка, дай я его погляжу, сухо ли в зыбке-то? — слышится голос Веры, и Павел знает, видит, как Таня, шмыгая носом, останавливает зыбку, видит, как Вера раскутывает одеяльце, как сын улыбочиво тянется к ней, сучит розовыми толстыми ножонками, и как все бабы, не бросая дела, начинают хвалить младенца:

— Экой он санапал, экой он ерой!

— Ой, в кого и есть, вроде весь в Данила ольховского.

— Нет, вылитый Иван Рогов, а переносице-то твоё, твоё, Оксиньюшка.

— Нет, лучше и не говори, весь в пачинскую породу! Вишь, глазенки-ти, глазенки-ти так и мигают, так и просверкивают. Ой, господи!

«Таисья Ключина любит поговорить... Еще больше любит чужих деток, потому что нету своих,— думает Павел.— Вот, уже перешли на Сопрановых. Пробирают почему зря Зою — жену Игнахи.»

— Не бывала больше за дровами-то? — спрашивают бабы Таисью.

— Может, и берет по ночам-то. Я дедку говорю: возьми вицу да постереги. Зойка ночью подскочит с чунками, а ты ее вицей по заднице.

— Ой, да чево там есь, по чему и стегать!

— Нонче она в поповом доме живет, а у Ольги Олександровны дров наколото много.

— Да чево Паша-то? Не стал жить в поповом доме?

— Не стал. Говорят, как узнал, дак ухват схватил. Селька-то едва увернулся. Он, Паша-то, все дни от стыда плакает. Да вон, баушка Таня тут и была, с Зойкиным робёнком водилася.

— Тут, матушки, тут. Тут и была. Да не приведи господь, лучше бы не ходить.

— Чаем-то хоть поили?

— Поили, Оксиньюшка, чаем-то. Да робеночек-то до того крикун, до того доревел, что весь и охрип. Видно, пуп худо завязан, все плачет. Бедненькой. А матка-то только ево ругает, только ругает. Да и старика-то кастит. А когда Игнатей из Ольховицы наскочит, так она вроде и попритихнет.

— Говорят, и молоком она будет заведовать, сепаратором-то.

— Она. Слушай-ко баушку-то Таню!

— Вот он, Игнатей-то, приехав, только за стол успили систи, а Паша, отец-то, и говорит: «Игнашка, ты этот дом не рубил, не строил». — «Не рубил и не стро-

ил», — Игнатей-то говорит. «Дак ты пошто в чужой-то дом залез?» — это отец-то опеть. «А не твое, тятка, это дело!» Да матюгом на отца. Паша, отец-то, заплакал и стопку с вином не выпил, и ужинать не стал. За печь уволокся, на карачках да кое-как. Селька подсобил ему на примостье залить. Не знаю уж, чево у них было после, я в свою избушку ушла. Господь их ведает...

— Нет, уж ты, баушка, рассказывай, как мне рассказывала!

— Таисьюшка, я и тебе то жо баяла.

— А про виник-то, про березовой?

— Про виник-то грех и молвить. Как Игнатей в Ольховицу уехал, Паша-отец в доме один оставси. Того утра начал Павло задумываться, начал бесу потачку давать. Тут лукавой-то и начал к нему приставать, душу выпрашивать. А Паша не открестился, видеть, ни разу. Вот лукавому-то только того и надо-тко! На вожжи старик поглядывает. Вожжи-ти на штыре, у примостья. Кое-как дотянулся до их, сволок со штыря-то да и сделал петлю... Прости его Господи! А когда петлю-то он сделал, другой-то конец через воронец перекинул да привязал к примостью. Хотел было уж сунуть голову-то да и с примостья скатиться. Вдруг у ворот колечко и брякнуло. Невестка шась на порог. Заругалась, схватила виник березовый, от бани остался, избу подметала. На старика виником-то! Бросила на примостье и сама убежала. Взял старик виник-то да и сунул в петлю заместо себя. Веревка-то, деушки, сама так и дернулась! Все листочки с виника обруснуло, а на верхнем-то сарае забегало, заворочалось, в трубе кот закавучил, а пустая квашня с полицы на пол хлесть.

— Эка, матушки, страсть-то какая!

— И не говори.

— Нет уж, нонче он от ево не отступится. От старика-то.

— Кто?

— Да лукавой-то.

— Таисья, ты чево говоришь? Ну-ко, матушка, перекрестись.

— А чево?

— Ой, деушки, у меня ведь и труба не закрыта. Верушка, ну-ко наливай самовар да пойдем ставить воробы. Хоть бы немножко уснуть, день-то короток...

Ах, не короток день, длинный он, как Великий пост, еще длиннее глухая кошмарная ночь. Или это две, три ночи идут подряд без дневных промежутков?

— Паша, надо бы ехать к фершалу, — слышит Павел голос жены и снова с непонятным упрямством отказывается ехать в больницу...

Однажды под утро он впервые за месяц крепко заснул. Проснулся от запаха горящей лучины. Вера ставила утрешний самовар. Что стало с ногой? Боль исчезла. Подорожная панацея или смоляной сварец вытянул жар из больной ступни? Кустик на одеяле спал, мирно мурлыкал рядом. Пробудился, выгнул спину и прыгнул на пол. Павел, не веря судьбе, сел на постели. Крутнул давно не стриженной головой. Вера ушла к скотине с ведром поила. Аксиныя унесла второе ведро.

Дедка Никиты не было дома. Серега спал в верхней избе. Павел подумал: «Может, встать? Встать, вот что надо! Сейчас, сразу... Встать и ходить. Хватит ему скакать до ветру одной ногой! Обуться: у дедка есть нужные катаники. Большие, разношенные...»

Болела душа: «Что творится там, в Ольховице, жива ли мать, правда ли, что Алешка не ходит в школу?»

Павел поспешно опустил ноги с кровати. Натянул штаны. Держась за шкаф, встал, попробовал опереться на правую пятку. Прежняя боль вернулась в ступню. Он сканнул на одной ноге к печи, схватился за край лужанки. Где, где дедковы катаники?

Павел обул их на босу ногу. Ездока в эту пору бывает много. До Ольховицы любой бы довез, попутным делом... Вот только Ванюшку бы на руки взять. Глядит! Вишь, глядит ведь, будто большой. И кулачком в зыбку колотит, отца чувствует. Родная кровь...

В дверях показался дедко Никита. Увидел Павла у зыбки и нисколько не удивился:

— Ладно, ладно. Встал, дак и ладно. Из избы-то не выходи пока, ногу не настужай. В субботу баню истопим.

— Витер-то... откуда, а, дедушко?

— От Залесной. Да вишь, дует худенько, еле толчет. — Дедко разоблачился до шубной жилетки. — А тут залисенские привезли овса на две ступы... Чуть не в ноги ко мне...

— Отправь их к Игнахе в Ольховицу! Пускай вручную толкут!

Дедко Никита в недоумении глянул на Павла:

— Остепенись...

Павел ехидно спросил:

— А когда Сопронов-то встанет на стень, а, дедушко? И Митя Куземкин не торопится что-то. Вон уж и хоромы у людей отымают. Родителей в тюрьму, детишков по миру...

— Прости их Господь! Не ведают чево творят... — Дедко снял трубу с бурлящего самовара, прикрыл отдушник.

— Не ведают? — Павел даже подскочил на лавке. — Все они ведают! Как же оне не ведают, дедушко, ведь оне ж не малые детки!

— Господь-то все видит... — Дедко заваривал чай. — А у этих помрачение душевного ока...

— Да нет у их ни ока, ни помраченья! Что вы их все... это... Почему им потачка-то? И от людей, и от Бога. Дыхнуть не дают... Кошку вон... И то рылом в дерьмо тычут, учат, чтобы в избе не пакостила...

Дедко Никита молчал.

— С лаптями на рожу лезут, в глаза харкают! а им все прощай! Палец о палец не колони для себя, все только для их... Дедушко, разве ладно?

Но дедко молчал, он как будто оглох, отчего Павел горячился еще сильнее:

— А что Бог-то мне скажет, ежели я и тебя, старика, и его, робенка, на мороз по миру пушу? Жену и мать родную оставляю на произвол судьбы? И все их, супоста-тов, прощаючи? Им, гадинам, того ведь и надо... Не заметишь, как из избы выкинут. Ведь выкинули Жучка-то с семейством!

Молчал дедко, даже не обернулся. Тогда Павел подскочил к вешалкам и начал надевать свой полушубок. Шапку схватил и на одной ноге к двери...

В сенях прислонился к стене. Голова закружилась, в глазах стало зелено. Где-то тут, в углу, дедковы клюшки и батоги. Нет, ничего не выйдет, не съездить ему в Ольховицу! Не дож... Хотя бы на Шибаниху поглядеть, дыхнуть свежего ветру.

Кое-как вышел он из южных ворот в загороду. Слепящее солнце, которое затопило своим золотом половину бесконечно глубокого синего неба, сперва удивило Павла, потом всколыхнуло детский восторг. Он успокоился и глубоко вздохнул. Свежий, пахнувший тающим снегом воздух, забытый на этот тяжкий и долгий год, пробудил давнишнюю весеннюю радость. С застреха вниз вилась безудержно золотая капельная, прозрачная, крученая водяная вервь. Она выбивала яму в глубоком подугольном снегу. Мысли о новых скворешнях, а также о гуменных сражениях на козонки Павел тотчас заглушил, отодвинул в сторону. Прошла пора! Скоро и сын возьмет битку. Это для него надо копить козонки. Эх, долго еще до этого! И что будет с ним? Что ждет его, да и того, который под сердцем Веры Ивановны?

Горловой ком напрягался и каменел, зубы сдавливались, в груди вновь холодило от горечи и тревоги.

С помощью дедковой клюшки Павел обошел южную часть дома. Через заулоч выбрался на середину Шибанихи. Хромая, поковылял он вдоль деревни. Куда? Не ведая сам. Шел, боясь поднять голову, чтобы не глядеть на дом дяди Евграфа. Там, за высокой тесовой крышей, вот-вот покажется мельница. Стоит или мелет? Толкет! И ветра нет, еле шевелит ветер сенную былинку, оброненную в снег, а она толкет. Вертится... Медленно, одно за другим, подымаются в небо широкие крылья...

Павел Рогов не утерпел, заторопился туда на угол. Из окон домов глядели люди, стучали в рамы, приглашая зайти. Он махал в ответ рукой, торопясь к мельнице.

— Куды, Данилович, без хлеба-то? — кричал Савватей Климов, рубивший хвою у ворот. — Приворачивай!

Павел здоровался с конным и пешим, отшучивался от встречных насчет своей хромоты и знай ковылял, торопился за шибановскую околицу.

Он удивился, когда оказался у мельницы: неужели это он, сам, построил такую? И стало страшно задним числом. Нет, не вспомнил он свои бессонные ночи, свои мозольные тяготы, вспомнил тревоги жены и материнские причитания. Услышал опять, как вздыхают богоданные отец-мать, как молится и кричит по ночам дедко Никита. Имел ли он, Павел, такое право — строить мельницу? Всех, вплоть до малолетка Сережки и мерина Карька, всех до единого подгрестила она под себя, всех закрестила своими крыльями... Теперь вот машет и машет, будто зовет к себе. Отправила вдаль от себя одного Ивана Никитича, остальных зовет. И назвала отовсюду. Народ едет в Шибаниху со всей округи. Просят дедка Христом-Богом: смели зернята, мука кончилась. Истолки ступу овса на блины, скоро масленица. И дедко

Никита безропотно, в любой день идет с помольщиком к ней. Когда нет ветра, ближние уезжают домой, дальние ночуют у знакомых и родственников.

Эх, не одних добрых людей примахивала она своими крыльями. Мелькают в небе тесовые махи, созывают к себе, приманивают и мелкого беса, и матерого супостата. Сколько там насчитал гарнцу Игнаха Сопронов? Не выплатить до второго пришествия...

Павел подошел близко к плывущим из синевы крыльям. Подставил клюшку: ветряная небесная сила даже и не почувала постороннего касания. Крылья шли и шли из солнечной синевы, как бы желая коснуться снежной земли, но не касались ее и уходили обратно в бескрайнее, голубое, холодное небо. Скрипела кой-где тесовая маховая обшивка. Вверху, в амбаре, глухо сказывались три толкущих песта. Хотелось слазать туда, наверх, но Павел отвернулся от мельницы. С такой ногой не забраться... Домой бы без позору попасть, дойти самому до роговского крыльца. Зайти бы надо в зимовку дяди Евграфа, проведать Палашку с божатшкой. Как они-то живут? Может, про матку что-нибудь знают, скажут что-нибудь про младшего брата. Ничего они не знают, кабы знали, пришли бы... Стыдятся ходить к родне... Не ждал и Павел, что сегодня такой длинной окажется улица у Шибанихи, ступал по деревне с натугой, пытаюсь меньше хромать. И вдруг у него потемнело в глазах. Он увидел брата Алешку. Тот выходил из новожиловского дома с корзинкой на лотке...

Нищий! Его родной брат ходит по деревням с корзиной. Неужто правда, неужели не снится? Господи, сделай так, чтобы это приснилось! Пусть будет это не он, не брат Олешка...

Но все было взаправду и наяву.

Алешка, заметив Павла, споткнулся, но шагнул еще, и они встретились нос к носу.

Тоска и смятение в синих глазах младшего брата угасли от слезной влаги, но они успели прожечь Павла как бы насквозь. Алешка стоял на дороге, виноватый, жалкий, с опущенной головой, стоял, швыркая носом и вздрагивал. Без рукавиц. Шапка, купленная Данилом на Кумзерской ярмарке, с одной завязкой. Шубенка без двух пуговиц, пола замарана какой-то сажей. И катаник на левой ноге вроде с дырой. Павел зажмурился. Сжал зубы и веки, чтобы не заплакать и самому. Шагнул к брату, взял его за рукав:

— Не плачь! Пойдем...

Алешка рыдал, но без голоса. Мотнул головой, уперся.

— Не реви, кому говорят! — повторил Павел и вдруг в бешенстве выхватил у брата корзину с кусками и бросил в сторону. Кусочки рассыпались в белом снегу... Павел во второй раз рванул Алешку за руку:

— Пойдем! Ночуешь у нас.

Но Алешка неожиданно вырвал рукав обратно. Заикаясь от рыданий, выдавил:

— Н-не... Не пойду!

— Люди глядят... Вон подвода чья-то, — тихо и быстро заговорил Павел. — Ночуешь у нас. Какова матка-то? Серегу увидишь...

Но Алешка упрямо вырывал руку. Он вздрагивал от рыданий, но на грязном от слез лице явственно обозначилось родовое пачинское упорство. «Не пойдет! — мелькнуло в уме. — Упрется и не пойдет. Да и сам бы я не пошел, чего говорить...»

Павел, не зная, что делать, еще раз взглянул на корзину, главную виновницу его стыда и его теперешней муки.

— Тогда к божатке... — сказал он строго и отпустил брата. — Иди!

Алешка не взглянул на корзину, не собрал рассыпанные в снегу милостыни. Он нехотя ступал к дому Евграфа. Павел глядел ему в затылок...

Лошадь, запряженная в новожиловские розвальни, всхрапнула над самым ухом. Павел еле успел отступить в сторону, чтобы не ударило запрягом. Он узнал в упряжке лошадь дяди Евграфа, еще промелькнула веселая харя Сельки Сопронова. Кто сидел в розвальнях? Какой новый уполномоченный приехал в Шибаниху? Павел Рогов не стал гадать.

Горький комок твердел, камнем стоял в Павловом горле, Павел все глотал этот камень, глотал, но никак не мог проглотить. Когда Алешка вошел наконец в ворота мироновской зимней избы, Павел свернул в проулок Нечаевых...

Через недолгое время сестра Ивана Нечаева Людка, на ходу накидывая кашемировку, побежала в лавку к Володе Зырину.

IV

Зырин, или Володя-приказчик, как называла его вся волость, жил теперь в двух ипостасях: счетовод колхоза, он же и продавец потребиловки. Торговал он не ахти как, зато весело, в лавке не сидел, но за бутылками бегал в любое время. Рыковка все больше входила в моду. Володю вызывали прямиком из колхозной конторы. Людка по ошибке забежала сперва домой. Зырина, конечно, дома не было. Сидел в конторе в шубе и в шапке. Он вроде бы даже рад был, что Людка вызвала его из «этой поморозни».

— Ну, дак ты приходи прямо к церкви! — приказал Куземкин.

Володя лишь побрякал связкой ключей. «Митьке еще подчиняться», — подумал он про себя и пошел в лавку. Людка бежала за ним, след в след.

Председатель опять начал ходить по холодной конторе, вернее по жучковской избе, взад-вперед. Топить ежедневно некогда, да и лень. У Сельки в лощкаревской хормине было, пожалуй, теплее, но пенять некому. «Сам виноват! — размышлял председатель. — Надо было сделать контору в поповском доме. Игнахе-то хватило бы и Жучкова подворья...»

Митя важно ходил по полу, а Кеша Фотиев с Мишей Лыткиным сидели на лавке и самосильно палили табак. Ждали следующего приказа. У дверей были сложены мотки веревок, колхозные вожжи и целые ужища. Там же валялись два топора. (Багор и одна пожарная лестница лежали на улице у ворот.)

— Дак тебе про Жучка-то кто сказывал? — Председатель остановился напротив Миши Лыткина.

— Я, Митрей, сам его видел, — произнес Лыткин между двумя затылками и закашлял. А когда откашлялся, то рассказал, как встретил Жучка в заулке у Самоварихи. Жучок, по его словам, насовсем отпущен из района. Евграфа оставили, а его отпустили. Потому будто отпущен, что тронулся на суде умом. Жучок будто бы встал перед судьей на колени и начал читать молитву, потом вывернул все свои карманы и заприговаривал: «Бог подаст, нечего дать, нечего дать». Увезли его в Вологду; в Кувшиново, а из Кувшинова отпущен домой. У Самоварихи, сказывают, и ночевал.

— Да кто сказывал-то?

— Сказывал-то Новожил, Новожилу девки, а девкам баяла сама Самовариха...

— Ладно, ладно! — остановил председатель Мишу Лыткина. — Хватит, Асикрет Ливодорович, ты тоже видал Жучка?

— Пришел, понимаешь, утром, — начал Кеша. — Пришел он ко мне, в руках бадья с березовым углем. Вот, грит, не купишь ли кислых яблоков... Я говорю...

— Ладно, ладно! — опять перебил Куземкин. — Поговорили, и хватит. Пошли.

Кеша с Лыткиным начали тщательно плевать на окурки. Оба растерли их на полу, встали и взялись за веревки. Все трое вышли на волю.

— Волоки пока багор да листницу! — приказал Куземкин. — А я забегу к Ванюхе Нечаеву. Естиво в корень, и счетовода нету. Надо искать...

Митя то и дело забывал про свою новую председательскую походку, особенно когда торопился. Вот и сейчас, свернув к нечаевскому проулку, он почти побежал, по привычке распахнув полы ватного пиджака, благо солнце к обеду начало всерьез припекать. И стал Митя на одну минуту прежним.

Кое-где летела сверху вода, попадала за ворот. У нечаевского крыльца стояла уже и кадушка под застрехом, да мало было в ней доброго, капли еще стыли на холодном ветру. И все же весна сказалась...

В новой нечаевской зимовке среди голых сосновых стен качалась на березовом оцепе люлька. Нечаев сам дергал ногой за веревочку. На столе остывал самовар, бутылка наполовину выпита. За столом, кроме Нечаева, сидели счетовод Зырин и Павел Рогов. Увидев в дверях Митю, все трое замолкли. Куземкин тоже подрастерялся и забыл поздороваться, вертел головой направо-налево.

— Митька? — вскочил Нечаев. — Давай проходи!

Веревочка от зыбки, петелькой надетая на ногу, не позволила хозяину избы встретить председателя как следует.

— Счас самовар поставим! У меня ни матки, ни жонки дома нет, вишь, сам зыбку качаю. Петруха? Где у меня Петруха? Людмила, сходи за рыжиками!

— Товарищ Нечаев, — Куземкин отошел обратно к дверям. — Выйдем на пару слов!

— Я, Димитрей, в своем доме, и мне ходить некуда. А ты снимай пинжак да садись за стол!

«Добром не кончится, уходить надо», — подумал Куземкин, но почему-то снял верхний пиджак и повесил на гвоздь.

Нечаев уже разливал по стопкам. Людка принесла из кути свежей закуски и вторую бутылку. Но когда она унесла со стола самовар, чтобы налить воды, Павел Рогов встал и через стол взял Куземкина за грудки. Одной рукой жгутом скрутил Рогов Митькин костюм, скрутил вместе с бумазейной рубахой и произнес:

— Садись, фартушка, на мое место! Извини, Иван да Людмила...

Иван Нечаев и Володя Зырин ничего не успели сказать. Павел отпустил Митькин костюм, вышел из-за стола и сдернул шубу с гвоздя. Как выходил из нечаевской зимовки, он не запомнил. Не осталось в его памяти и то, о чем говорил он на улице с Киндей Судейкиным, куда и кто бегал для них за вином. Вроде сам Киндя пол-литра выставил, от чего понеслась, завертелась в глазах и быль и небыль. Киндя, сидя на табуретке, шпарил на балалайке:

Кеша с Мишей по Шибанихе
Ташшили лисницу,
Митьке муди раздавили,
Сделали еишницу.

...Кто и куда таскал по деревне лестницы? Про кого поет Киндя Судейкин?

Двоилась рама в окне. Звенела в руках Кинди суматошная балалайка. Не в лад балалайке орал под печкой петух. И плыли, плыли перед глазами коричневые Киндины потолочины. Или проходили перед Павлом широкие мельничные крылья? То мелькала в глазах пустая корзина, летящая в снег, то вдруг мерин Карько махался, бил по щекам черным своим хвостом...

Павел слышал, как жена трясла его за голову, прикладывая ко лбу мокрое полотенце.

— Паша, Паша, пробудись-ко. Пойдем домой, не вались! Очнись, ради Христа...

— Пойдем... Где это я? — Павел открыл глаза. Начал трезветь.

Девчонки в избе играли в прятки. Киндя храпел на лежанке, в обнимку со своей балалайкой. Голова у Павла раскальвалась от боли. Неужто от вина она так болит? Нет, не от одного вина, видно, и угорел где-то. У кого угорел? И то сказать, никогда так много не пил вина... Стыд! Хорошо, что на улице ни живой души. Но ведь из окошек-то все равно видно, как тащится по деревне похмельный мужик, волокется под руку с беременной бабой.

Павел на ходу хватает снег, чтобы потереть виски, остатки зобает. Вера еле его удерживает:

— Ой, господи! Болит нога-то? Вот и ладно, Пашенька, ежели не болит... Ты не ступай на лапку-то, на пятку ступай...

Он долго плелся с ней по деревне, еле поднялся на роговское крыльцо. В избе он сел на скамью у лежанки. Вера снимала с него валенки. Он, обессиленный, заплакал, уткнулся лбом в тугой теплый Верин живот.

За столом брат Алешка играл в лодыжки с Вериним братом Серегой...

Скорехонько Вера уложила мужа на кровать за шкафом. Намочила холодной водой конец полотенца,

приложила к горячему лбу. Он бормотал что-то невнятное:

— Скажи дедку... Это... где он? Пусть... А кто сходил за Олешкой?

— Дедушко посылал Сережку. Сережка и сбегал к Мироновым, — смеялась Вера Ивановна. — Лежи, лежи со Христом.

Голова Павла отрешенно и тяжело упала на подушку, обтянутую розовой ситцевой, еще свадебной наволочкой.

Вера велела ребятам сложить лодыжки в пестерочку и отправила наверх. Вернулась с древнего обряда мать, вымыла у шестка руки. Вера выцедила по ставкам молоко из подойника, и обе опять уселись снова пряху.

— Таня-то, видно, уж не придет, — сказала Аксинья и хлебным ножом продела в бердо очередную нить. — И Таисья Ключина на погост убежала. Господи, что делается!

— А где дедушко-то? — Вера качнула зыбку.

— Да на мельнице. Либо у Ключиных, книгу читают. Кто приходил за лестницей-то?

Вера сказала, что приходили за лестницей двое, Иван Нечаев с Володей-приказчиком, что от обоих пахло вином и что лестницу она отдала им без дедка.

— Иди-ко, иди к церкви-то! — предложила Аксинья. — Погляди, чево там делают. Сережку с Олешкой не пушу, пускай дома сидят.

Вера, недолго думая, увязалась платком и накинула казачок.

* * *

Народу около церкви было, однако ж, не так и много, больше старухи, да бабы, да ребяташки «разных калибров», как сказал Савватей Климов. Эти бегали туда и сюда, не щадя отцовской обуви. Снег с южной стороны храма мокрел и таял. Ребята бросались комьями. Один ком вскользь угодил в лицо Новожилихе.

— Да что вы, лешне! — заругалась она. — Что вы, рогатые сотоны, уж по народу палят. А кабы в глаз попало?

— Им чево не палить? — заметил Савватей Климов. — В школу не ходить. Наставницы ихние сидят да только ревят.

— Заревись, коли из дому выгнали.

— А вот нонче кто у нас наставница! — крикнул Савватей, увидев Зою Сопронову. — Наверно, за вином бегала.

— Да ведь и продавец тут!

Зоя мелькнула в поповском садике и скрылась в воротах.

Володя Зырин с Иваном Нечаевым, оба под хмелем, дурачили девок. Зырин надувал какой-то долгий тонкий пузырь, привезенный из города, приставлял его к середьшу. Девки визжали. Бабы колотили приказчика по хребту.

— Оне чево, ироды, сдумали? — кричала Новожилиха. — А на колокольне-то кто?

На колокольне сидел Миша Лыткин. Он шаркал

поперечной пилой толстую балку, на которой висел большой колокол. Вчера Миша и Митя подвели под балку два чурбака и, чтобы не зажимало пилу, топорами забили клинья. Сегодня Лыткин один старательно пилил наверху этот толстый брус.

Горбатая ольховская нищенка Ириша поминутно крестилась, тихонько плакала и что-то шептала.

— Господи, прости им, грешным! — услышала Вера ее слабенький голосок и подошла к Таисье Ключиной, чтобы вместе уйти в деревню.

Но люди шли, наоборот, из деревни, толпа разрасталась.

— Что делается, что делается! — вздыхала Таисья.

— Отсохнут у их руки, отсохнут! — Новожилиха клюшкой тыкала в снег. — Ноги в коленках сведет!

— Да где оне сами-то? Один Миша шаркает.

— Закусывают! В поповом доме чай пьют, — пояснил Савватей Климов. — А вон выходят, гляди да считай!

Из поповских ворот, что-то дожевывая, с мотком веревки вышел Куземкин. За ним выбрались на солнечный свет Кеша и брат Куземкина Санко: Кеша и Санко тащили топоры и багры.

Как только показались безбожники, народ затих, Иван Нечаев с Володей Зыриным перестали паясничать. Одна пила шаркала где-то далеко наверху. Людка, нечаевская сестра, вдруг выбежала из бабьей толпы, схватила Нечаева за рукав:

— Ваня, пойдем-ко домой! Пойдем, пойдем, батюшко, лучше будет-то! Мамка сказала, не приходи без его. Ну-ко, ну-ко, пойдем...

Нечаев обернулся к председателю с дурацкой улыбкой, хотел развести руками, мол, что с нее возьмешь? Но Людка действовала еще проворней, теперь она толкала его сзади, и он вроде бы уже и не противился, а тут все видели, как и на Володю Зырина навалилась родня.

— Что, Володя, и ты трус? — громко кричал Куземкин.

Счетовод не слышал или не захотел услышать председательский окрик. Но и своей родне не поддался, а с дурацким смешком отскочил в девичью гущу. Куземкин отыскал глазами Кешу Фотиева:

— Давай, Асикрет Ливодорович. Бери веревки и вверх! Подсоби Лыткину.

Кеша взял веревочные мотки, направился к колокольне. Старухи хватили его за полы, плевались вслед. Не обращая на них внимания, Митя подтащил лестницу к стене одноэтажного зимнего храма.

— Креста на тебе нет, Митрей Митриевич, — послышалось из толпы.

— И не будет! — весело огрызнулся Куземкин.

Пришлось наставлять лестницу. Он привязал к ней другую, коротенькую. С помощью брата-подростка, а также выпившего Володи Зырина начал Митя поднимать лестницу, чтобы приставить ее к зимней церкви.

Кто-то из женщин всхлипнул, вот-вот мог и запричитывать. Зырин отказался забираться на крышу. Митя показал ему кулак и полез один.

Старухи и бабы внизу ругались и охали. Многие

крестились. Другие плевались и уходили домой. С колокольни подал голос Михайло Лыткин:

— Митрей, пилу зажало!

— Бейте клин! — Митя завернул матюгом. — Клином подымайте балку-то! Клином!

— Да не идет...

Митя спустился обратно и тоже полез на колокольню.

После недолгой возни все трое с матюгами появились внизу: пилу в балке зажало намертво.

— Чья пила-то? — спросил Савватей не без ехидства. — Не Сопронова?

— Отсохнут, отсохнут руки-ти! — махалась клюшкой Новожилиха. — Ироды вы!

Старухи окружили безбожников, кричали, дергали за карманы.

— Бесы!

— Эко, чево придумали! И не стыдно рожам-то?

— Господи, какой у их стыд...

Новожилиха схватила Митин топор, отступила в сторону, чтобы бросить подальше в снег. Резкий оклик Куземкина остановил старуху.

— Дай суда! Положь! — Митя отнял у Новожилихи топор. — Не тобой принесено, не ты и возьмешь!

Он сунул топор за ремень, взял в одну руку ножовку и вновь, еще более решительно полез на крышу зимней одноэтажной церкви.

С востока к ней примыкал летний высокий храм. Отлогий купол его выкрашен зеленою краской. На куполе восьмеричок, обшитый железом, на восьмеричке маковка. Железом обито и деревянное основание креста, уходящее в маковину. С запада к зимней церкви построена колокольня. Она тоже с крестом, только с маленьким, зато намного выше летнего храма. Вызнялась в самое небо. Куземкин победно встал на крыше зимней церкви. Он приглядывался теперь к летнему храму, прикидывал. Если затащить сюда вторую длинную лестницу, можно забраться на кромку отлогого купола...

— Эй, Миша! — крикнул он Лыткину. — Лизь-ко суды, да с веревкой...

Следом за Лыткиным вскарабкался на крышу брат Санко. Осмелел напоследок и Кеша Фотиев, а может, забрался наверх, чтобы старухи не оторвали рукав...

Бросили с крыши конец добротных Жучковых вожжей. Зырин привязал внизу конец ко второй, к роговской лестнице. Лестницу втащили на крышу...

Митя Куземкин планировал, что делать дальше. «Дальше надо ставить лестницу, забираться наверх и прибывать к кумполу деревянные поперечины. Прибывай и подымайся по ним к четверику, прибывай и все вверх да вверх...»

Народ по-прежнему толпился внизу. «Может, стало еще больше?.. Пусть! — мелькало в куземкинской голове. — Надо гвоззя... Лестницу как-нибудь вздымем. А что, ежили без поперечин? Железные зубья от бороны, вот чего требуется! Бей в кумпол и лизь! А где их сейчас возьмешь — зубья от бороны? Хорошо, что хоть гвозди есть. Большие гвозди-то, кованые...»

После краткого совещания председатель отправил

Кешу и брата Санка вниз, за матерьялом для попере-
чин.

— Покурить надо,— сказал Миша не очень реши-
тельно.

Председатель не ответил. Внизу кричали старухи
и бабы. Они все еще кляли активистов. «Зырин-то...—
подумал Куземкин.— Спрятался... Ну, это мы ему при-
помним...»

Почуялись выкрики стариков, дедко Ключин уже
верещал в толпе. «А, ну их!» — сказал Куземкин и пере-
брался на южный скат кровли, чтобы меньше слышна
была ругань. Сел на крашеную зеленую крышу. Снег на
южной стороне давно стаял, железо нагрелось от со-
лнца. Лыткин уселся рядом, достал кiset, сказал вино-
вато:

— Пилу-то, Митрей, надо бы выручить из брев-
на...

— Ладно, выручим,— бодро сказал председатель.—
Достанем! Завтре клинья забьем, чурбак подставим.
Перепилим балку-то. После чурбак вышибем, и колокол
полетит. А севодни на кумпол надо! Севодни бы нам,
Миша, крест своротить, да не знаю, справимся ли.

Лыткин поглядел вверх. Где-то там, очень высоко,
стоял православный крест, который приказано свер-
гнуть. Голубое к полудню небо начинало тускнеть.
Солнце спряталось в желтовато-серое зимнее облако.
Стало холодно.

— Ну-к, может, поставим листницу-то.— Куземкин
поднялся.

— Да ведь што, попытка не пытка,— согласился
Лыткин.

Стоя на крыше, они подняли лестницу, попытались
приставить ее к стене летнего храма.

— Не выйдет вдвоем, кричи нашего Санка! — при-
казал Митя Лыткину.— Кешу тоже зови.

— Да нету, Митрей. И Санка нету, и Зырина не
видать.

— Ну вот! — сказал Куземкин и поглядел вниз.—
А што... Где народ?

Около церкви не было ни души. Ни одной девки, ни
одной старушонки. Даже ребятишки пропали.

— Ты чево? — обернулся Куземкин к Лыткину,
словно тот и был во всем виноват.

— А я-то што.— Миша пошевелил белыми, как
у теленка, ресницами.— Я пожалуста.

— Чево пожалуста?

— Вишь, все убежали. А пошто все, и сам не знаю.

— Да куды убежали-то?

Миша развел руками.

— Слезать бы надо,— сказал он и добавил: — Дело-
то к вечеру...

Митя в недоумении отхаркался. В нем быстро скопи-
лась свежая злость. Он так разозлился, что плюнул еще
раз и пнул по роговской лестнице, слегка упертой в сте-
ну летнего храма. Лестница оползла и начала сползать
по снежной северной стороне кровли. Митя ногой доба-
вил ей ходу. Она упала на землю. Вторая, пожарная
лестница, по которой влезали на крышу, стояла тоже
с северной стороны. Митя, не глядя на своего напарника,
на заднице спустился на край кровли, наладился было
уже слезать, но... Куземкин заматерился:

— Где лисница?

Лестницы не было. Вернее, быть-то она была, только
не на карнизе, а прислоненная под карнизом. Куземкин
никак не ждал такой передраги. Ширина у карниза
добрый аршин. Как на нее теперь ступать? Не ступишь.
Теперь надо, чтобы кто-нибудь снизу снова приставил ее
к карнизу. Куземкин с матюгами бегал по крыше.

— Оползла, вишь,— сокрушенно заметил Миша
Лыткин.— Надо кричать да гаркать.

— Оползла? — ярился Куземкин.— Да где это она
оползла, ежили и стоит в снегу! Нет, кто-то ей подсобил
оползти. Переставили! Мать-перемать, в три попа...

Так председатель и Миша Лыткин оказались в за-
падне, на крыше зимней церкви. Высоко, не прыгнешь!
Сажени, может, три было, а уж две-то точно. «Нет,
скакать некуда,— подумал Куземкин.— Ноги перелома-
ешь». Но еще больше было обидно, что вокруг церкви не
было ни души.

Председатель не знал, что делать и как быть.

Никого нет внизу, одни кресты на могилах. Кладби-
ще. Никто не учует, кричи хоть до второго пришествия.

— Ну, Мишка, ты и дурак!

— А чево, чево я дурак? — Лыткин попробо-
вал рассердиться.— У меня своя голова, не хуже
других.

— На твоей голове только гвозди прямить.

Дальше из Куземкина посыпались отборные матюги.

* * *

Куземкин и сам знал, что зря он костит напарника, но
вот беда, остановиться никак не мог, и бедный Лыткин
только моргал да покряхтывал, чувствуя себя все вино-
ватей и виноватей. А при чем тут был Миша Лыткин?

Когда начали втаскивать на крышу вторую лестницу,
Савватей Климов стоял и глядел, стоял и глядел... Бабы
ругали шибановских и ольховских коммунистов, сулили
им всем кару господню. Новожилиха трясла суковатой
ключкой перед самым носом Кешы Фотиева:

— И ты, бес! Ты чево думаешь-то? У тебя чево, бес,
в голове? Господи милостивой, што дальше-то будет...

Тут Савватей увидел рыжего новожиловского вну-
чонка. Парнишко изо всей мочи бежал от деревни
к Поповке. Он подскочил к своей бабке, сказал ей что-то
и побежал обратно, а Новожилиха так и обмякла, так
вся и притихла. Она сразу забыла про Кешу, шепнула
что-то на ухо Таисье Ключиной, и только батог за-
мелькал. Откуда у старухи и прыть взялась? Как у
молодой девки... Таисья Ключина тотчас ринулась до-
мой в деревню, но ее на ходу подловил сам Савватей
Климов:

— Таисьюшка, и ты туды?

— Ой, Савватей! Ведь разбежался колхоз-от! Ско-
тину по домам гонят!

Людей от церкви за две минуты как ветром сдуло,
и церковь стояла теперь одинокая и какая-то вино-
ватая. Митя с Мишей сидели на той стороне церковной
крыши.

Климов оглянулся на попов дом. Поглядел влево
и вправо. Подошел, поднатужился и... сам не зная зачем,
опустил верхний конец лестницы под церковный карниз.

— Эй! — крикнул он после этого и задрал голову. Куземкин с Лыткиным не ответили... «Не чувят», — подумал Климов, отошел подальше и кликнул еще. Было молчание, и Савватей вальяжно, как из гостей, зашагал в деревню.

Давно не знавала Шибаниха такой занятой поры!

Блеяли овцы, мычали коровы. Бабы и девки кричали во всех домах и заулках... «Вот оно, столпотворенье-то! — подумалось Савватее. — Началось, а мы не ждали, не ведали...»

А с чего началось?

...Селька Сопронов на кобыле Зацепке ездил в Ольховицу со сливками, обратно привез газеты. Игнатий Сопронов наказывал брату никому не давать газету со статьей Сталина. Но в читальню как назло принесло кривого Носопыря. Старик доложил Сельке, что Куземкин пошел скидывать крест, тут Селька и потерял всякую бдительность. Наверно, прибрал газетку Жучок тронутый, больше некому. Раскулаченный, он лечился в Вологде и приехал на днях домой, ночует у Самоварихи вместе с семейством. Каждый день приходит в красный угол читальни и спрашивает: «Где есть такое Кувшиново?»

И вот в деревне дым коромыслом. Селька, не зная, что делать, прибежал из читальни в контору, а председателя нет! Счетовод Володя Зырин сам первый увел свою корову из нечаевского хлева. Но в своем хлеву у Зырина стояли колхозные овцы. Много овец, иные с ягнятами. Поэтому Зырин не долго думал, взял да и двор настезь! Овец долой, выгнал на улицу, в хлев собственную корову. Новожиловы, те тоже открыли ворота. Люди прибежали за своими коровами и в Жучков, ныне конторский, дом, а Микуленкова матка увела свою корову из нечаевского хлева, а из своего двора всех колхозных тоже долой! Выпустила. Коровы с мычанием выбирались в проулок. Иные, что поумнее, сразу бежали к своим домам, другие блудились, третьи, стоя посреди улицы, вопили почему зря. Бабы и девки ловили коров и встречали, встречали, кричали, то ревели от радости, то ругались. Все перепуталось!

Но самые главные дела и события вершились у ключинского подворья. Тут мужики уводили своих коней, искали свою упряжь. Тащили хомуты, седелки и вожжи, разбирали дровни и дуги...

в

Марья Александровна мечтала в тот день о Вологде. Держа в руке романтическое сочинение Александра Волкова, она пригорюнилась на кирпичной лежанке, сидела спиной к большой русской печи, в которой пекли когда-то просфоры. Акулина — просвирня — ушла по миру еще при отце Николае Перовском, когда запретили службу. Изба и при старой хозяйке была не очень уютной. Когда-то тут собирались все кому не лень. Парни играли в очко, курильщики дружно коптили тесаные сосновые стеньги.

Марья Александровна мечтала о Вологде и о родной

тетушке. Не волновала ее сегодня ни история с необитаемым островом, ни то, что Кеша Фотиев принес ее материнское стеганое одеяло. Недавний уполномоченный обещал сестрам вернуть все отобранные вещи, не считая серебряных ложек. Он даже составил акт, но Марья Александровна мечтала только о Вологде, где закончила женскую гимназию. Зачем она не уехала туда вместе с сестрой?

Ну, во-первых, ехать было совершенно не на что. Вторых, надо ждать письменного приглашения от тети. В-третьих, они обе с сестрой школьные работницы, она, Марья Александровна, даже активистка бубновского движения. Без разрешения инспектора нельзя уезжать в Вологду.

Она сидела в верхнем саке, спиной к печи, и плакала, держа в руке бесполезную книгу. Мыши бесшумно передвигались по полу. Но больше всего в жизни боялась Марья Александровна печного угару. Она даже ненавидела из-за него не только Шибаниху, но и всю волость. С угаром были связаны самые неприятные воспоминания. Каждый день по утрам, протопив печь и закрыв печные задвижки и вьюшки, сестры затыкали уши ватой. Считалось, что угар проникает не только с дыханием, но и в уши... Здесь, в избе Акулины-просвирни, печь была не угарная, но все равно Марье Александровне казалось, что она угорела.

Поплакав и уронив книгу, Марья Александровна задремала на той же слегка лишь теплой лежанке. Смеркалось. Окна избы темнели, она тоже смежила веки. Ничто не касалось ее сознания. Кажется, несколько раз за день слышен был звон малых колоколов, зачем-то собиралась толпа у церкви. Но что ей за дело до них? Она так и лежала у печи, грезила. Сквозь стены избы и вату в ушах почти не проникали наружные звуки.

В Вологду, так хочется в Вологду! Говорят, что во время германской войны на шибановском кладбище похоронили женщину в летаргическом сне — родственницу приказчика Зырина. Она будто бы кричала в могиле двое суток, но слышно было лишь по ночам. Марья Александровна училась тогда в Вологде... Что это? Какие-то непонятные долгие звуки послышались ей сквозь дрему. Ей стало жутко, но все равно не хотелось покидать сонного состояния. Нынче во сне было больше приятного, чем в яви. Но в яви или во сне эти страшные крики? Она вздрогнула, встала и освободила уши от ваты. Нет, ей пригрезился этот крик. Она решила приготовить на вечер лампу. Встала и... чуть не выронила дорогое десятилинейное ламповое стекло. Такой жуткий двойной крик послышался ей со стороны кладбища. Точь-в-точь как плачет теленок, когда его режут... Марья Александровна притаилась. С бьющимся сердцем, с руками, дрожащими от страха, она присела к столу и забыла про лампу. Вот! Опять эти крики...

«Нет, это живые люди», — решила она, когда чутко прислушалась. Быстро надела кунью шапочку, давний подарок папы, отца Александра. Застегнула сак, надела перчатки и вышла на улицу.

...Митя Куземкин и Миша Лыткин орал по очереди. Иногда получалось у них и вместе. Уже и охрипли оба.

Уже и холодно стало, и ночь на носу, а никто в деревне не слышал пленников. Вон Зоя Сопронова, живет нынче в Поповке. Могла бы давно прибежать, кабы дома была: «А что ей, — думал Куземкин. — У нее не скотина, поить-кормить некого... Сидит в сепараторной. Либо и в Ольховицу усвистала к своему благоверному: Сельки тоже не слышно».

Забыл Митя Куземкин, что нынче у Зои Сопроновой младенец. Нет, не могла она «усвистать в Ольховицу», но не могла услышать и Митин голос из-за того, что ребенок беспрерывно орал. Да и окошки в поповом доме утыканы плотно, рамы обмазаны на совесть: Никакие звуки не проникали.

Увидев приближающуюся в сумерках Марью Александровну, Митя обрадовался как маленький. От всей души.

— Марья Александровна! Голубушка! — Он то приседал на самом краю, то отбегал. — Это... Выручи! Пожалуста!

— Что вы там делаете, Дмитрий Дмитриевич? — спросила наставница.

— Да вот это... Ходу нам нет! Замерзли оба.

— Почему? — не понимала Марья Александровна.

— Назло сделано. Пожалуста! — кричал Куземкин.

У Лыткина имелось больше терпения, он доверительно объяснял с крыши:

— У нас на колокольне пилу-то зажало! Мы сюды. Это... Лестница-то оползла...

Марья Александровна глядела на церковь, в которой так долго служил ее отец и где крестили обеих сестер. Но какое отношение имеет все это к двум странным фигурам, маячившим на церковной крыше? Молчала учительница, шевелила пальцами в летних бумажных перчатках. Может быть, она вспомнила сейчас, как совсем недавно ее вместе с сестрой выдворили из отцовского дома, как тот же Куземкин отобрал у нее муфту, висевшую на шнурке. Он даже дернул за муфту и, чтобы шнурок не был оборван, Марья Александровна сама сняла ее с шеи и подала ему. Где ложки из серебра и мамина фарфоровая посуда, куда унесли самовар и пуховые подушки? Новое атласное одеяло и граммофон вернули, но часы с боем пропали. В тот же проклятый день или вечер сестрам пришлось идти ночевать в чужие люди...

Может, и вспомнила сейчас все это Марья Александровна Вознесенская, но тут же и позабыла, потому что люди на крыше мерзли. Просили о помощи. Она потрогала длинную пожарную лестницу.

— Нет, нет, Марья Александровна, — подсказывал сверху Митя. — Не под силу тебе. Сходи в деревню, пожалуйста! Найди там счетовода Володю Зырина. Скажи, чтобы шел сюда и чтобы не тянул по силе возможности.

— Пожалуста, — вторил председателю Миша Лыткин.

И Марья Александровна пошла в деревню искать приказчика Зырина или кого-нибудь, чтобы пришли и приставили лестницу. Она шла в деревню, шевелила от холода пальцами в летних перчатках. Непонятно, что происходило в ее душе. Свет не мог отделиться от тьмы.

Она не знала, как ей вести себя, как ей думать. Вскоре этот разлад усугубился. На широкой шибановской улице она вскрикнула, остановилась: прямо на нее мчался большой рогатый баран. При виде человека он застопорил бег, остановился, вздрагивая и хрипло бляя. И вдруг он двинулся на учительницу. Марья Александровна завизжала от страха, а баран, испуганный больше нее, развернулся и хотел бежать обратно, но навстречу ему, без шапки, бежал приказчик.

— Марья Александровна, не пускай! — орал Володя Зырин. — Держи дьявола!

Баран опять замер в недоумении. Но когда приказчик метнулся, чтобы схватить за рога или хотя бы прямо за шерсть, баран проворно отбежал в сторону. Животное вздрагивало и с прежним, хриплым густым бляением бессмысленно глядело вдоль улицы. Овцы бляели по всей деревне, и баран побежал дальше по улице.

— Ты чего, Володя? — остановился напротив Савватей Климов, который тащил под мышкой свою праздничную расписную дугу. — Не в пастухи ладишь? Не дело ты выдумал, из счетоводов да в пастухи. Марья Александровна, доброго здоровья.

— Боран... — Зырин перевел дыхание. — Убежал, подлец, за чужими ярушками.

— Это он от головокруженья успехов! — кротко сказал Савватей. — Ево ведь теперь домой и не заманить.

— Это почему?

— А потому... Вот тебя взять. На беседу придешь, на своих шибановских девок ты глядишь худо. А у чужих ты весь ходуном ходишь. Так и тут. Будет ли боран дома жить, ежели он ковхозной жизни испробовал? Вон у ево сколько топерь этих... сударушек-то.

— Будет! — Зырин отряхивал со штанов снег. — Я его, бледину, залобаню на пасху, я его...

Зырин вспомнил про Марью Александровну и проглотил следующие матюги. Учительница уже дважды пыталась что-то сказать, сначала ему, потом Савватею. Она чувствовала, что оба сейчас исчезнут, и обратилась к Савватею, как к старшему:

— Товарищ Климов...

Савватей не ждал, что его назовут товарищем. Заметно было — подрастерялся. Марья Александровна рассказала о Куземкине с Лыткиным:

— Помогите им слезть! Лестница очень большая, мне невозможно поднять...

— Там и сидят? — спросил Савватей.

— Там.

И Марья Александровна пошла прочь. У нее упала гора с плеч.

— Как забралась, так пусть и слезают, — сказал Савватей.

— Нет, надо бы сбегать, подставить лестницу-то, — не согласился Зырин. — Вот только борана зловлю...

— Да куда без шапки-то?

Савватей Климов почесал в затылке и тоже заторпился. Старика обогнала чья-то краснопестрая корова. На шее коровы глухо брякал железный колокол. «Чья это? — подумал Климов. — А вон чья...» Наперерез корове прямо по снегу бежал вспотевший Санко Куземкин.

Савватей хотел было остановить Санка да сказать про брата, который сидел на церковной крыше. Но Климов раздумал: «Пускай посидят. Сами хотели как бы повыше». Зато всем другим встречным Савватей рассказывал про Митю и Мишу. Мол, сидят и слезти не могут, кто бы слезть подсобил? А ежели не подсобить, дак хоть бы пирога им кинуть.

Но шибановцам было сейчас не до Лыткина, Куземкина же они держали в уме, как держат число во время устного умножения. Деревня кипела ключом. Так шумно бывало только на масленице. Коровы, бабы, ребятишки, овцы, старики и старухи носились взад и вперед по всем проулкам. «Пте-пте-пте!» — слышалось от новожиловского подворья. «Сыте-сыте, милая, сыте!» — тащила свою корову Людмила Нечаева. «Чака-чака-чака!» — это Таисья Ключина приманивала своих овец ржаной горбушкой.

— Таисья, а ты хлебец-то посолила ли? — издали кричал протрезвевший Судейкин, который тащил из лошкаревского дома тяжеленный ундеровский хомут. — Посоли, девушка, посоли урезок-то. А то и сметанкой помажь!

Таисья не слышала советов Судейкина. Она заманила овец в ворота опустевшего своего двора. Перекрестилась. Слава те Господи, всех лошадей с подворья вычистили. Теперь овец в один хлев, корову — в другой. Красуля много недель стояла в чужом доме, голодная. Корова жадничала, прямо из рук хватала сено, на брюхе намокли большие навозные бляшки. Вторая корова, Звездка, тоже стельная, была не обобществленная, все эти недели стояла дома, она, казалось, не узнавала свою напарницу, ревниво помыривала. «Отвыкла! — подумала Таисья Ключина. — А где у нас лошадь-то?» Лошади не было. Таисья всплеснула руками, кинулась из двора на улицу:

— Степан! Дедко! Где лошадь-то?

Дедко Ключин не торопясь нюхал в проулке табак с Климовым:

— Теперь, значит, такое дело, куды, Савватей Иванович, Игнаха-то повернет, направо или налево?

— Этот пойдет в одну премь! — сказал Савватей.

Таисья отступилась от них, побежала искать Степана.

Степан Ключин — до чего человек спокоен — в самый главный момент взял да и уехал в лес за хвоей. Таисья и забыла про это. Когда вспомнила, куда ей было деваться? Не могла она остаться одна, минуты были особые. «Дожили до Христа дня!» — сказала баба сама себе и побежала к Роговым.

Куземкин с Лыткиным все сидели на крыше и ждали подмоги. Уже в сумерках Володя Зырин изловил наконец барана и совсем уж в потемках прибежал выручать председателя. Поспешно оставил лестницу, поднял ее на дыбы, приотрвал от земли и рывком прислонил к церковному карнизу.

— Слезай, Митрич! — кричал Зырин. — Пока ты тут с Богом воюешь, от колхоза остались рожки да ножки.

— Какие ножки? — не понял председатель Куземкин, задом спускаясь на землю.

— Одно название осталось! Разогнали скотину.

— Это как так? — Митя получил наконец свободу, ступил на снег. — А ну, пойдем в контору.

— В конторе засел Жучок. Ворота на крюк и никого не пускает.

Митя Куземкин открыл рот. Тем временем спустился на землю и Миша Лыткин. Председатель снова обрел дар речи:

— Михайло, беги запрягай Зацепку. Нет, погоди, лучше Шибру. Сразу поезжай за Сопроновым!

— Какая тут запряжка? — вырубил Зырин сникшего было Мишу Лыткина. — Не то что лошадей, и вожжей не осталось!

— Пешком!

Но тут даже безответный Лыткин не согласился:

— У меня, Митрей Митревич, с утра маковой росинки в роту не было. Завтре уж...

Куземкин стих. Он и сам еле стоял на ногах. Голодный, замерзший. Единственное, что ему хотелось сейчас, это уйти подальше от кладбища. Домой! Поест бы да и забраться на печь, это бы еще лучше. Он велел Мише Лыткину собрать инструмент и веревки, а сам сунул руки в карманы:

— Пошли!

— Куда? — спросил на ходу Зырин.

— Сперва в контору.

— Жучок в контору не пустит! — убежденно отсоветовал Володя Зырин.

— А кто ему ключ дал? Ты, что ли?

— Ключ? Будет он ключ спрашивать! — разозлился Зырин. — Пешню у Новожила взял, замок с пробоями выдрал. Ты что, не слыхал, что он тронутый стал?

— А тронутый, дак ему место в Кувшинове, отнюдь не в конторе! — Митя даже остановился. — Ты, товарищ Зырин, куды глядел своими глазами?

— А ты куды? — еще больше обозлился Зырин. — Он вон без порток на улицу выскочил! Всех коров со двора вытурил, кроме своей. И ворота на крюк. Я тебе не милиция...

Председатель не ответил. Он споро шагал к дому Жучка. Рядом, также споро, ступал счетовод, а сзади, пытаясь не отставать, пыхтел коротенький Миша Лыткин. «По дороге зимней скучной тройка борзая бежит!» — припомнил Зырин школьное стихотворение. Ему стало сперва смешно, потом стыдно. Чего он у Жучка забыл? Одна амбарная книга, в которой записаны фамилии. Еще старые лошкаревские счета, да и те без многих костяшек... Скотину развели по домам, колхоз разбежался в разные стороны. Нет, в этой «конторе» и делать сегодня нечего...

Днем Зырин успел прочитать в газете сталинскую статью, спервоначалу не поверил своим глазам: «Вот те раз! А как ловко повернул дело товарищ Сталин! Сам-то вроде и ни при чем».

Счетовод посулился вечером к Степану Ключину, чтобы прочитать статью старикам, но газетку кто-то прихитил. Где она теперь, эта газета? Ищи свищи... Были у счетовода и другие заботы: в избе Самоварихи собиралось игрище. Шибановские девки как взбесились, готовы плясать каждый день или через день. Забыли и про Великий пост. Сегодня на игрище сулились ольхов-

ские. Зырин с неодобрением покосился на Митю: «Сидел бы на крыше-то! — со зла подумалось счетоводу. — И этот, Миша-то... Перетаптывается, как медведь перед страньем...»

Около Жучкова крыльца, то бишь у колхозной конторы, перетаптывался нынче не один Миша Лыткин, а всё трое, в том числе и сам Зырин, еще оравушка ребятни. Начали появляться кое-кто и большие, вроде того же Климова.

— Чево, Митрей, не пускают? — спросил Савватей и сочувственно почмокал мохнатым ртом. — Коли так, дак и скажи ему: Северьян Кузьмич, становись сам председателем! Вот и будет дело с концом!

— Ежли бы раму выставить? — посоветовал Миша Лыткин.

— Истинно, — сказал Савватей. — Все одно, што в двери ходить, што в окно.

— Ломись, отопрет! — крикнул счетоводу Куземкин.

— Нет, не отопрет! Пошто он отопрет? Он у сибя дома, — опять резонно заметил Климов. Митя поглядел на него, но ничего не сказал. Промолчал.

Народ, особенно подростковый, снова копился во круг.

— Брысь! Палоголовцы! — Володя шутливо кинулся на ребячью стаю. Малолетки отпрянули, но тут же снова начали окружать конторское крыльцо и начальство.

— Ломись! — опять приказал председатель то ли Лыткину, то ли Зырину.

Зырин постукал кулаком по воротнице. Побрякал железным колечком. Жучок не отозвался. Появился и Киндя Судейкин. «Этого только и не хватало, — в сердцах подумал Куземкин, — таких стихов навдумывает, что и до району дойдет».

— Ты, Митрей, не ладно делаешь, — сказал Киндя. — Этак не бывать вам в конторе до морковкина загонья.

Куземкин огрызнулся:

— Взял бы и сказал, как ладно делать!

— Как? Да больно просто! Ты как на святках! Полезай на крышу да в трубу-то и спой: «Жучок-мужичок, не ложись на бочок, не ложись на бочок, откинь ключок».

— Нет, Киндя, не выгорит это дело, — поправил Савватей Климов. — На крыше-то он уже севодни был, Митрей-то. Второй раз не полизёт на крышу. Надо по другому.

— А как ишо?

— Володя Зырин прикащик в лавке. Вот и пусть кричит: «Мануфактуру дают! Калоши привезли новые!» Сразу Жучок выскочит.

— Не выскочит.

Подошло еще двое старух: кривая Таня и Новожилиха.

— Так он чево, свою-то корову не выпихал? — звонко спросила подоспевшая Таисья Ключина.

— Уж доёна ли коровушка-то, — сокрушалась Таня.

— Корова-то ладно, — сказал Киндя. — А вот нас-то с тобой хто на улицу выпихал? А баушка? Пойдем-ко по избам-то, вишь, вся ты замерзла.

Только ни сам Киндя, ни кривая Таня по избам не уходи. А тут еще и гармонья възыграла за Орловым гумном. Орлово гумно от Жучкова подворья подать рукой:

Ой, спасибо Сталину,
Станем жить по-старому.
Ишо бы Рыкова спросить,
Молоко бы не носить.

— Ольховские аль залисенские? — подскочил к Зырину Ванюха Нечаев. Зырину было сейчас не до гармоньи. Он изо всей силы начал ломиться в Жучковы ворота.

— Не отопрет! — уверенно произнес Киндя.

— Не отопрет, — подтвердил Нечаев. — Пошто ему счас отпирать? Скотина во хлеву, кобыла дома. И сам в тепле.

— Да ведь старик с малолетками по миру пошел! — кричали бабы. — Неужто ему не жаль малолетков-то? Другой бы искать побежал, а он поди-ка на печь залез. И баб евоных дома нету, все три у Самоварихи.

— А ты-то чево бы стала делать? Оне только тово и ждуть, чтобы он ворота отпер.

— Хто?

— Да счетоводы-ти.

— Оно правда. Только выскочишь, обратно не заскочишь.

— Все одно выкурят!

Куземкин слушал возгласы, и ему пришла в голову хорошая мысль: «Надо призвать от Самоварихи Жучковых женщин: жену, сестру Луковку и дочку Агнейку. Неужто им-то не отопрет?»

Селька Сопронов тотчас побежал к Самоварихе...

Ждали, чем все кончится. Селька прибежал обратно и заявил, что Жучковы бабы не идут и даже не посулились. Но вопреки Селькиному сообщению у ворот вдруг появилась Агнейка Брускова. Она пришла в старом скотинном казачке, в материнных тоже скотинных сапогах, а голова была едва ли не простоволосая, покрытая то ли полотенцем, то ли какой-то застиранной скатертью.

— Вишь, все у сердешной отнели, нечего и на голову надить, — бурчала под нос Новожилиха. — А каково ей бедной? Ведь вон и робятки гулеть пришли. Гармонья играет. А у ёй и платка нету. Все отнели, нехристи!

— Цыц! — учуял Митя бабкину воркотню. — Ты чего тут опеть пришла? Пропаганду держи при себе, а то... гледи!

— Чево мне гледи? У меня один глаз и видит.

— Вот и гледи одним. А то... — Митя отвернулся. — Агнея, матушка, ну-ко постукай! Скажи отцу, что пирогов принесла. Чтобы ворота-то отпёр.

Все затихли.

— Тятя! — Агнейка всхлипнула. — Отопри, тятенька, это я...

Она тихонько побрякала колечком, но в сенях не было никаких звуков. Агнейка всхлипывала все сильнее и чаще. Она по снегу прошла к окошку, начала стучать в раму:

— Тятя, открой... — Слезы не давали ей говорить громче. — Отопри, тятенька...

Куземкин и Зырин слышали, как скрипнули двери,

ведущие из сеней в избу. Оба подалее отошли от на- ружных ворот.

«Не зря и отскочили»,— успел подумать Куземкин. Ворота стремительно распахнулись. Босой Жучок в од- них портках, с поперечным запиром в руках выскочил на крыльцо и начал крестить запиром направо, налево, вперед и назад...

Народ отпрянул в разные стороны. Митя Куземкин увернулся от удара. Успел-таки присесть и пригнать голову! В три прыжка, прямо по снегу, отскочил предсе- датель сразу метров на десять. Зырин с хохотом отбежал еще дальше. Одна Новожилиха как стояла, так и оста- лась стоять в своем продольном до самых пят сарафане.

— Обери, батюшко, уразину-то,— сказала она Жуч- ку.— Обери от греха.

Жучок остановился, увидел старуху и... начал пода- вать ей свой деревянный воротный засов. Подавал и приговаривал своим сиротским голосом:

— Бери, бери, вот. На!

— Да мне-то, батюшко, нашто запир? У нас есть.

— Бери, он ядрёной. Роспилить пополам... Оно и ладно... Еловой, крепкой...

Голые подошвы его ног, видимо, почувствовали холод твердеющего ночного мартовского снега. Жучок бросил запир под ноги Новожилихе. Агнейка, вздраги- вая плечами, тянула отца за рубаху. Она подвела его к воротам, оба скрылись в сенях. Дверное полотно в избе сильно хлопнуло.

Ворота на улицу так и остались настезь.

Народ расхохотался. Теперь одни ребятишки ждали чего-то нового. Куземкин видел издаലെка: Новожилиха подняла с дороги запир, подошла к крыльцу и пристави- ла к косяку.

Зырин спросил насмешливо:

— Ишшо пойдем?

— А ну его! — Куземкин нехорошо выругался, за- оглядывался.— Где Лыткин?

Лыткина уже давным-давно не было около Жучкова крыльца.

— Кобыла мерина едренее, утро вечера мудренее! — подытожил Зырин.— Завтре, на свежую голову разбе- ремсе.

— Игнаха опять жо... должен подъехать,— согла- сился председатель.— Давай пока по домам...

VI

Ушли все от Жучкова подворья. Осталась одна «мелкая буржуазия», как выразился Куземкин, имея в виду кое-каких ребятишек, замерзших и швыркающих носами. Эти ждали чего-нибудь еще, не дождались и быстро убрались поближе к игрищу.

Только дома в избе Митя почувствовал, как он устал и оголодал. На локтях и ладонях кровавые царапины, штаны на коленках порваны. А тут еще и матка не разго- варивала. В ответ на вопрос, где брат Санко и ушла ли на игрище сестра, только ухват забрякал. Митя пере- терпел и эту обиду, благо запахло постными щами. Пока он отмывал царапины, мать сердито раскинула на столе холщовую застиранную и залатанную на углах скатерть, вынула из стола хлеб. Молча принесла от шестка горя-

чий горшок. «Ну, нашла коса на камень»,— подумал Куземкин. Он приставил недавно початый каравай к гру- ди и начал резать хлеб. Урезки были толсты, и Митя разозлился:

— Чево лампа худо горит? Как при покойнике.

— А дано, дак ждри! В ухо не занесешь.

Ухват или лопата пирожная полетела в кути? Ку- земкин не разобрался.

— Ты в ково экой бес уродилси? — выскочила матка из кути.— Стыдно в глаза людям глеть!

— А стыдно, дак и не гледи.— Куземкин попробовал отшутиться.

Но мать налетела на него, как налетает курица на серого ястреба, когда тот камнем падает с неба на цып- лячье семейство:

— Анчихрист! Гли-ко всю черкву аредом взяли, бесы рогатые. Ты чево думал пустой головой, ковды на крышу полез?

Митя не спеша хлебал постные щи. Вспомнил отца, умершего на печи от удушья — больно много курил, покойничек! Тот никогда не ругался. Да ведь и матка раньше редко ругалась. «Эк ее рознесло нонче,— дума- лось Мите,— руками машет. Готова глаза выца- пать...»

— Ковды ты, бес, глаза-ти себе омморозил? Ковды? Стоит на самом князьке, поглядывает! я не я! Тьфу, прости меня, господи, грешную! Эково я зимогора вы- ростила... Люди все скотину по домам погонили, а он с Лыткиным на черкву полез. Тьфу, прости меня, госпо- ди, грешную... Ладно, хоть Санко корову увидел...

— Постой, постой... Где корова?

— В хриве! Ты бы дольше сидел на крыше-то, бес рогатой! А мы бы и ждали, и ждали бы, ковды тибя, беса, снимут да ты бы...

У Мити Куземкина застряла в горле еда. Он обвел избу с виду веселым взглядом своих «обмороженных» глаз. Взгляд его медленно обводил избу от дверей вдоль полавошника, на котором стоял туюсок с огуречными и капустными семенами. Ближе к божнице лежал поми- нальник — крохотная книжечка в бархатном переплете, точь-в-точь такая же, какие валялись сегодня в церков- ном алтаре. Книжечку эту было не видно, но Митя чуял, что она лежит там же, рядом с божницей. Между туюсом и поминальником и лежал «Капитал» Карла Маркса. «Тут! — Митя облегченно откашлялся.— Не выкину- ла...» Сейчас он больше всего боялся за эту книгу. Он взял ее на правах старшего у Сельки Сопронова, принес домой в тот же день, когда его поставили председателем. Положил на полавошник, все хотел читать, но так и не выкроил время.

— Корову сведешь обратно! — Митя так треснул кулаком по столешнице, что подскочила посуда.

— Нет, не сведу! — кричала мать из кути.— Сведу... Я бы ему ишшо корову обратно свела, каково лешева захотел...

— Сведешь! — убежденно сказал Митя и вышел из- за стола.— Не завтре, не утром обратно сведешь, а счас...

Тут, совсем неожиданно, раздался звон стекла, рама среднего окна со звоном разбилась, банный дресвяный камень шмякнулся на средину избы. С ревом выбежала

из куты мать, начала гасить лампу: Не слушая материнских причитаний, председатель босиком, с хлебным ножом в руке высочил в сени. Он прыгнул дальше в холодную уличную темноту. Бросился сперва влево, потом вправо. Замер по-волчьи.

Нигде не было ни души.

Куземкин не шевелился в проулке. Но много ли настоишь босиком на снегу? Сердце сильно толочилось в левом боку. Глухая и, казалось, совсем спокойная ночь давила на председателя густоющей мартовской тишиной. Пахло свежестью талых снегов, сеном и еще чем-то неуловимым, то ли звездами, то ли невидимым месяцем. Куземкин вздрогнул. В проулке почуялось что-то большое и темное. «Блазнит! — испугался Куземкин. — Нет, это кто-то живой».

— Эй! — гаркнул председатель. — А ну, гад, выходи сюда!

И махнул в темноте хлебным ножом. Шагнул Куземкин вперед и опешил: большая голова Ундера сильно всхрапнула из темноты. Левым свободным кулаком Куземкин хотел было врезать Ундеру по морде или косице. Мерин успел высоко вздернуть голову, опутанную ремненным недоуздом, и Митькин удар пришелся в пустое место.

— Задрыга; ествою в корень! — ругался Куземкин, словно во всем был виноват мерин Судейкина. — Ну погоди, я тебе ишшо покажу...

Но лошади не кидают камнем по окнам. Пятки совсем зашлись от холода. Куземкина осенило. Он распустил веревку ундерского недоуздка, привязал мерина к баясине своего крыльца. Заскочил в избу, лихорадочно обулся, накинул пиджак и шапку.

— Ой, убьют! — запричитала мать. — Ой, Митюшка, запри ворота, ой, не ходи некуды!

«Только что ругала на чем свет стоит. Теперь Митюшка», — подумал со злостью Куземкин. Он велел ей заткнуть окно тряпьем и снова высочил на крыльцо. Забираться на широкую, плоскую как столешница спину мерина пришлось с изгороди. Митя погнал коня в сторону Ольховицы.

Все было тихо, только бухали о дорогу большие круглые копыта и ёкала ундеровская селезенка. Еще слышал Митя, что когда двери Самоварихиной избы открывались, то на шибановскую улицу вылетали веселые звуки гулянки. Ольховские плясали под свою гармонию, завлекали шибановских девок. На миг блеснуло Мите Куземкину черными своими глазами лицо Тоньки-пигалицы, сладко кольнуло в груди что-то ревнивое, но Мите было не до того. Он бил концами поводьев по ундеровским бокам. На околице у самого отвода могучая туша мерина вдруг резко застопорила. Председатель полетел через лошадиную голову. Он не выпустил поводьев из рук и, может, оттого ударился о дорогу не очень сильно, но в тот же миг послышался резкий хлопок. (Куземкин видел огонь от выстрела.) Ундер шарахнулся в сторону, увлекая председателя в засыпанную снегом канаву.

— Кто едет? Стоять на месте! — услышал Митя голос Игнахи Сопронова. Снег набился в уши и в рот. На дороге чернела встречная лошадь.

— Я, я! — отозвался Куземкин, отплевавшись от

снега. — Это я, Павлович! Подёржи мерина, а то убежит...

Ундер, однако ж, не собирался бежать. Митя вылез из снега. Сопронов убрал наган.

— Я за тобой, Павлович! — Митя только сейчас испугался выстрела. — Значит, так, контра по деревне пошла, я за тобой...

— Какая контра?

Митя сбивчиво рассказал про свою разбитую раму, про запри Жучка.

— Ну, не велика эта контра, — утешил Игнаха. — Этих-то мы успокоим. Садись в сани!

Митя привязал к саням повод от Ундера и сел рядом с Игнахой. Двинулись... снова в сторону церкви, в Поповку.

— Найди мне Сильверста, ежели он не дома, — сказал Сопронов, — срочная телеграмма, сбежал какой-то высланный, Ратько по фамилии. Выставляй посты по дорогам. Срочно!

Таким долгим оказался у Мити Куземкина этот день, что он уже и забыл, с чего этот день начался. И конца ему, этому дню, не предвиделось. Мите казалось, что топающий сзади Ундер чувствовал то же самое.

* * *

Дело случилось так, что, когда начали разводить лошадей по домам, Судейкин почему-то не стал торопиться за своим Ундером. Может, поленился, может, не захотел бегать, как бегали все подряд. «Все равно ведь рано ли поздно отымут», — оправдывая себя, думал Киндя. К паузне он явился домой, и все бы ладно, кабы не домашняя ругань. Жонка очень уж сильно ругалась: «Иди за меринком!» Сама веревку в руки и побежала искать корову. Девчушки запищали все разом, как галчата: «Тятя, сходи! Тятенька, приведи!» Пришлось Кинде подыматься на ноги и выходить из дому.

На улице как и до этого творилось не поймешь что. Ворота в домах — настезь, солома везде рассыпана. Деревня шумела пчелиным роем. Крик, смех, будто разговелись в Христов день и не могут остановиться. Из дома в дом бегают. Здороваются по два раза. Мужики снуют из конца в конец, ищут сбрую. Бабы кричат. Но и кричать времени нет, не то что поговорить. Коровы мыркают. Овцы, эти самые бестолковые, разбежались по всем проулкам и блеют самосильно, собаки лают, ребята все возрастов шныряют и тут и там, орут кто во что горазд. Праздник не праздник, а таких дней не было на веку!

Киндя оставил корову на завтра, а приволок-таки домой свою суюгную овцу, сунул ее прямо в теплую избу: «Нате, девки, тешьтесь пока!», а сам опять подался на улицу. Тем временем в деревне стало тише. Начало уже и смеркаться, когда нашел он Ундера у нечаевского гумна. Обуздал, как, бывало, когда-то, и сказал вслух: «Ну, брат, чего это тебя все к Нечаеву клонит? Видно, захотел ты в Красную Армию!»

Ундер всхрапнул, передернул большими как рукавицы ушами. «Да не возьмет тебя Ворошилов, бракованного! — продолжал Киндя. — Пойдем, батюшко, домой, будем весной землю пахать...»

Судейкин повел мерина ближе к деревне, а в деревне-то... опять события: Жучок раскулачил Митьку Куземкина! Отнял-таки у колхоза контору, забрался внутрь и никого не пускает. Судейкин опять оставил мерина на второй план, привязал его к своей черемухе, сам скорее к Жучкову подворью, а после в Шибаниху пришли на игрище то ли ольховские, то ли залесенские. Гармонья играла как ошпаренная:

Мы по берегу, по берегу,
Милиция за нам.
Оторвали... яйца,
Положили в карман!

Нет, это пели не ольховские, решил Судейкин. Ольховским эдак не вывести. Эти на усташинских смахивают. «Наверно, залисяна,— утвердился Киндя,— больше некому».

Во Залисенский колхоз
Загнали нас в мороз.
Ой, спасибо Сталину,
Станем жить по-старому...

Очень понравилась вторая песенка, но было обидно, что пришла-то она из другой деревни. Не шибановская! А что, неужто шибановские хуже других и прочих? Судейкин не утерпел и чуть не бегом в избу к Самоварихе. Объявился на игрище, влетел в самую гущу. Не спросясь разрешения, выскочил на середку, где оставалось немного местечка, и спел во всеуслышанье, сквозь шум гулянки, пересилив все говоры:

Ой, калина-мáлина,
Закружило Сталина.
Закружило-повело
Все шибановско село.

Чья играла гармонь? Вроде бы зыринская. Кинде некогда было разбираться, пляши, пока играют, благо под ногу. И он сплясал. Сплясал ухватисто. Останавливался только для того, чтобы успеть спеть частушку:

Самовариха-вдова
Тоже кругом голова.

— Ну, теперь переберет всех! — вздохнул кто-то из шибановских. Девки заверещали, начали дергать Судейкина за полы, им надо было плясать самим. Но Киндя не останавливался. Слушая хохот и одобрительные возгласы пришлых ребят, он успевал придумать частушку, пока делал круг с переплясом:

Женихи ольховские
Все оне таковские,
Девки в положенье,
Головокруженье...

Гармонь затихала на этих местах, чтобы было лучше слышно частушку. И Киндя Судейкин старался как никогда:

Председатель на трубе,
Счетовод на крыше,
Председатель говорит:
Я тебя повыше!

На этом месте Володя Зырин заглушил игру, да и самого плясуна девки стащили с круга. «Пусть пляшет! — кричали залисяна.— Пускай и нас проберет...» Они припасли для Кинди своего гармониста, но Судейкин уже потерял пых и заотказывался:

— Нет, больше плясать не стану. Вот ежели Тонюшка к горюну позовет, товды тольки и попляшу.

Тонька-пигалица и впрямь пошла к горюну. Ее позвал туда, за Самоварихину печку, Акимко Дымов. Этот все еще торил шибановскую дорожку. У Кинди скопились слова для новой частушки. Тут он и вспомнил про своего мерина: «Подростки, того и гляди, отвяжут. Тогда вдругорядь ищи его по всем гумнам и закоулкам».

Судейкин выскочил из суматошной Самоварихиной избы, торопливо приковылял к черемухе. Как чуюло сердце, так оно и вышло! Ундера не было. Даже не числилось... «Отвязали, дьяволята,— решил Киндя.— Отвязали, он и убрел. Ундер-то... А может, катаются?» Судейкин выругался, однако ж расстроился не так уж и сильно и только подумал: «Вот ведь что значит привычка. И я, видно, привык к колхозной-то жизни. Не надо, стало, и мерина. Да и Ундер, наверно, привык, далеко не уйдет. Тут где-нибудь... Найду».

И Киндя поворотил обратно на игрище. На крыльце он широко раздвинул руки, загородил дорогу Тоньке-пигалице, которая на ходу затягивала платок:

— А ты куда? Бегу и думаю, счас Тонюшка меня к горюну созовет, я у своей бабы разрешение на это взял. Нарошно домой бегал.

— Ой, отстань к водяному! — Тонька увернулась от Кинди и спрыгнула с крыльечка. Не оглядываясь, побежала она к своему дому.

* * *

Что ей это веселое игрище, эта пляска и все столбушки? Не нужен ей и Акимко Дымов — самолучший ольховский парень. Тоже вроде нее: все еще сохнет по старой сударушке...

Ей часто снился тот теплый дождь и гроза, полыхающая над ночной Ольховицей. Как хорошо гостилось тогда у крестной... Проливной дождь, теплая ночь. Желтый свет керосиновой лампы, чистые половики на полу и запах сула. Запомнились тикающие ходики, запомнилось даже, где стояла минутная стрелка, когда он сказал: «Мне надо поговорить с тобой. Ты знаешь о чем...» Он просил ее поговорить с братьями, посулился прийти в Шибаниху послезавтра. Но он не пришел ни через неделю, ни через месяц. И только горница ольховской крестной осталась такой же как тогда, и Тоня много раз была там в гостях... И что же ей делать теперь? Ребята, и свои, и чужие, зовут к горюну. Владимир Сергеевич не дал ей никаких вестей. Жив ли он, она тоже точно не знала. А сердце подсказывало все свое, все свое. Живой он! Где ни на есть, а живой... Да ей-то что делать? Никто, кроме двух старинных подружек, не знал, по кому Тонюшка тоскует и сохнет. Ни братья, ни мать родная, ни крестные — шибановская и ольховская — не знают того. Только одна корова Красуля знала про Тонькины слезы. Да и то, может, только догадывалась...

На игрище, в самый разгар пляски, Тоня вспомнила про корову. Отказалась девка идти к горюну к очередному ухажеру. Парень из чужаков обиделся, но ему тут же пригласили другую. Тоня ухмыльнулась и была такова. Что ей этот горюн? Дома Красуля ждет, стоит не доёна. Одна и была корова в хозяйстве, но братчики и одну

сдавали в колхоз... Отелилась в чужих людях, на холодном подворье. И вот сегодня вдвоем с телянком стояла Красуля дома, во своем теплом хлеву, ждала, наверно...

Брат Евстафий никогда не ходит на игрища. Опять читает какую-то книгу, мать на печке. Тоня схватила давно не троганный подойник. Она ошпарила посудину самоварным кипятком, самовар еще горячий стоял у шестка. После этого сунула в рыльце вересковую, еще днем припасенную веточку.

И побежала доить...

Деревянный фонарь, подвешенный на штыре, еле светил. Даже и при таком свете было видно, что стало с Красулей. Тоня чуть не заплакала: широкое коровье брюхо, передние до колен, а задние ноги целиком, все в грязи и в сухом навозе. Телянок тыкался с другого боку. Тоня сразу почувствовала, что доить было нечего, давно все высосано. Кому было отлучить телянка, ежели с новотелу иной раз и недоенной стояла Красуля? Хоть живыми оба остались и то ладно... Завтра братаны отгородят телянку место, сегодня не успели.

Тоня отнесла почти пустой подойник обратно в избу. Нацедилось всего один ставочек. Хотелось привести в чувство Красулю, помыть вымя теплой водой, отмочить и выскребсти навозные бляшки. Вот только скребницы-то нет! Скребница корове сроду была не нужна, вся скотина всегда стояла на хорошей хвойной подстилке. Только у лошадей выскребали линияющую шерсть.

Тоня вспомнила, что самая ближняя скребница — у Роговых. Скинула девка скотинный дворной казачок, набросила на плечи теплый платок и побежала к соседям. Она не стала проходить в красный угол, вызвала Веру к дверям и попросила что надо. Вера зажгла фонарь, сходила за скребницей на верхние сени. Большой живот мешал жене Павла Рогова наклоняться, ходила она совсем тихо. Тоня взяла скребницу и обратно бежать, но Вера шепотом остановила подружку: «Помешкай! Ну-ко, на ушко чевото скажу. Да и покажу кой-чево...»

Она провела Тоню в куть, где горела лампа, сходила к шкафу и украдкой показала фотографию с Василия Пачина. Они пошептались в кути, пока дедко Никита не позвал к самовару. Тоня стремглав убежала домой...

Господи, что делать ей? Матрос в каждом письме через Веру наказывает ей поклоны, она же только отмалчивается да отшучивается. Теперь знает про то вся деревня. И все ругают ее, все хвалят ей жениха с черными лентами и светлыми пуговицами. И только две живые души, Вера да Палашка Евграфова, знают, что у Тонюшки на уме. Вон Верушка опять свое твердит: не хватит ли бегать по игрищам? Чего говорить, вот-вот родит Вера второго. Палашка тоже вот-вот... Пусть и незаконного, а ведь давно уж не девка. Одну тебя из всех ровесниц все еще зовут ко столбам. Одна ты выплясываешь на игрищах... Или наказать Верушке, чтобы писали Василью и от нее, от Тони, поклон? Только стоит сказать... «Господи, прости меня, грешную...»

Тоня, не заходя в избу, опять бежит в хлев к своей Красуле. Фонарь как висел, так и висит на штыре. Она пробует отдирать скребницей насохший навоз, корова с непривычки взбрыкивает. Сунулась в другой угол

хлева. «Красуля, Красулюшка! — зовет корову хозяйка.— Иди, матушка, сюда!» Корова не хочет ни мыркнуть, ни оглянуться. Телянок бестолково тычется под материнское брюхо. Руки у Тони опущены...

Стук в обшивку выводит девуку из слезной задумчивости, она хватает фонарь и бежит из хлева к воротам. Пока бежала да открывала — ушли. Только в снежном смыгу у крыльца торчит осиновая доска со вделанным в нее длинным еловым колом. На доске крупно намалевано зоревым суриком: «Десяцкой».

Тоня поправляет кол, чтобы стоял прямо. Думает: «Чего-то больно скоро дошла очередь. Неужто пошла седьмая неделя?»

В Шибанихе сорок два дома. Пока дойдет очередь быть десятским, минует ровнехонько шесть недель. Не часто приходится быть дому десятским. Раньше дел у десятских было совсем немного. Пустить ночевать проезжих начальников, провести слепого до соседней деревни, загаркать народ, ежели собирался сход,— вот и вся забота. Правда, это кроме ночного дежурства, установленного в колхозную пору.

Теперь проезжий начальник не станет ночевать где попало. Зато много собраний. Нищих тоже прибавилось, а нынче и ночевать-то пустят не в каждую избу. Скажут, что тесно, а сами боятся вшей, возьмут да и отправят к десятскому. Как тут и было! Легки нищие на помине...

У крыльца стояла нищенка, но не с корзиной как обычно, а с заплочным мешком. Она молча стояла в мартовской темноте.

— Ты чья? — спросила Тоня.— В дом проходи, чевото стоять-то...

Женщина не отозвалась и даже не пошевелилась. Тоня испугалась:

— Ты нищая?

— Ни! Мы украинки...— послышался грудной совсем не старушечий голос.— Я не сама, там ще двое. Засланы...

— Так чевото на дороге-то мерзнуть? Пусть в избу идут!

— Нас к вашей хати послали. Нам только до ранку... Две такие же закутанные женщины и тоже с мешками подошли ближе:

— Добри день...

— Заходите. Здравствуйте.— Тоня открыла сначала ворота в сени, затем дверь в избу, чтобы осветить сени. Она привела выселенок в тепло своей большой пятистенной избы:

— Разболокайтесь!

Женщины сволокли с плеч поклажу и развязали платки. Шерстяные однорядные сачки они не стали снимать.

— Да вы не стесняйтесь! — Тоня уже тащила из кути вчерашние пироги, выставляла из шкафа посуду и сахарницу:

— Ой, чевото это вы?

Три миловидные девичьи лица, три пары темных опущенных глаз сверкнули и опять закрылись ресницами.

Неужто плачут? Тоня испугалась и позвала мать, но матери в избе не было, не было ни младшего холостого,

ни второго брата с невесткой. Вся родня ушла, наверно, гулять к соседям.

— Садитесь на лавку-то! — Тоня рассердилась и от этого стала смелее.— А я самовар буду ставить...

— Ни! Ничого не треба, нам тильки переночувати. Меня Грунею кличут, а вас не знаемо как кличут.

— Тоней! Откудова сами-то?

— З-пид Киева... Ратько наша фамиль.

Тонька-пигалица бросилась в куть наливать самовар. Та, что постарше, вытерла слезы, сняла свой летний сачок, под которым оказалась шерстяная зимняя кофта. Двое, что помоложе, тоже сняли сачки. Тоня, щепая лучину, успела с изумлением увидеть яркие украинские сарафаны и кофты. Но когда глянула на ноги выселенок, сердце сжалось. Что это у них на ногах? Какая-то смесь обледенелых веревок и тряпок, что-то совсем несуразное вместо валенок. Тоня на время отступилась от самовара и кинулась искать на печи сухие теплые валенки.

Пришел Евстафий, но поздороваться постеснялся. Прибежала мать из хлева и долго охала и всплескивала руками, когда узнала что к чему:

— Матушки! Да как это вы эк? Да откуда за день-то пришли? Ой, господи... Ну-ко, полезайте на печь-то, погрийтесь пока. Полезайте ради Христа! У нас печь-то большая, уляжетесь вси три. Тонюшка, подай чево в изголовье-то. Есташка, чево сидишь? Постели-то притаци с повети, пусть отумятыся с холоду...

Евстафий натаскал набитых соломой постелей, подушек и одеял. Второй брат с невесткой ушли в ту половину. Ужинали в два присеста. Ночлежниц не стали особо расспрашивать, они боялись рассказывать. Мать улеглась на печи, брат Евстафий на свою кровать за шкапом. Выселенки тихо уклались на набитых соломой постелях. Тоня принесла из сенника еще две подушки и новое только что выстеганное одеяло. Не пожалела и своего приданого, только выселенки наотрез отказались укутываться новым. Ей пришлось укутывать их шубами...

Тоня не сразу уснула на своей железной кровати.

Свет погасили за полночь. Не успела доглядеть какой-то уж очень хороший сон, как под шестком встрепенулся и заголошно пропел петух. Вскоре после того в ворота начали стучаться. Тоня, раздетая, выглянула в холодные сени:

— Кто?

— Десятского требуют! Сопронов требует! К Лошкареву...

Тоня по голосу узнала Мишу Лыткина.

В избе тревожно зашевелились девушки-ночлежницы. Тоня успокоила их, шепотком рассказала об очереди. Все опять улеглись. На вызов ушел брат Евстафий. Тоня забралась под одеяло. Какой уж тут сон? Через час-полтора маменька встанет, зажжет лампу, покрестится на икону и снимет с печи квашню. Руки умоет и станет замешивать. А тут и лучину надо щепать, открывать трубу, брякать печными вьюшками. Красулю идти доить, теленка отгораживать... Уже хотела Тоня встать, да не заметила, как снова уснула.

* * *

Выбитая ступенька на лошкаревской лестнице приподняла в чувство всех сонных, задумчивых и нерасто-

ропных. Тут можно было и зубы себе выбить, если не знаешь. Все равно, красный угол Сельки Сопронова завлекал к себе, особенно мужиков и парней. Правда, завлекал днем, а не ночью.

Евстафий надел валенки на босу ногу, думал, что идет в избу-читальню ненадолго. Оказалось, надолго, чуть ли не до утра... Свет полыхал во все окна. Внутри Митя Куземкин пытался растопить печку, но ничего не мог сотворить кроме дыму.

Сопронов ходил от угла до угла бывшей лошкаревской горницы. Десятилинейная лампа, вывернутая во весь фитиль, горела под матицей. Банный с крошками дресвы камень лежал на газетной подшивке. Миша Лыткин сидел на скамье, около второго стола. Ерзал Миша, много раз пробовал уйти, но каждый раз Сопронов приказывал:

— Сиди! Еще потребуешься.

И Миша трусливо сидел. С приходом десятского он заикнулся было насчет «ночной поры». Сопронов не пристал к разговору. Десятский Евстафий успел лишь поздороваться, сесть не успел. Сопронов остановился, начал загибать пальцы на левой руке:

— Нечаев Иван — раз! Брусков Северьян — два! Судейкин Акиндин — три, Ключин Степан — четыре. Пятый счетовод Зырин! Всех суда. Повестки писать не буду, под твою личную ответственность как десятского! Одна нога тут, вторая там!

Посредине ночи десятский ушел загаркивать... Сопронов уселся за стол, вынул из сумки бумагу. На нем были белые валенки с длинными голенищами и в новых калошах. От калош тянуло свежей резиной. Голенища доходили почти до пахов, подпирали и топорщили широкие карманы синих, сшитых из чертовой кожи галифе. Топорщился и внутренний правый карман черного суконного пиджака. «Наган! — догадался Куземкин.— Хоть бы разок дал по вороне пальнуть... Не даст, и просить не стоит».

Куземкин опять начал до головокружения дуть в печку. Сырые березовые дрова не желали гореть, распотка кончилась.

— Эх ты! — неожиданно засмеялся Сопронов и вскочил из-за стола.— Садовая твоя голова! Трубу не открыл, а дуешь.

Митя поднялся с колен. Труба и впрямь оказалась закрытой!

— Ну, естой корень! Кх...— бормотал Митя.— Откуда я знал? Это ведь ты, Миша, распотпал!

— Все на Мишу! — Лыткин перестал клеветать носом.— Опеть виноват Лыткин.

— А што, я, што ли? — сказал Куземкин.

— Ладно, ладно! Тише,— приказал активистам Сопронов.

Пришлось выпускать дым через двери. Печка погасла. Воздух ворвался свежий, но с холодом. Сопронов накинул на плечи полушубок и снова сел к столу.

— Так... Значит, говоришь, так и спел: «Калина-малина, закружило Сталина?»

— Так и спел.— Куземкин подвывернул в лампе фитиль.— Спел принародно. Мне Санко-брат рассказал, он врать не станет.

— А Савватей Климов? Унес упряжь?

— Дугу нес, видели все. Про хомут не знаю. Мишка, это почему у нас лампа гаснет?

— Опеть на Мишку,— шевельнулся Лыткин,— ты с Сельки спрашивай, а не с Мишки.

— Где карасин?

Лыткин начал искать за печью четвертную бутылку с керосином. Она стояла в углу в берестяной оплетке, но оказалась пустой. Ругань из-за лампы и керосина оставил десятский, возвратившись с загаркивания.

— Ну? Всем сказал? — спросил Сопронов и притрушил зевок.

— Не идут.

— Это как так?

— А тақ. Еще и обругали чуть не в каждом дому... Сопронов ногой, с грохотом, отпихнул скамью, схватил сумку:

— Кто обругал и как? Записать дословно!.. Куземкин, лично пойдешь по домам. А ты, товарищ Лыткин, чего хранишь?

Неизвестно, что бы выкинул дальше председатель Ольховского сельсовета, если б лампа в лошкаревском доме совсем не завяла. Огонь замирал, по ламповому стеклу косынейю пошла копоть. «Вишь, ленточка коротка. Воды бы долить, оно бы еще погорело»,— обследовал освещение Миша Лыткин, но и воды в Селькином графике тоже не было. Поэтому Сопронов замолчал, ничего не стал говорить в ответ на Митино предложение. Куземкин сказал, что надо сегодня идти по домам, что завтрашний белый день выявит в Шибанихе всю черноту, всю главную контру...

Когда начальники ушли, Миша Лыткин долго не мог снять с гвоздика коптящую лампу. Подставил скамью, снял и старательно дунул сверху в стекло. Лыткин дул, пока не догадался совсем увернуть фитиль. Большой красный огарок Миша не стал гасить, в темноте на ощупь повесил лампу обратно. Головокружение от усиленного дутья прошло у Лыткина только на улице, на свежем весеннем воздухе.

Тихо стало в деревне Шибанихе. Все спали. Один Ундер стоял посреди шибановской улицы. Стоял как неприкаянный, ждал хоть кого-нибудь.

«Вишь... Чево это Киндя забыл про своего мерина? — подумалось Лыткину.— Экой большой мерин-то, наверно с овин...»

Миша Лыткин шел по Шибанихе еле живой. Шел ночевать, хотя спать было уже некогда, начинался расцвет.

VII

Печь затопили первыми Новожиловы, за ними Ключины. Задымила вскоре и вся Шибаниха. Труба бывшего поповского дома, где жили теперь братаны Сопроновы, тоже кужлявилась. Игнаха первый раз ночевал на новом месте. Пробудился он в пустой кровати, жены рядом не было. В качалке кричал ребенок. «Не дал, пашенок, поспать! — с улыбкой подумал Сопронов.— Как назло всю ночь и горланит».

Лежа на широкой поповской кровати, Сопронов нащупал под подушкой согрвшийся за ночь наган. Каждый раз по утрам, нащупывая эту штуковину, ощущал Сопронов ее верную тяжесть. Он молодел в эту

минуту, твердел зубами и наливался решимостью. Вспоминал, как после вручения партбилета Яков Наумович вызвал к себе и... совсем неожиданно послал в милицию. Там Сопронову велели писать расписку в получении оружия.

Ребенок орал в поповской деревянной кровати. Ножки кровати вделаны в закругленные поперечины, чтобы можно было качать. «Ишь ведь чего придумали,— хмыкнул Сопронов.— Крашенная...»

Печь дымилась, голова с похмелья и недосыпу болела. (Зоя вчера ночью выставила бутылку.) Сопронов отбросил атласное стеганое поповское одеяло. Ноги в давно не свежих кальсонах перекинул на край кровати. Поспешно натянул галифе, сунул наган в карман пиджака, висевшего на вешалке, и босиком подошел к деревянной кровати-качалке. Качнул. Ребенок завопил еще громче. Трещала топящаяся печь, младенец кричал. Селька спал или притворялся, что спит в прихожей, куда перетащили бывшую кровать Марьи Александровны. Вчера Селька до первых петухов просидел в гунне, караулил дорогу в Залесную. Никого не видел. «Где жонка? — разозлился Сопронов.— Затопила и сама убежала...» На самом деле злился Игнатий Павлович не на жену Зою, а на брата, который не вставал. Зоя работала на молочном пункте, затопила и, может, убежала туда, а этот чего дрыхнет?

Сопронов сильно качнул кровать, и ребенок затих. Глазенки бреснули. Роговушка валялась сбоку, одеяльце сбилось. Что-то похожее на жалостливую нежность шевельнулось в душе Игнахи и тотчас исчезло, потому что ребенок вновь заорал. Сопронов начал совать в рот младенцу холодную раскисшую коровью титьку, натянутую на бараний рожок, куда наливалось коровье же молоко. Но молока в рожке не было, и ребенок выплевывал титьку. Сопронов терял терпение. В прихожей встал Селька, оделся и босиком сходил в нужник.

— Сильверст! Качни парня, я хоть пока умоюсь,— позвал брата Сопронов.

— Самы родили, сами и кочайте. Я не обязан,— явственно буркнул Селька.

Сопронов скинул зубом, но промолчал. Селька полез на печь за валенками. Ему надо было идти в старый дом, топить печь и чем-то кормить отца. Еще на нем была изба-читальня, вернее красный угол в лошкаревском доме, там тоже надо топить, а дров не было. Все это Сопронов знал и потому промолчал, но раздражение против братана имело еще одну причину. Уж больно быстро газета со статьей Сталина выскользнула вчера из Селькиных рук. Не надо было отдавать почту этому дураку! Ведь как наказывал: никому не давать. Мало ли что пишут в Москве! Да и Яков Наумович велел держаться прежнего курса.

Велел-то он велел, а сам был да нет. Уехал в район того же часу, а тут делай, что знаешь...

Почему это на них, на местных коммунистов, кивает товарищ Сталин? Разве не от него с Кагановичем шли директивы и указания? Статьями-то сверху проще отделяться. А тут по низам все расплозлось в разные стороны. Шей да пори, не будет пусной поры. В Ольховице за какие-то полчаса скотину колхозную развели по домам, того скорее растащили сено и упряжь. Все пого-

ловно, кроме Митьки Усова и Гривенника, подали заявления на выход. Даже член партии объездчик Веричев написал заявление, правда, потом, после разговора, порвал на глазах. От Гривенника с Усовым да от наставницы Дугиной много ли пользы? Тут, в Шибанихе, колхоз развален до основания, в Залесной та же история. Кто бросил камень в окошко Куземкина? Найдем кто! Не отвернутся...

Так думал Сопронов, пока не пришла жена. Она угомонила ребенка, поставила разогретые перед огнем вчерашние щи:

— Ешь, Игнаша, да хлеба нарежь! А ты, Селиверст, куда? Похлебай, потом и беги! Сейчас Таня кривая придет. На ночь-то не остается, а днем, сказала, будет ходить.

Обжигались, хлебали вчерашние щи, потом Зоя принесла ладку с жаренной на бараньем сале картошкой. Ребенок орал.

— Может, девчонку какую подрядить? — заметил Сопронов. — Эта Таня больно говорить любит. Молитесь того больше.

— Да я уж думала... Вон Жук ходит по миру, с ним двое... Одна-то ростом порядочная.

Сопронов не дослушал. Положил ложку, встал и глянул на Сельку:

— Ключ у тебя? Иди затопи! Да не у отца сперва, а у Лошкарева!

Не глядя на жену, Сопронов зажег фонарь. Семья живет в новом доме, а он не видел этого дома со дня раскулачивания.

* * *

Дом в Поповке был не один, а два, с просвирниным даже три. Поповны Вознесенские жили в двухэтажном, в нижних комнатах. (В одноэтажном доме размещалась когда-то приходская школа, в боковушке до самого ареста обитал отец Николай со своей попадьей.)

Сопронов обошел обширную пустую повесть сестер Вознесенских, где не имелось ни соломы, ни сена. Хлевы внизу пустовали, поповны еще до раскулачивания продали корову. «Успели, спроведили...» — подумал председатель и открыл двери в омшаник. Шесть домиков с ульями стояли на подставках. Сопронов по очереди подставлял ухо к каждому домику. Глухой, еле различимый шум внутри каждого улья был похожим на шум закипающего самовара. Сопронов поднялся наверх, толкнул в двери главного сенника. Три сундука были не заперты. Сопронов откидывал крышки одну за другой. Холсты, платы, полотенца... Одежда почти вся деревенская, только одна модная душегрея — городская. Он осветил фонарем над большой четырехугольной корзиной, плетеной из дранок. Книги!

Сопронов вывернул фонарный фитиль, чтобы прочесть названия. «Вологодские епархиальные ведомости», «Троицкие листки»... Он читал и откидывал, читал и откидывал. Религиозная дрянь... Днем надо открыть на повети большие ворота, вилами выкидать на улицу, отвезти на дровнях в поле и сжечь...

Сопронов не успел открыть вторую кладовку, внизу послышался голос Куземкина. С кем он там разговаривает? Вроде бы со старухой Таней. Раздражение на-

растало вместе с рассветом. Отчего оно нарастало? Сопронов вышел на крыльцо. У ворот топтался Куземкин. Стоит ли приглашать его в дом? Старуха поздоровалась и тоже остановилась.

— Ну? Чего встала? — спросил Игнаха.

— Я, батюшко, водиться с робеночком.

— Ну так и иди.

Сопронов отвернулся к Мите Куземкину и поздоровался с ним за руку:

— Пошли сразу в читальню!

Митя в недоумении крикнул:

— Пошли. Я что... Каково ночевалось-то?

Холостяк Митя конечно же намекал на ночь, проведенную Сопроновым с женой в поповской кровати. Сопронов сдержался. Отмолчался.

Деревня сегодня безлюдна, спокойна. Дымились последние запоздалые печи. Небо начинало светлеть, вставала розовая заря. Слово и не было вчерашней суматохи. Сопронов на ходу резко спросил:

— Где корова?

— Какая корова? — Митя сначала как бы не понял.

— Твоя!

— Дома... — признался Митя. — Забыл сказать, вчера-то...

— Девичья у тебя стала память, Куземкин. А лошадей?

— Лошади, Павлович, у меня не было.

Труба над лошкаревской крышей дымила в синее шибановское небо. В избе-читальне опять было дымно, но не от печи, а от трубокоров. Миша Лыткин и Кеша Фотнев сидели на корточках и палили махорку. Селька топил печку точеными балясинами, выломанными из перил лошкаревской лестницы. Сопронов за руку поздоровался с Кешей и с Мишей Лыткиным. Сел за стол, на котором лежал вчерашний дресвяный камень.

— Так...

Все стихли. Игнаха обвел активистов почти добродушным взглядом.

— Так... Где десятской?

— Дак тут вроде, прибегала уж... Тонька-то-пигалица, — осторожно сказал Миша Лыткин, и снова стало тихо. Только трещали и плавилась в печке крашенные точеные балясины.

— Ну, вот что! — сказал Игнаха. — Ты, Миша, беги за десятским... И ты, Сильверст, иди по своим делам! Скажи жонке, чтобы к вечеру баню... А ты, Асикрет Ливодорович, пока останься.

Когда Лыткин и Селька исчезли, Сопронов поглядел на Кешу:

— Какова жизнь, Асикрет Ливодорович?

— Да ведь что, Игнатей да Павлович, — поежился Кеша. — Жизнь она все такая, се вверх головой.

— Не напостыла тебе твоя изба? Ежели не напостыла, дак и живи.

— Да ведь я што, я бы, конечно дело, пожил бы и в опушоном дому. Да, вишь, средств-то нет, ежли купить.

Сопронов отодвинул на столе камень и подвинул чернильницу:

— Вот! Пиши заявленье. Дадим тебе в счет колхозной ссуды дом Евграфа Миронова!

Кеша не поверил своим ушам:

— Евграфов?

— Евграфов.

Кеша опять как-то остолбенел. Но постепенно стал оживать, задвигался на скамье, начал глядеть то на Сопронова, то на Куземкина.

— Пиши, пиши! — поддержал Куземкин. — Вот тебе чистая грамота.

— Дак это... А самово-то ево куды?

— Ево в твою. Ежели не отправим еще дальше, — сказал Сопронов.

— Да я, вишь, это... Грамота-то моя не больно. Ежели бы кто написал, а я расписаться-то дож.

— Ну, с тебя поллитра, — сказал Митя. — Я тебе напишу заявленьё...

Митя взял клоч бумаги и сел за стол. Сопронов разглядывал камень:

— Дресва... Из банной шайки. Вот только из чьей шайки? Как думаешь, Асикрет Ливодорович?

Ошеломленный Кеша не сразу и понял, о чем его спрашивают.

— Шаек-то, Игнатей, оно много... В каждой бане есть. Шаецьки-ти. Думаю, надо робетешек спросить, дело такое. Игрище было у Самоварихи... Жучково семейство ночует там жо...

Кеша не договорил, заскрипела лестница. Дверь открылась, запыхавшаяся Тоня поздоровалась и остановилась у порога. Куземкин откинулся от стола:

— Ты вот чево скажи, Антонида! Десятские нонче кто?

— Мы. — Тоня перевела дух.

— А кто это у вас ночевал-то? Не выселенцы?

Тоня молчала. «Откуда узнали? Да ведь узнать не диво, деревня большая», — подумала девка. Сопронов кивком приказал Куземкину продолжать писать и сам обернулся к Тоньке:

— Беги и скажи им, чтобы шли суда! После этого сбегаешь за Иваном Нечаевым.

Тоня, не говоря ни слова, повернулась и в коридор. На улице она и впрямь побежала. «Углядел кто-то. Либо Евстафей сказал...» На бегу — какие же мысли, какие думы? Только и вертелось одно в голове: дома ли братья с невесткой. Собирались ехать за сеном. Дровней у двора нету, видать, уехали. Маменька баню налаживает, сегодня суббота. Тоня не вбежала, а влетела в избу... Господи, что это? Посередине избы лохань с теплой водой, все три украинки босиком. Подола подоткнуты. Ноги голые выше колен, ладно, что мужиков нету. У одной в руке тряпка затирать пол, у второй голик. Третья в ведре щелок разводит. Ой, девушки, матушки! Тоня к той, что постарше, ко Груне:

— Кидайте все! Вас ведь зовут!

— Куды зовут? — Все трое стали белее известки.

— Уходите! Идите потихоньку деревней-то, у гумна дорога направо в Залесную! Десятского по деревням больше не спрашивайте. В Залесной спросите баушку Миропию. В других домах ночевать тоже пускают...

Тоня из избы вон, да только вспомнила, какая обутка у той, что постарше, у Груни. Вернулась Тонька-пигалица, быстро слазала на полати, подала старые подшитые валенки:

— На-ко вот! На воду-то не ступай...

— Ой, милая! Да что ты. — Выселенка заплакала, обняла и сует Тоне какую-то денежку.

Тоня отскочила, замахала руками:

— Обувай, обувай с Богом. Да скорее. Как бы сюда не пришли...

Сама во двери и за Иваном Нечаевым. Может, забудут про выселенок-то? Нечаев придет в читальню, пойдет у них разговор. Той минутой и успеют девки уйти. А куда бедным идти? Везде свои митьки с игнашками...

И Тоня бежит к Нечаевым еще прворнее. Если б она знала, сколько раз до вечера придется ей снова вдоволь по деревне, может, не стала бы торопиться.

В читальне стало теплее. Не столько от лошкаревских балясин, сколько от мартовского первого солнца, бьющего в окна. Сопронов листал бумаги. Кеша Фотиев давно убежал. Готовится к переселению в Евграфов дом. Обиженный Лыткин сидит за печкой, не разговаривает. Куземкин то и дело глядит в окно. Нечаев не шел. Тонька сказала, что у Нечаевых пекли картофельные рогульки и что Нечаев прийти сразу не посулился. Тогда послали за счетоводом Володей Зыриным, потом за Акиндином Судейкиным, потом за Жучком. Но никто не шел на вызов Сопронова! Тонька бегала по деревне зря. Далеко ли ушли выселенки? Каждый раз, вставая перед начальниками, Тоня чуяла, как обмирало сердце: вот сейчас возьмут и спросят, где выселенки. Но, видно, и правда подзабыли, раз не спрашивают...

Оставшись вдвоем с Куземкиным, Игнаха вдруг сильно ударил камнем по столу. Камень рассыпался.

— Нечаев подкулачник еще с прошлого года! Помнишь, катались на масленице? Про мезонин частушку спел.

— Здря, Игнатей Павлович, — возразил Куземкин и сгреб со стола дресву. — Нечаев записался чуть ли не первой. Какой он подкулачник?

Сопронов с презрением поглядел на собеседника. Ничего-то не понимает! Особо в классовой линии...

— Ну, а Новожиловы? Тоже, по-твоему, сознательный элемент?

— Ежели так, дак вся Шибаниха в подкулачниках, — сказал Митя и поджал губы.

— Вся и есть, — произнес Игнаха. — Ты вот и сам... Корову свел. Читал статью?

— Читать не читал, а разговоры слышал.

— Вот-вот! Разговоры! А ты знаешь, какие про тебя идут разговоры?

Куземкин насторожился:

— Я не красная девка, пусть треплются.

— Ты расписку уполномоченному давал на деньги?

— Давал!

— Где оне, эти двести рублей?

Митя Куземкин покраснел как вареный рак. Он не знал, что ответить на этот вопрос председателя сельсовета. А новый вопрос как тут и был:

— Миша Лыткин колокол спихивал? Так! Спихивал. А ты ему копейки не заплатил!

Куземкин наконец приобрел дар словесной речи: — Спихивал, да не одного не спихнул! А я вон до крови изодрал колени и локти.

Миша Лыткин выскочил из-за печки:

— У миня, Павлович, и на коленках дирки, и на задние дирки. Пилу балкой зажало...

Сопронов успокоил Мишу:

— Ладно, мы потом разберемся, кто больше штанов изодрал.

— Нет, не потом, а давай сейчас! — не уступал Куземкин.— Камень летит не в Мишкины окна, а в мои! И росписку тоже не Лыткин Меерсону давал. Ты с Яковом-то Наумовичем заодно, это я знаю. А знаешь, что и на тебя акт составлен?

— Какой еще на меня акт составлен? — белея глазами, обозлился Игнаха. Но тотчас пересилил себя, замолк. В дверях показался счетовод Зырин, он же приказчик шибановской потребиловки.

Сопронов не подал ему руки, с ходу пошел в наступление:

— Товарищ Зырин, ты на какой основе корову из колхоза увел?

Зырин не испугался:

— Первым делом, не на основе, а на веревке. На основе-то вон бабы холсты ткут. Вторым делом, не я и увел...

— А кто?

— Матка.

— Ну, а колхозные документы где, тоже у матки? — спросил Сопронов, и Зырин заметно смутился. Поскреб в затылке и крикнул. Вспомнил Микуленка и его поговорку:

— Та-скасть документы, Игнатей Павлович, не у матки. У Жучка документы. Куземкин вон знает где. Да много ли документов-то?

— Вас с Куземкиным Жучок из конторы выгонил, скоро из Шибанихи вышибет. Так вот, чтобы такого дела не вышло, гони корову обратно.

— А ежели не сгоню?

— Пиши заявление о выходе!

Зырин словно только того и ждал. Вскочил со скамьи, попросил бумаги, но лестница опять закрипела. В читальне появилась Людка Нечаева. Она тоже держала в руках бумагу:

— Игнатей Павлович, меня брат Ваня к тебе послал! С заявлением!

— А почему сам не идет? — взбеленился Сопронов.

Она положила бумагу на стол и тотчас выскочила в коридор.

Вслед за Людкой Нечаевой пришла старая Новожилиха, подала бумагу прямо в руки Сопронова. После Новожилихи прибежала девчонка, посланная Савватием Климовым, потом еще какой-то мальчик, и повалил дальше народ гужом. Придут, положат бумагу на стол и, ничего не говоря, обратно. Заявления, написанные на разных бумажках, копились как блины у хорошей большухи, кто-то принес даже дощечку с каракулями...

Сопронов сидел в углу, на скамье, мрачный и молчаливый. Что творилось у него внутри? Никто этого не знал. Одни глаза его то белели, то снова темнели. Все остальное замерло без движения. Молчал и Куземкин, притворился, что тщательно разбирает, что написано на дощечке. Зырин поглядел на одного, потом на другого и усмехнулся:

— Может, за гармоньей сходить? Больно невесело, как при покойнике...

Игнаха не отозвался. Митя глянул в окно:

— Вон Судейкин идет! Этот нас и без гармоньи развеселит!

Сопронов опять промолчал.

Зашел Киндя, долго разглядывал всех троих.

— Честной компании! — громко произнес он.— Ничего не вижу, кто сидит, кто лежит.

И вправду, после ярости мартовского солнышка, играющего в белых шибановских снегах, глаза Судейкина едва различили фигуры начальства.

— А это вот ты тоже не видишь? — Сопронов встал и пальцем показал на банный дресвянный камень.— Ежели не видишь, дак пощупай! Говорят, из твоей бани.

— Кто говорит? — подпрыгнул Киндя.

— Люди говорят,— поддержал Куземкин Сопронова, но Зырину подмигнул.

— Говорят, што кур доят! — обозлился Судейкин.— А оне вон в колхозе-то и яйца класть разучились!

Судейкин повертел камень в руках и положил обратно:

— Ты, Игнатей, на том свите будешь грызти эту дресву! Помяни мое слово, будешь! За то, што возводишь напраслину...

— Я, Акиндин Ливодорович, на том свите согласен на все! — весело сказал Сопронов.— А вот ты чево будешь на здешнем грызть? Суши сухари, оне все ж таки лучше дресвы...

— За что?

— За шти! — опять подсобил Митя Сопронову.— Кто вчерась на игрище выплясывал?

— Добро поешь, да где сядешь! — добавил Игнаха и положил камень в ящик стола.

Судейкин с открытым ртом глядел на Сопронова. Вошел Селька с целой охапкой балясин, бросил у печки. Судейкин сказал:

— Ну, ежели советская власть печи топит крашеными дровами, ей износу не будет.

— Учти, Акиндин Ливодорович, запишем и эту фразу!

Игнатий Сопронов первый вышел на солнечную шибановскую улицу.

— К Жучку, Игнатей Павлович? — забегая вровень, уже на снегу спросил Митя Куземкин.

— К Жучку пускай Зырин идет! А мы к Мионовым. Подсобим переселиться товарищу Фотиеву. Ну, а ты што? — Сопронов остановился у крыльца при виде бегущей Тоньки-пигалицы.— Где выселенцы? Почему не явились?

— Ой, и не знаю я...— растерялась Тоня.— Вроде сюда пошли, а где не знаю...

— По какой дороге пошли? — вскипел Сопронов и приказал Куземкину.— Запреги лошадь! Догнать!

От Евграфова дома донеслось приглушенное вытье, это в голос ревела беременная Палашка.

Попритих Киндя Судейкин! Задумался. Страхнул задумчивость и увидел, что остался в лошкаревской хормине вдвоем с Селькой, который пришел дотапливать печь. Где он, Володя-то Зырин, приказчик и счетовод? Ушел как налим. По пятам за Игнахой и Митькой.

Эти два шпарят к светлому будущему. А что он-то, Киндя, сидит тут, будто мучным мешком стукнутый? А то, что ему, Кинде, велено сушить сухари:

Повезли на Соловки,
Море засинелось.
Холостому-молодому
Ехать не хотелось..

«Ох, кабы холостому-то быть! Я бы товды хоть на Соловки, хоть на Мурман. Полдела бы! Кабы не семерото по лавкам,— думал Судейкин.— Поехал бы куда глаза глядят, не пикнул бы. Везите, мать вашу, так-растак!»

Селька шуровал кочергой в лошкаревской печке. Прилаживался скутать, то есть закрыть вьюшки и задвинуть заслонку.

— Селька,— прервал Киндя собственную задумчивость.— А ты у отца-то как топишь? Через день или через два?

— Твое-то какое дело! — огрызнулся Сопронов-младший.

— Топи, батюшко, раз в нидилу. Дровам экономия. И воздух легче,— кротко посоветовал Киндя и вышел в сени.

На улице его опять ослепил нестерпимый мартовский свет. И сразу забылись угрозы Игнахи Сопронова. Ярое солнце растапливало снег, не скиданный с лошкаревской крыши. С застреха падала крученая серебряная струя. Пригоршню обжигающе-холодной воды ветер плеснул за шиворот, вернул Кинде прежнюю бодрость.

— Запрягай, Судейкин, поехали по сено, пока дорога не пала! — кричал из своего проулка Нечаев.— А то уж и сундуки вон из снега вытаивают.

— Какие такие сундуки? — спросил Киндя.

— Да вон сундук у гумна вытаял. И хозяина нет.

Красный сундук, вывезенный Нечаевым от своего гумна и поставленный на дорогу, был закрыт на всякий замок. Бабы толпились около.

— Дак чей экой баской?

— Вроде бы я у Новожиловых видывала.

Подошла и сама Новожилиха, поглядела:

— Нет, девушки, это не наш сундук. Наш-то с розводьями.

— Дак ваш-то где, баушка? — спросил Киндя.— Не вытаял?

Старуха спохватилась и замолчала.

— Вот Селька Сопронов придет, сразу установит!

— А в Залесной-то, говорят, машина швейная вытаяла.

— Дак куда ее нонче? В сельсовет?

— В ковхоз!

Толпа девок и баб вместе с подводами и разномастно ребятей росла около красного сундука. Другая толпа — поменьше — скопилась у мионовского колодца. Ребятишки перебегали то туда, то сюда. В хоромах Евграфа Миронова только что скрылось начальство вместе с Кешей Фотиевым.

— Господи, до чего дожили! — всплеснула руками Таисья Ключина.— Сундуки посередь улицы.

— Чево про сундуки говорить? Живых людей из домов выгивают.

— Михайло, а ты-то чево ворон ловишь? Чем ты хуже Кеша-то?

— Он ишшо хоромы не приглядел.

Миша Лыткин смущенно перетаптывался на снегу:

— Мне што, я што, я пожалуста.

— Чево пожалуста?

— Дадут и ему другую хоромину.

— У ево с Игнахой да с Митькой лен не делен.

— Да лен-то у Игнахиной Зойки не трепан, делить-то нечево. Другой год. Измять измяла, а отрепать недосуг. Набито втугую.

— Где?

— Да в предбаннике!

— А ежели искра залетит?

— Товды вся баня под небо. А что Зойке искра? Она вон и головёшки с огнем выкидывает. Около бани от головёшек черно. Носопырь еёные головёшки собирает да топит.

— Горечими?

— Чево?

— Да головёшки-ти собираёт.

Люди не приняли шутку Судейкина. Не тот был момент для Киндиных пригоножек! К тому же на виду оказалась Хареза — жонка Кеша Фотиева. В одной руке она несла сосновое помело, в другой корзину с двумя курицами и с петухом, завязанную холщовой тряпкой. Петуху в корзине было тесно, голова его торчала на воздухе. Краснела петушиная борода, и краснел гребень — куда денешься от весны?

Люди затихли и дали Харезе дорогу. Никто не сказал ни слова. Озираясь, торопливо проскочила баба в мионовские ворота. Следом за матерью показался Венко — Кешин старший, он волок по земле два ухвата и нес плоский германский котелок со складной ручкой. И этого пропустили, ничего не сказав! Люди молчали. Завздохали, заговорили и зашептались все сразу только после того, когда из Евграфовых ворот за-под руки вывели плачущую растрепанную Марью — жену Евграфа Анфимовича и Палашкину мать. Увидев толпу, Марья взвыла. Игнаха и Митька свели ее с крыльца, оставили на снегу, а сами снова ушли в дом. Марья не успела упасть, кто-то подхватил ее, увел в ближнюю избу: к Самоварихе. Через минуту Шибаниха огласилась еще одним ревом: Палашку Миронову, тоже под руки, вывели из дому.

— Ну вот, Палагия, и на тебя нонь худая надия! — сказал про себя Судейкин. Отплеываясь на обе стороны, ушел Киндя домой.

Была суббота.

Вера услышала дальний рев, когда ходила вниз к реке, чтобы снести в баню лучину и ополоснуть банные шайки. Надо было и воды наносить, пока не затоплена каменка. Только взяла водонос, только подошла к проруби, из деревни вместе с весенним ветром долетели причитальные крики. Вера Ивановна скорее сердцем, чем по голосу, почувствовала, что рев этот Палашкин. Вера водонос в сторону и ринулась вверх. У самой брюхо горой, а все бросила и побежала...

В Самоварихиной избе набралось много народу. Охающую Марью затащили на печь, внизу, на лавке,

старухи и бабы приводили в чувство Палашку. Кто прикладывал к голове мокрое полотенце, кто натирал косицы. От Зыриных принесли скляночку с нашатырным спиртом: Палашка очнулась. Тонька-пигалица с помощью Самоварихи подвела ее к рукомойнику, умыла лицо и обтерла чистым рукотерником.

— Вот и ладно, вот и добро,— приговаривала Тонька.— Вишь, как ладно-то?

Но при виде только что прибежавшей Веры Палашка снова взревела, пала на лавку. Вера начала обнимать подружку и тоже заголосила. Палашку уложили на примостье, где спали Жучковы бабы: Агнейка и Лукровка, которые ночевали не дома. Велика изба у Самоварихи, хоть раскулачивай...

Марья затихла на печи, люди начали расходиться. Но когда Палашка и Вера остались вдвоем, обе опять заплакали. Самовариха начала их увещевать, заругалась:

— Матушки, это што вы делаете-то! Разве дело эк-то ревить? Ясные дни, ведь вам обем родить. Вот-вот придет времё раздваиваться. Ведь каково вашим деткам-то там, ежели вы эк убиваетесь? Одумайтесь!

Но не было у них никакого желанья одумываться и затихнуть! Они сидели на примостье в обнимку и плакали... Тогда Самовариха сильно, но как бы шуткой, хлестнула их полотенцем по спинам. Палашка взяла себя в руки и сквозь затухающие слезные вздрагивания выговаривала:

— П-п-поеду тятю искать.

— И добро! И ладно! — нарочно согласилась Самовариха, как соглашаются с плачущими детьми. Вера плотней обняла Палашку.

Роговскую баню топил в эту субботу дедко Никита.

Павлу пришлось идти в баню одному, без жены. Сходила Аксинья — теща — за дочерью к Самоварихе, но вернулась одна. Вера Ивановна оказалась нужнее в избе Самоварихи, чем у себя дома. Придет ночевать, может, вместе с Палашкой и с Марьей — божаткой. У Самоварихи и так ступить некуда. Но ведь и брат Олешка тут, как дальше-то жить? И там, в Ольховице, родная мать ночует в чужих людях, как нищая бродит по деревням...

Дедко сходил на сарай, снял с вешалов и подал Павлу ладный зеленый веник:

— На-ко вот! Так духом и кормит. Иди в первый жар.

И сел качать зыбку. Павел горел от стыда за свою вчерашнюю пьянку. Дедко почувал это и усмехнулся:

— Не было молодца побороть винця! Иди в баню-то. Олексий да Сергей пойдут со мной. Да не береги дбброё-то, жару и бабам хватит.

У Павла отлегло от сердца. Аксинья подала нателю смену. Свежие, хорошо прокатанные холщовые портки и рубаха, да березовый веник, да брусок мыла и... чего не хватает? Зажгли фонарь. Под горой в предбаннике, когда раздел и повесил на деревянный гвоздь шубу, понял вновь, что чего-то недостает, все что-то не то. Но что не то? Родня простила ему вчерашнюю пьянку. Баня протоплена на ять. Даже стены потрескивают

от жару. Воздух вольный, с легкой горчинкой, но никакого угару.

Когда сунулся в настоящий жар, уселся на верхнем полке, только тогда и дошло: не хватает Веры Ивановны! Не та без нее баня, и вода не та, и щелок не тот...

Фонарь полыхнул от жары и погас, когда Павел деревянным ковшом плеснул на камни. Но большую роговскую баню с высоты второго полка Павел и в темноте видел всю и насковзь. Знал каждый сучок, каждую щелку. На двух лавочках стоят восемь шаек с горячей, нагретой камнями водой. Девятая шайка со щелоком. Там, ближе к дверце, поставлен ушат с холодной.

Павел слез вниз, макнул веник в шайку и — снова наверх. Мокрым веником коснулся каменки. Каменка зашумела. Камни, будто бы чем-то недовольные, пошипели и стихли. В жаре, в тишине, в темноте отогрелась и пробудилась душа. Ступня беспалая, и та перестала ныть. Все тело чесалось. Сколько же дней не был он в бане?

Ах, любил Павел ходить в баню, любил еще в Ольховице, когда жил у отца с матерью. В любую погоду — в жаркий сенокос и морозной зимой, слякотной осенью и в предвесеннюю холодину — ничего не было надежней и лучше бани. Тут, среди прикопченных до последней своей черноты бревенчатых стен, у горячих камней, на желтовато-белом нижнем и на румяно-коричневом верхнем полке, каждый раз успокаиваешься и приходишь в себя. Едва разувешься в холодном предбаннике да скинешь одежду, едва проскочишь внутрь, как охватит тебя ласковая сухая жара. И вздрогнешь, и пробежит по спине легкий озноб, и начнет выходить из тебя вместе с потом вся недельная усталость, и выскочит вся простуда либо хворь, коли завелась невзначай... Березовый ошпаренный веник довершит благородное дело: забываются все обиды, на сердце легко, и рождаются в голове неожиданные добротные мысли. Причистишься на всю неделю. Хоть не ходи и к попу на исповедь: все люди опять желанны. И сам себя ничем не казнишь. А как хорош короткий отдых в предбаннике перед тем, как уйти домой, к родным, к горячему самовару, в преддверии воскресного дня!

Так и шла опять мужицкая трудовая неделя. У каждого дня был когда-то свой цвет и свое имя. От поста до поста, от праздника к празднику...

И казалось, что так будет всегда, но вот все сразу переменялось...

Павел слез вниз, нашел спички и зажег воняющий керосином фонарь. Еще раз плеснул на камни из деревянного ковшика. Долбленный березовый кап, искусно обделанный дедком Никитой, вызвал странный, совсем неожиданный позыв: вот таким бы стукнуть по Игнахину лбу, как старики стучают за столом непослушливых ребятишек. Снова вспомнилось все, что случилось.

Вяло и нехотя Павел похвостался веником. Сидел на верхнем полке, задумался. Как жить?

Скрипнула дверинка. В предбаннике, в темноте, Вера сняла платок и шубу (остальное надо снимать в самой бане). Фонарь полыхнул и чуть вновь не погас, когда она хлопнула внутренней дверцей:

— Ой, что творится, что творится!

Она раздевалась при желтом фонарном свете. Павел смотрел на нее с тоской и любовью. Вот обнажились плечи жены и высвободились большие, уже набухшие груди. Обширный белый живот заслонил окно, на котором стоял фонарь. Вот Вера вынула из коковы железные шпильки, и густые ее волосы упали на плечи — упали широко и темно:

— Поди-ка уж и жару-то нет.

Она взяла ковш и хотела зачерпнуть щелоку, чтобы мыть голову, но Павел спустился вниз и отнял у нее ковш:

— Ванюшку-то чего мы дома оставили? Вымыли бы.

— Мамка сходит выпарит,— отозвалась Вера, подставляя голову.

Павел полил разведенным не очень горячим щелоком. Он боялся спрашивать про тетку и двоюродную Палашку. Вера чуяла это сердцем и ничего не рассказывала. Мылись какое-то время молча, молча осторожно он тер ей плечи и спину распаренным венником. Тоска и нежность то и дело вскипали у него в горле.

— Ты бы, Паша, не расстраивал сам-то себя...— Она, конечно, знала о нем все.— Пусть уж будет, что будет. Может, Господь не оставит...

Голос ее слегка дрогнул. И чтобы не заплакать, не разрыдаться, она плеснула себе в лицо из ушата холодной речной водой.

— Так и сидеть? — вскинулся Павел.— Ждать, когда тебя совсем упекут?

Она как бы не услышала и взяла фонарь:

— Ну-ко, покажи ногу-то... Давай развяжем! Вишь, как присохло, надо отпаривать.

Она заранее припасла чистую перевязку. Ногу с полчаса отпаривали в чайке с теплой водой. Вера начала осторожно отслаивать размокшую, пропитанную сукровицей холщовую ленту из залесенской скатерти. Павел вспомнил брата Василия. Вера всегда думала о том, что и он, когда была рядом:

— Чево-то от Василья нету письма.

— От Василья-то ладно. А вот где...

Павел не договорил про отца и про тестя. Послышался голос. Оба с женой замерли, насторожились. Поблазнило, что ли? Нет, не могло почудиться сразу двоим. Кто-то и впрямь кричал. Вот! Опять крик...

Павел голым выскочил в предбанник, открыл наружную дверцу. Его осветило желтым, то замирающим, то опять нарастающим светом пожара. Горело совсем рядом. Он вскочил обратно. Чтобы не напугать Веру, нарочно неторопливо, без белья натянул штаны и рубашку:

— Вроде Носопырева баня горит... Ты тут, это... Не торопись. Никуда не бегай...

Крик повторился. Павел быстро, на босу ногу обулся, накиннул полушубок и выбежал. Темноту раздвигало красновато-желтыми сполохами. Ни одного человека вокруг! Только пламя красным полотнищем хлопало на ночном мартовском ветру.

Крик послышался совсем явственный, совсем близкий. Павел, хромая, бегом бросился на этот крик. Горела не носопыревская баня, а сопроновская. Срубленные посомом передняя и задние стены еще стояли в целости, а крыша почти сгорела. Плавильсь золотом, догорали

обнаженные решетины и курицы. Огонь подбирался к боковым стенам, уже горели череповые бревна.

— Караул! — снова раздался крик из крохотного волокового окошка. Стеклышко было выбито изнутри. Чья-то рука, высунутая оттуда, судорожно шарила по наружному краю окна. Предбанник был весь в огне. Горел нетрепанный лен Зойки Сопроновой. Сверху из деревни никто не бежал на помощь, один Носопырь с большим батоном в руках бестолково топтался около. Вот-вот должна была вспыхнуть и баня Носопыря, ветер, однако ж, дул на реку, искры и пламя вскидывались в иную сторону. Что делать? Почему человек не выскакивал из горящей бани? Думать некогда было, Павел снял полушубок, закутал им голову и сунулся в огненный предбанник. Чурка толщиной с оглоблю подпирала банную дверцу... Павел узнал это на ощупь. Дернул, но чурка не поддавалась, и дышать стало совсем нечем. Задыхаясь и кашляя, он выскочил на свежую ветрянную струю.

— Караул! — снова закричало окошко.

Павел с головой закутался в полушубок, набрал в грудь побольше воздуха и снова нырнул в огонь. Долго дергал он за чурку, наконец отбросил ее и успел еще открыть банную дверцу. Игнаха Сопронов прямо через него кувырком вылетел из предбанника. Павел упал и, задыхаясь от дыма, выкатился на свежий воздух. Полушубок горел, шерсть трещала, рукава прогорели во многих местах. Павел снегом гасил тлеющие места. Обернулся к Сопронову. Тот был в одном белье. Качаясь, встали они оба на ноги, друг перед другом. При свете горящей сопроновской бани на кого они были похожи сейчас? Павлу на секунду стало смешно.

— Кто-то тебя подпер,— простодушно заговорил Павел.— Нынче что святки, что масленица. А от чего загорелось-то?

— От тебя загорелось! — твердо сказал Игнаха. Белые сопроновские глаза блеснули в отсвете пламени.

— Чево?

— Ты, говорю, и подпер, и поджег!

От обиды и злорадия у Павла потемнело в глазах. Кулаки сжались. Он взял Сопронова за ворот хорошей, уже и не из холста, а из полотна сшитой Игнахиной рубахи. Скрипнул зубами и сильно оттолкнул прочь. Игнатий Сопронов упал, вскочил, начал искать вокруг, шарить по снегу. Искал, видимо, кол либо камень, но ничего не мог нашарить, и, пока Павел ждал, чтобы Игнаха что-то нашарил, гнев и страшное желание ударить начали исчезать. А то, что они оба оказались черны от грязи и копоти, а Сопронов еще и босой, совсем утихомирило Павла:

— Дурак! Ну ты и дурак...

С горы, от деревни бежал народ с баграми. Остатки горящей бани с веселыми криками по бревнышку раскатили мужики и ребята. Но где же сам спасенный Сопронов? Игнахи не было. Затирая ожоги, Павел вместе с Верой заскочил было к Носопырю, потом потащился обратно к своей бане. Хорошо, что вода еще оставалась и можно было смыть копоть и грязь...

От сопроновской бани остались одни головешки, но люди не расходились.

— Ты чево, Олексий, стоишь? — весело кричал Но-

сопырю Володя Зырин.— Ставь бутылку, дак мы сейчас твою раскатаем!

— Да, вить, у ево не горит, чтоб тебя водяной! — возразила чья-то бабенка.

— Ну и что, что не горит!

— Вот, братчики, нонче Зойке и лен не надо трепать,— заметил Савватей Климов.— Милое дело.

— А от чего загорелось-то?

— Кто ево знает.

— Загорелось-то ладно, это бывает,— сказал в задумчивости Акиндин Судейкин.— А вот кто дверинку-то в бане подпер? Ведь испекли бы Игнаху-то, кабы не Пашка.

— А здря и вытаскивал...— сказал кто-то в куче и тут же заглох, словно бы поперхнулся, потому что Митя Куземкин ходил с карандашом и с фанеркой в руках. Председатель записывал на фанерке фамилии свидетелей.

— У тя, Митрей, нонче вся деревня сгорит и не пикнет,— сказал Судейкин.

— Это почему? — послышался из темноты голос Куземкина.

— А потому! Ну, кто на пожар прибежит, ежели тебя переписывают? Сам-то ты рассуди.

— Прибегут, коли припекет! — не согласился Куземкин.

Народ по одному поднимался на гору, пропадал в темноте. Была теплая мартовская ночь. Перед дождем, что ли? Ветер так и налетал в ночи то слева, то справа, словно толкался. Ветер стойкий был, свежий. Он разносил по округе немирный запах пожара, пробовал раздуть огонь в потушенных, закиданных снегом, все еще потрескивающих головнях. Вот, опять разгорелось! Золото вновь проступило сквозь парящую черноту. Киндя поскреб в затылке, подумал: «Эк его, какой авошной. Огонь-то... Неохота никак умирать, того и гляди вспыхнет».

Судейкин закидал горящее место снегом и двинулся прочь, подальше от сгоревшей сопроновской бани. Сколько раз сегодня то одно, то другое событие вышибало Киндю из избы да на улицу? Такие долгие выпали эти сутки. Иной год покажется короче этих последних суток...

Он поднимался в гору к деревне и скреб в затылке.

Нет, Судейкин не зря скреб в затылке. Ничего не делал Судейкин зря, особенно в последнее время. А раньше как? Было всего: и зря и не зря. «Нынче-то и не разберешь, чево здря, а чево не здря,— размышлял Киндя.— Все перепуталось...»

Так думал Судейкин, возвращаясь домой с пожара. «А чего здря сделал?» — опять спрашивал он сам себя и отвечал мысленно: «Грамофон домой здря волочил! Ишь обзарился. Нонче любой в глаза и скажет: Судейкин не лучше Сопронова либо того же Кеши. Еще чего здря? Печать Микуленкову осенесь нашел в соломе. Нашел и отдал. Это не здря. Это ладно. А что тетрадку всю упечатал — тоже, пожалуй, ладно. Пригодится. Недавно уполномоченного из снега выволок, нонче копыта корове обрубил да еще хват насадил. Зайца поповнам изловил. Матерущего, не хуже барана...» Так за что же совесть грызет?

Пришлось Кинде самому себе признаться: за дело она грызет! Великий пост — не святки. А он, Судейкин Акиндин Ливодорович, ходил сегодня по воду, ходил в темноте. Не зря жонка ругала: не принес воды засветло, пришлось идти на реку в темную пору. А в темную пору за водой ходят одни дураки. Киндя шел с полными ведрами, оступился с тропки и провалился одной ногой в глубокий снег. Ведро пролил. Тут вот и дернул его черт остановиться у сопроновской бани. Внутри брякал Игнаха ковшиком. Зоя, наверное, уже вымылась и ушла.

Киндя Судейкин знал, что в районе нету своей тюрмы. Народ до суда сдают в поселковую баню, после суда отправляют в Вологду. Вот и пришла ему в голову мысль подержать Сопронова под арестом... Приглядел какую-то чурку, тихонько зашел в предбанник и так же тихо припер дверинку. Один конец в дверинку, другой в порог предбанника. Сиди, Сопронов, покуда Селька мыться не явится! Киндя вернулся к проруби и набрал воды. Поднялся в гору. Дома он поставил ведра с водой на кадучку и сел на лавку. Вывернул в лампе фитиль, чтобы в избе стало светлее. Валенки снял, которые промочил у реки. Девчонки пекли лук у топящейся маленькой печки. Он съел сладкую луковку. Очистил стол, уселся под лампу. Взял с полавошника газету, которую выпросил у Нечаева, и начал читать сталинскую статью. Газета еле во ставу стояла — обошла за день всю деревню. Одни лепетки. Когда Судейкин дочитал до середины, на деревне вдруг ударили в било. Пожар! И горела баня внизу, да не чья-нибудь, а сопроновская. У Судейкина обмерло сердце... Хорошо, что Пашка Рогов подвернулся да откинул чурку. Игнаха выскочил в одних портках.

А вот от чего она загорелась? Говорят, что лен зашаялся да и вспыхнул. С предбанника началось. Значит, не зря зашаялось. Зойка Сопронова лен вовремя не истрепаала, а Носопырь боится угару. Всю жизнь выкидывает горячие головешки. Долго ли подправить ногой, пнуть головешку с огнем к Игнахиной бане? Вот, видать, и подправили! Один воротца подпер, не знал, что головешку подкинут. Другой головешку подкинул, не знал, что воротца подперты. Так и случился грех. Игнаха-то хоть и пес, да ведь живой человек! Испекли бы его как эту луковицу, кабы не изладился Пашка Рогов... А может, и знал кто-нибудь, может, увидел, что баня подперта? Увидел и подкинул в предбанник горячую головню... «Кто бы мог? Наверно, Жучок, больше некому... А не грех ли тебе про Брускова нехорошее думать, ежели у самого рыло в пуху?»

IX

Так и маялся в думах Киндя Судейкин, маялся всю неделю, до Благовещенья. Собрался уж было всем рассказать, как ходил за водой да и «заточил Игнаху в евоной собственной бане». Хорошо, что не успел рассказать! Дело о шибановской контрреволюции пошло вглубь. Допихнули до самой Вологды. Из района приехал доскональный следователь. Двое суток он муржилил допросами ольховских жителей, на третьи начал вызывать в Ольховицу шибановских. Подошла очередь и Акиндину Судейкину встать пред его светлые очи...

Вздумалось Кинде запрячь Ундера и прокатиться. Может, в последний раз! Возок оказался без оглобли... Долго в колхоз корячились, но до чего же разбежались проворно! После такого дела не сразу и в колею войдешь. То одного нет, то другого. Вот и у возка кто-то оглоблю вывернул. «Шут с ней, с оглоблей, поеду на дровнях», — подумал Киндя. Долго по всему дому искал седелку, в спешке сунул ее неизвестно куда. Нашел, а она без чересседельника. Чересседельник пришлось делать веревочный. Супонь из хомута тоже кто-то выдернул! Где супонь новую взять? Судейкин опять начал ходить по дому. Нашел старую, ссохшуюся супонь. Наконец обротал Ундера и вывел на снег.

Мерин всхрапнул и поднял голову. Заржал Ундер, как бывало на масленице. По всему его обширному, но сонному телу вдруг прошла какая-то быстрая судорога, будто поток устремился по всем жилам прежний ундеровский огонь. На мощное ржание мерина отозвалась климовская кобыла. Ундер остановился, наострил уши.

— Иди, иди, килун! — проворчал Судейкин. — Ишь чего вспомнил.

Было чего вспомнить и Ундеру, и самому Кинде, когда выехали из деревни в поле. Судейкин развел вожжины. Мерин пошел размашистой рысью. Старые дровни кидало из стороны в сторону. На завороте у гумен Судейкин чуть-чуть не вылетел в снег.

— Эх, куды куски, куды милостынки! — крикнул Киндя и надбавил еще, пуская Ундера вскачь. Мощный круп бывшего жеребца заметно удлинился, от ушей до хвоста пошли плавные волнообразные движения. Ничего этого совсем не видел бесшабашный ездок. Киндя видел и чувствовал лишь сам себя, причем видел со стороны, а не изнутри. Ин, пусть поглядят на Судейкина! Может, в остатний раз. Посторонись, встречный и поперецный, скачи с дороги в снег! Нет, был Ундер еще изряден и кое на что гош, не гляди, что пустая мотня...

На волоку смотреть на Судейкина было некому, кроме двух ворон. Он перевел мерина на спокойную рысь, а тот, без разрешения хозяина, нахально перецел на обычный шаг. Госкливая скука тотчас завладела Судейкиным. Раскочегаривать Ундера второй раз не хотелось. Киндя затянул длинную:

Далеко в стране иркутской,
Между двух огромных скал
Обнесен большим забором
Александровский централ.

Но и голос у Судейкина был нынче сиплый, как у обмороженного петуха. До середины в песне еле Киндя добрался и заглох. Чего надо от него районному следователю? А то же, что и всем начальникам: чтобы он, Киндя, пел не то, что придет в голову, а то, что велят, чтобы дрожал коленками да чтобы поддакивал через каждое слово, как у попа на исповеди. «А вот шиш вам всем!» — вслух произнес Киндя и дернул левой вожжиной, поскольку по дороге шел какой-то мужичок с корзиной. Со спины Киндя не сразу узнал Жучка.

— Тп-рры!

Ундер послушно остановился.

— Северьян Кузьмич, здорово живешь! Садись, подвезу.

Жучок не откликнулся.

Ундер стоял и прядал ушами, а Жучок даже не оглянулся. Топал и топал своими валенками в галошах. «Вишь, калоши надел. Новые калоши-то. Митька с Игнахой не успели отнять. Наверно, спрятаны были», — подумал Киндя и тронул вожжину. Опять поровнялся с Жучком:

— Ты, Кузьмич, далеко ли правишься? — Киндя во второй раз остановил мерина. — Садись, а то мозоли набьешь.

Но Жучок опять не остановился.

Ошарашенный Киндя долго не пускал мерина, думал, что делать. Его заело. Решил загадать: ежели Жучок и вправду рехнулся, так с третьего разу должен остановиться. Ежели притворился, то не сядет и с третьего разу.

Пока Судейкин так думал, Жучок ушел вперед саженей на двадцать. Киндя в третий раз догнал его и остановился.

— Сивирька, это ты или Гуря залесенской? Чего-то не разберу, весной у миня куричья слепота. У Гури корзина вроде твоей.

Упоминание о залесенском дурачке, видимо, прошибло Жучка. Не глядя на Киндю, он сел сзади на дровни. Киндя пустил мерина и подумал: «Авось он меня не тюкнет, сзади-то. Ежели тюкнет, так он и вправду от горя тронулся». Прикрытая дерюжкой корзина торчала на левой Жучковой руке. Киндя обернулся назад:

— Северьян Кузьмич, у тя чево в корзине-то, не угольё? Ежели угольё, дак Гаврилова кузница на замке. И сам Гаврило в тюрьме, — сказал Киндя, помолчал и добавил: — И тюрьма на замке.

Жучок на этих словах ерзнул сзади, перекинул корзину на другую руку. Заговорил наконец своим слабым сиротским голосом:

— Канфет! Говорят, чаю в сельсовет привезли, китайсково. А пить не с чем. Дак я им канфет несу.

— Ну, ну, хорошее дело! — Судейкин вступил в игру. Он откинул дерюжку, поглядел. — Добры конфеты-ти.

В корзине действительно были угли! Нет, не верил Киндя Жучку, не верил, что Жучок тронулся в самом деле. Не верил, а все же сомнения были. А вдруг и вправду сошел с ума? Ведь в Кувшиново справки зря не выписывают. Вдруг справка-то у его не поддельная, и нонче Северьян Брусков, Жучок по прозвищу, невменяем посередь всех людей? Что ни делает, все ему с рук сойдет... Уж не он ли и подпалил Игнашкину баню?

Такая мысль пришла в Киндину голову не в третий ли раз... Судейкин затих и молчал до первой ольховской пустоши.

— Кузьмич, а Кузьмич, а у тебя и бумажка есть? Меня вот по бумажке вызвали в Ольховицу, чай-то пить. Дак ты покажи, может, у меня тоже такая, может, вместях и попьем чаю-то?

Жучок долго возился с карманами и достал повестку. Киндя даже не стал и читать, бумажка была точь-в-точь такая же, как у него. Та же стояла красная закорючина вместо подписи.

— Эта, эта,— сказал Киндя.— Дёржися?

Он развел вожжины, но мерин опять не послушался. «Устал,— подумал Судейкин.— Либо устарел. Вот так и мы с Жучком совсем стали хитрые».

Жучок молчал, а хозяин подводы сердился. Сперва на Ундера, потом и на Жучка начал сердиться, и вдруг словно бес подтолкнул Киндю Судейкина:

— А што это у тебя, Северьян Кузьмич, конфеты-ти больно мелкие, мог бы и покрупней прихватить! Вон у Игнашкиной бани такие лежат конфетины. Да и Носопырь накидал порядошно. У этого с огнем летят, самые баские...

Жучок ничего не сказал.

— Я вот пораз иду, гляжу, головешка летит. В снегу зашипела.

Жучок опять ничего, и тут Киндя забыл всякую осторожность, понес напрямую:

— Тибя Игнаха по миру пустил? Пустил! Он ишшо половину Шибанихи по миру пустит! А ты конфеты ему носишь. Нет, я бы ему такую конфету подал, чтобы у ево глаз вывернуло.

Жучок шевельнул лопатками. Киндя почуял это спиной, через шубную толщу. Но ничего опять не сказал Жучок, и Киндю Судейкина заело еще больше:

— Я ведь ево, заразу, чуркой товды припер!

Жучок напрягся. Через две шубы, свою и Жучкову, Киндя почуял, как напрягся Жучок. И уже не смог Судейкин остановить сам себя, начал рассказывать все, как было.

— Ходил я, братец ты мой, по воду! Чую, Игнаха в бане кряхтит, венником хвощется. Я его чуркой и припер. Думаю, ты людей в холодной держишь по двое суток, а в теплой-то полдела сидеть. Да ведь и недолго. Зойка хватится тебя, дурака, прибежит да и выпустит...

Молчал Жучок! Молчал, но слушал. Это Киндя Судейкин очень хорошо чувствовал, что Жучок слушает.

— Я Игнаху в бане припер! А ты, Северьян Кузьмич, видно, не знал про то, что Игнаха-то в бане приперт! Ты и подкинул конфетину-то... У тебя головешка была с огнем, а у Зойки в предбаннике лен навалён.

Жучок замер, напряглась, остамела у Жучка вся спина. Это Киндя почуял опять через обе шубы, сквозь свою и чужую. Судейкин разозлился, остановил Ундера у ольховского отвода:

— Слезай! Тут близко...

Жучок с дровней не слез. Киндя увидел, что он не доволен и подумал: «Никакой он не тронутый. И голова у хитруна варит лучше, чем в Москве у Калинина».

— Вот мы с тобой еле-еле ево не сожгли! Игнаху-то! — еще раз попробовал подступиться Киндя.— А он вон на Пашку Рогова думает...

Жучок отводил взгляд в сторону, перебирал угли в корзине. Руки без рукавиц, как у арапа. Киндя, держа вожжи, прыгнул с дровней и пошел на Жучка натупом:

— Ежели мы с тобой Игнаху чуть не сожгли, а Пашку возьмут за гребень?.. Нам с тобой товды как жить да быть? А, Северьян да Кузьмич? Лучше уж заодно будем, давай уговариваться! Пока в деревню-то не заехали...

Но молчал Жучок! Молчал, с дровней не слезал и только моргал да отводил глаза и потом вдруг тихо сказал:

— Поезжай, Акиндин, к моему-то зетю.

— Это кто у тебя зеть, а Северьян?

— Гривенник,— по-сиротски отвечал Жучок.

— Это давно ли он тебе зеть?

— А на масленой! Я ему свою жонку отдал. Он мне ишшо конфет посулил.

«Нет, видно, и правда сошел с ума!» — в ужасе подумал Киндя Судейкин, шмякнулся на воз и ударил по лошади концами вожжей. У сельсовета он остановил мерина:

— Этот дом-от у зетя?

— Этот! — по-сиротски ответил Жучок.

— Ну, коли у тибя тут зеть, дак и дуй к ему! Да конфеты-ти не забудь...

И Судейкин жестоко, не по-людски выругался. Обозвал Жучка Жучком и в отчаянии, пока привязывал мерина, клял сам себя: «Дурак! Простофиля! Ишь! Ну што вот нонче будет с тобой, с дураком? Отправят на Соловки, как пить дать отправят, не дадут пикнуть. А, будь что будет! Ежели Жучок расскажет, что я баню припер, значит, не тронутый он! А ежели не расскажет, то получается... То же и получится, что в своем уме. Или как?» Киндя запутался с этим Жучком. Будь что будет.

У исполкомовской коновязи стоял запряженный в санки роговский Карько. Жучка с «конфетами» уже не было. Киндя с дрогнувшим сердцем ступил на высокое крыльцо бывшей земской управы.

* * *

От Скачкова на сажень пахло ремнями, одеколоном и городским табаком. Одеколоном и папиросным дымом пахло во всей бывшей канцелярии маслоартели. Сидел здесь когда-то бухгалтер Шустов, нынче сидит следователь. Усы у Скачкова под Ворошилова, торчат как болотные кочки, хотя и ровно подстрижены. Свежий порез на виске заклеен бумажкой. «Выбрит, чик-брик,— подумал Павел.— А я вот не успел и побриться, птицей летел по евонной повестке. У кого он ночует? Наверно, у обездчика Веричева...»

Следователь сидел за двухтумбовым еще земским столом, нога в хромовом сапоге притопывала после каждой фразы, словно бы припечатывала:

— Ты, гражданин Рогов, меня не учи. Я вашим братом давно ученый. Значит, так. Ты идешь в баню один. Видел тебя кто-нибудь в тот момент?

— Вся семья видела.

— Не в счет. В каком часу?

— Не помню в каком. Вечером.

— Значит, не помнишь. Зато другие кое-что помнят...

Скачков переложил копирку под новый чистый тетрадный лист:

— Записываю: никто не видел, как в баню пошел. Один.

— Да ты што, товарищ Скачков? Неужто всурьез? — вскочил Павел с некрашеной сосновой скамьи.— Неужто я мог подпалить чужую баню? Да ишшо с живым человеком?

— Мог! — убежденно сказал следователь и даже как-то преобразился.— Не только мог, а и должен был

подпалить, по всему твоему классовому нутру обязан был подпалить! И не усмехайся, гражданин Рогов, не усмехайся! Как бы не пришлось плакать в скором времени... Итак, ты идешь в свою баню... Ночь и никого нет.

— Иду...

— В другой бане человек в голом виде, а у тебя в кармане... Ты куришь?

— Товарищ Скачков, поймей совесть! — не выдержал Павел и замотал головой как с похмелья.

— Во-первых, я тебе не товарищ, во-вторых, совесть моя тут ни при чем. Были у тебя спички в кармане?

— Были. Фонарь погаснет... как без огня? Только...

— Записываю: спички в кармане были.

— Так чего дальше-то? — горько усмехнулся Павел Рогов и начал глядеть на Скачкова. — Лучше меня знаешь, куда я ступил, что подумал...

— А дальше, гражданин Рогов, вот ты что сделал! Дальше ты подошел к чужой бане, спичку чиркнул да и кинул ее в леп...

Павел невесело хмыкнул и перебил:

— А сам преспокойно пошел в свою. Разболелся да и начал хвостаться венником. Так, што ли?

— Именно так, гражданин Рогов!

— А пошто бы я стал Сопронова поджигать, ежели я его сам и из огня вытащил? — с горьким смехом закричал Павел и вскочил. И распрямился. — Ведь я сам чуть не сгорел, вон и волосья опалены! А? Пошто бы мне в огонь-то кидаться да дверинку ему открывать, ежели я лен подпалил? Пошто бы мне все это, товарищ Скачков?

— А чтобы попугать! Прочитать его, чтобы знал, что с вашим братом шутки худые.

Лицо Павла Рогова побелело. Он сжал кулаки, зажмурился. Стоял в темноте, и радужные круги поплыли перед глазами, голова пошла ходуном. Следовательно двоился в глазах, когда Павел разомкнул веки.

— Подпишись вот тут, — издевательски спокойно произнес Скачков.

— Нет, подписывать я не стану.

— Ничего, подпишешь в другом месте.

— Где это, товарищ Скачков?

— Я вынужден тебя задержать! Поедешь со мной в район...

Скрип дверей и стон коридорных половиц прервали слова следователя, дверь отворилась. Голова Кинди Судейкина показалась в притворе:

— Разрешите, пожалуйста? — Киндя переступил порожек. — Я, значит, по этой повестке...

— Закрой двери с той стороны! — грозно воскликнул Скачков. — Вызовут, когда придет время.

— Да кто вызовет? — не уступил Киндя. — Сижу в горой час. Мерин сено сожрал, надо бы домой схать. Я, товарищ Скачков, по банному делу вот чево тебе доложу: сам видел, как ребятня горечими головнями кидалась...

— Чья ребятня?

— Да шибановская. У нас этой вольницы много. Носильер головешку с огнем на снег выкинул, чтобы жар-то она не вытянула. А тут робетёшки... У робят головёшки...

Судейкин сам не заметил, как начал говорить в рифму.

— Выйди из помещенья! — приказал Скачков Павлу Рогову. — Вызовем, когда потребуется. А ты садись ближе! Как фамиль?

Судейкин сел на скамью, как раз на то место, что было нагрето Павлом.

* * *

Скрипела чердачная исполкомовская лестница, ведущая наверх, в мезонин, куда заходил какой-то народ, скрипели перила и двери, стонали под ногами коридорные половицы. Все скрипело, вплоть до следовательских револьверных ремней. Или это зубы скрипели? Обида и гнев подступили к самому горлу, душили. И застилала глаза слезная пелена... Когда Павел вышел от следователя, хотелось ему подняться вверх, распахнуть сопрововскую комнату и плюнуть Игнахе в глаза либо взять за шиворот и ткнуть носом в какое-нибудь поганое место. Но уж больно противно скрипело, еще противней пахло в коридоре мышами и нужником.

Павел вышел на волю. Кругом плавился и проникал в каждый закоулок яростный солнечный свет. Воробьиная стая с веселым чириканьем приплясывала у коновязи. У стены на припеке уже вытанвала дерница, весна начиналась взавправдашня. В исполкоме и около, как и всегда, мельтешил всякий народ. Ни с кем не здороваясь, чтобы никто не увидел его слез, его беспомощного положения, Павел Рогов сбежал с крыльца. «Судейкин... Севодни вовремя Киндя выручил. А завтра кто выручит?» — думал Павел, отвязывая коня.

Впервые в жизни не радовало ярое апрельское солнце. И родная деревня Ольховица впервые в жизни показалась чужой, какой-то ненастоящей. Родную мать впервые в жизни не хочется видеть... Виделись утром, перед тем как идти к следователю. Одни слезы да причитанья. На что было глядеть? Ночует то в бане, то в доме соседа Славущка, который считался какой-то дальней родней. Живет кое-как. Лепешки напечены из гороховой желтой муки. Скачкова бы покормить теми гороховиками! Самовар в зеленых подтеках... Заплакала, увидев сына. Павел наспех прочитал ей письмо от Васьки, сказал про Олешу и, чтобы не травить душу, выбежал из Славущкова подворья. Об отце даже и не заговаривали. В чужом доме много не наговоришь... От Гаврила Насонова, говорят, приходило письмо, надо бы забежать к Насоновым, узнать, куда отправлен и не видал ли отца Данила Семеновича. За что старикам дали по два года тюрьмы? Кабы знать за что, было бы не обидно. Отняли все: и дома, и тулупы... Топоры и стамески, ложки и поварешки. То одного раскулачат, то другого. После статьи Сталина колхоз разбежался, только ищется Игнахе Сопронову. Ни жить, ни быть, надо со света сжить! И сживет ведь... Вон и дядя Евграф отправлен неизвестно куда. Дом с гумном и амбаром взяли в неделимый колхозный фонд. Палашка — двоюродная — с брюхом, иди куда хочешь. Обе с божаткой ночуют у Самоварихи.

В таких невеселых думах Павел проехал волок. Медленно отходило сердце, но стоило вспомнить допрос,

бешенство вновь охватывало, снова вставал в глотке горький свинцовый ком. Не жаль себя. Но что ждет от гора иссохшую матку, как жить малолетку Олешке? А Вера Ивановна... Лучше бы совсем про нее не думать, да берedit день и ночь, не дает дышать эта дума. И белый свет от той думы сразу чернеет... А как бы в глаза тестю глядеть, Ивану Никитичу, если бы дома был? Ведь это он, Павел, втянул его в строительство мельницы. Божат Евграф раскулачен. Поповны в город уедут. Жуток рехнулся, а дальше кого кулачить? На очереди — Роговы! Дело ясней ясного. И спрятаться некуда, и некому слова сказать... Господи, подсоби! Что делать и как жить?

Карько сам, без подхлеста бежит домой. В поле Павел натянул вожжи, приструнил мерина и спрыгнул с возка. Не хотелось показываться дома в таком растерянном и растрепанном образе. К мельнице... Валенки быстро промокли на дорожных лужах. Не забежать ли в гумно, не сделать ли свежие соломенные стельки? Ворота с юга открыты, слышны ребячьи возгласы. Вроде брат Олеша с Серегой. Что они там делают? Так и есть, в бабки играют. Дождались весны. Пришли из школы, сумки с книжками долой, сами на гумно, бить козонки...

Павел вспомнил про свое совсем недавнее детство. Давно ли сам вот так же с первым весенним солнышком бежал на гумно играть в козонки? На чистой гуменной долони ставили в ряд крашенные и некрашенные, мелкие и большие. Закидывали битку. Кто дальше забросит, тот первым и бьет. Играли испокон веку...

Чтобы не мешать ребятам, он тихо отошел от гумна. Мельница тяжело и утробно бухала шестью своими пестами. Он слышал эти глухие удары через ноги, через холодную, еще снежную землю. Они были тем отчетливей, эти удары, чем ближе подходишь, тем явственней. Ветер дул южный, теплый, крылья шли как бы нехотя. Песты бухали один за другим. Кому дедко толчет овес? Год назад на масляной полволости сидело без овсяных блинов. Рендовая простанвала уже и тогда, а теперь и вода давным-давно спущена. Мельник Жильцов арестован и осужден, говорят, за несдачу налога и гарнца. Мужики с трех волостей возят молот в Шибаниху. Ночуют, когда худо дует, ждут ветра. Ветрянка! Сравнишь ли ее с водяной жильцовской?

Павел боялся вспоминать про тот камень, привезенный издалека, лежавший под снегом на речном берегу. Из-за него чуть совсем не замерз, охромел, остался без пальца. Да зато жернов — жернов воистину... Что будет?

А будет дальше вот что: Игнаха Сопронов истолчет во прах! Измельет и выбросит на произвол судьбы. За что дана ему такая подлая власть?

Павел сам не заметил, как оставил Карька и очутился вверху, около ступ. Сел на амбарном пороге, взглянул на Шибаниху с мельничной высоты.

Надо было что-то делать, делать срочно и споро. Он чувствовал это, как зверь чувствует затаившегося охотника. А что делать? Бежать надо... Куда? Везде нынче свои Игнахи. «А может, и не везде», — подсказывал чей-то голос. Вспомнились слова Степана Ивановича Лузи-

на. Не зря ли отказался, когда Лузин предлагал остаться десятником в лесопункте? Может, и зря...

Сидел Павел на приступке, в мельничном шуме и скрипе, завороченный мерными чередующимися ударами, шорохом бесконечного кругового движения. Стучали лопатки, подымавшие один за другим шесть мощных пестов, скрипели махи. Только не постукивали цевки черемуховой шестерни. Дедко давно собирался ковать жернова, со вчерашнего дня отключил главный постав.

Павел Рогов думал, как быть...

Неясная, неопределенная дума точила душу, но какая-то странная решимость, подобно дальнему ветру, уже нарождалась и крепла. Он не знал еще, что он сделает, но он знал, что нынче же обязательно сделает что-то...

Шум и шорох, скрип и стук заворочили и убаюкали Павла. Вот так же в детстве его завораживала сказка либо длинная песня бабушки, так же незаметно слетал на детскую душу золотой и сладостный сон. Он забылся, но в этом забытии зрела и крепла его мужская решимость. И в том же забытии и в мельничном шуме, в том полусне послышался ненужный, такой лишний человеческий голос:

— Эй!

Павел вскочил на ноги и выглянул из мельничного амбара. Кричали с другой стороны. Он спустился по первой лесенке на круговой настил. Внизу стояла чья-то подвода.

— Здорово, Данилович! — прояснился голос ольховского Усова. — А я уж думаю, никово нету, поеду, думаю, к дому...

Павел опустил еще по одной лесенке, уже на землю, поздоровался с приезжим. Усов рассказывал:

— Я, понимаешь ли, хотел увидеть тебя в Ольховице-то! Знаю, что тебя вызвали. Думаю, договорюсь насчет молотья, да оба и уйдем. Гляжу, а ты уж и усвистал.

— Усвистишь от вас... — усмехнулся Павел, но Усов на подковырку не обратил внимания.

— Дак смелёшь? Послидную квашню баба вчера испекла, муки нету. Смели, пожалуста, Павло Данилович!

— Смелю, если ветру намолить...

— Садись на мешки, покурим.

Павел сел на воз к Митьке Усову:

— У тебя, Дмитрий, колхоз... как назван?

— Разбежались, Данилович. Все! Остались только мы с Гривенником. Одно названьё... У вас в Шибанихе вроде тоже. Скотину-то по домам развели?

— Развели. А ты как? Ведь ты вроде бы коммунист.

— А что коммунист? — разозлился Усов и выматерился. — Коммунистам без муки тож не прожить, Павло Данилович...

У Павла Рогова все кипело внутри:

— Шустовские-то лари разве пустые были? А? У Гаврила Насонова тоже порядочно было памолото!

Не утерпел Павел Рогов, попрекнул Усова Гаврилом, а Данилом — отцом — не попрекнул, да в том не видел большой разницы.

Усов стремительно заплел цигарку:

— Я тебе, Данилович, вот што на это скажу. Против

ветра ссеть не каждый осмелится. Против ветра вставает вон одна твоя мельница! С Игнахой я тягаться не дюж.

— Почему?

— А потому что больно много у ево верхних заступников! И в райёне, и в Вологде! А особо много в первопрестольной Москве. Вот так, Данилович! И пускай моя баба мелет на ручных жерновах!

Усов схватился за вожжи.

— Да ты погоди, погоди! — засмеялся Павел и отнял вожжи. — Не петушись. Смелет тебе дедко Никита. Как надо, так и смелет.

Усов не мог успокоиться, опять начал закуривать.

— Мельница-то, Димитрей, мелет добро, — продолжал Павел. — Боюсь только, что и шею мне перемелет.

— Ты, Данилович, вот што... — Митька оглянулся во все стороны, нет ли кого вокруг. — Ты послушай нонче меня. Уезжай, парень! Уезжай поваровой куды глаза глядят... Я насчет тебя разговор слыхал. Говорят про тебя, что ты и ногу... это... наршно, чтобы в армию не ходить.

— Чево? — У Павла потемнело в глазах. — Ногу? Наршно?

— Это, Данилович, полбеда, беда другая похлеще. Гарнцу на тебя Сопронов начислил ишшо семьдесят пять пудов! Знает ведь, что не выплатить, ну и... Бумага на тебя отправлена в райён. Судить будут. Так што послушай меня, уезжай поскорей куды-нито, времё твое дорого.

Павел спрыгнул с груженных дровней Усова. Хромая, начал метаться, ходить около. Прислонился головой к витому косослойному столбу-подпоре. Отшатнулся. Не глядя на Усова, глухо сказал:

— Спасибо... Разгружай! Таскай к вороту... Пойду...

Он захромал, по-пьяному зашагал к своей упряжке. Оглянулся:

— Дедко придет... Тебе смелет. Остальным... пусть мелет Игнаха Сопронов!

Когда подвода с Павлом Роговым скрылась сперва за гумно, потом за амбарами, мельница пошла почему-то тише. Или ветер стихал? Все медленнее проходили широкие махи, осеняя собой груженные дровни и самого Усова. Помольщик видел, что крылья вот-вот остановятся. Митьке Усову показалось, что как только они остановятся, так что-то и случится не здешнее. Может, и сердце остановится вместе с ними? Либо вся земля перестанет вертеться. А может, она, земля-то, и не вертится вовсе, поди проверь, ежели кто чего скажет...

Х

Куда уехал Александр Леонтьевич Шустов, бывший бухгалтер Ольховской маслоартели? Куда в ту ночь ступала его лошадь, волоча полные розвальни ребятишек и стариков, по-цыгански укрытых шубами и одеялами? Никто не знал. Это в ту ночь, упреждая Архангельск, помню Крайкома посланная в Вологду, орггруппе ЦК дала указание на немедленное раскулачивание. Шустов задолго до этого чувствовал приближение грозы. Вологодский Губком давным-давно был разгромлен. Ещё 3-го февраля в газете «Правда» появилась статья

под названием «Разоблачить оппортунистов». В этой статье Москва объявила Вологду рассадником правой опасности. Шустов не сомневался, что его заберут, но когда заберут — не знал. А в тот вечер по тревожному стону телефонного провода или по какому-то тайному сердечному знаку Александр Леонтьевич вдруг озарился, почувствовал близость беды, раскусил зловещую тишину той решающей ночи. Да, он был просто убежден, что пришла как раз та самая ночь!

И враз принял решение. Короткий разговор с женой и отцом, решительное, резкое спокойствие, твердый голос. И вот уже мерин запряжен в розвальни. Быстро одели пятерых ребятишек. Пересчитывал Александр Леонтьевич всех уже на возу. Дедко Осий долго не мог ничего понять. Так, наверное, ничего и не понял старик, может, подумал, что поехали на Кумзерскую ярмарку. За одну ночь разрушилась многовековая судьба...

Все оставил, все бросил Александр Леонтьевич Шустов: обширный дом, гумно и амбар, скотину, лари с мукой, обувь, холсты, одежду, посуду и утварь. Взял одно живое свое богатство — деток с женой да отца с дедком Осием. Слезы родных то и дело останавливал короткими окликами. А как сам не заплакал? Не ясно... Стиснув зубы, шел он в ту пору за возом, шел в тихой снежной ночи. Куда? На долго ли? За какую вожжину дергать у следующей развилки? Вначале правил Шустов наудалую, лишь бы подальше от дома... Правда, чуть ли не в каждой деревне жила родня, двоюродные, троюродные братья и сестры. Немного в сторону от большака живут и родные братаны. Три младших брата и три (тоже младших) сестры. Приворачивал в любом месте. Но во всех домах по два самовара... Никогда, от веку, не сидела шустовская порода сложа руки! Рубили хоромы, пахали, жгли подсеки, косили сено, ловили рыбу и зверя, ткали и пряли, ездили под извоз. И роднились больше с такими же трудолюбивыми семьями. Поэтому знал Александр Леонтьевич, что не надо никуда приворачивать — над каждым домом давно висела черная туча.

Он проехал несколько волоков, передумал про всю свою жизнь! Прошел по ней взад и вперед. Но ведь не поедешь же без ночлега! Надо и лошадь кормить, и обогреть ребятишек, и стариков чаем отпаивать. Он выбрал в ту ночь мужа троюродной сестры в маленькой лесной деревеньке. Он оставил там дедка Осия, с тем чтобы переправили старика в другое место к другому дедкову сыну и брату отца Леонтия Осиевича. Самого Леонтия Осиевича Шустов оставил в другой деревне у двоюродных братьев. Там заодно навестил Александр Леонтьевич и родную мать, которая ушла погостить да и нянчила внуков с самого Ильина дня. Увидев сивую бороду Леонтия Осиевича, она ничуть вроде бы не обрадовалась:

— Чево, опять сватать приехав? Поезжай, поезжай в другую деревню.

— Бери, тятя, развод! — поддержал Шустов материнскую шутку, но Леонтию Осиевичу было не до шуток. Он заплакал, когда прощались...

Знал ли Александр Леонтьевич Шустов, что от Вологды до Архангельска, вдоль всей Северной железной дороги уже витала детская и стариковская смерть? Людей выгружали в снега и селили прямо в лес-

ные болота. Вагоны спешно гнали обратно, за новым грузом. Степные пахари торопливо учились владеть топорами. Только что срубленные елки прислонялись друг к другу вершина к вершине. Те шалаши покрывались еловой хвоей, стелилась хвоя на снег, и зажигались костры. Мужчин под конвоем гнали дальше в леса, а около тех шалашей... одного за другим хоронили стариков и непорочных младенцев. Женский крик, так похожий ночами на волчий вой, слышался сперва в зимних лесных болотах, на разъездах и близ полустанков. Но вскоре завывли, запричитали по-северному и местные жительницы. Южные, краткие в своем отчаянии слезные клики были иными, непохожими на рассудительные вологодские причитания. Только иногда, когда страх и отчаяние захлестывали женское сердце, вологодский вой становился точь-в-точь таким же, как мелитопольский или ростовский...

Шустов не знал еще обо всем этом.

Рассовав стариков по разным местам, Александр Леонтьевич с женой и пятью детьми выехал на Сухую курью. До Северной железной дороги оставалось пятнадцать верст...

В Сухой курье Шустов решил обогреть ребятишек и напоить лошадей. Но в избе негде было ступить, не то чтобы посидеть и погреться. Звучала украинская речь. Три красноармейца с винтовками глядели на Шустова как на врага, колодчик на водопое был занесен снегом. Шустов разгреб снег, напоил коня и уже в потемках направился дальше. Куда? Кто ждал его с кучей детей, без денег и хлеба? Никто не ждал...

Александр Леонтьевич знал, что никто не ждет и все же ехать куда-то. После Сухой курьи картина для него стала совершенно ясна. Выхода не было... И все же он ехал куда-то. На восьмой версте решили как-нибудь переночевать и утром двинуться в сторону железной дороги. Была затаенная дума найти шибановского Орлова. Ходил слух, что Орлов работал на одном из разъездов. Может, примет временно или подсобит устроиться? Хоть обходчиком, хоть пильщиком дров...

В барак на восьмой версте усташенские ребята сдвинули на нарах соломенные тюфяки, освободили место для шустовского семейства. Утром, когда поили коней, Шустова неожиданно окликнул Степан Иванович Лузин. Узнав про бедственное состояние шустовского семейства, он предложил задержаться, привел Шустова в натопленную конторку. Начальник не хотел слушать подробностей шустовской пережившей жизни. Он с ходу предложил угол в бараке:

— Александр Леонтьевич, у меня нет десятника. Оставайся! Когда срубим новый ларек, дадим тебе старое помещенье.

— Я, Степан Иванович, вышел из партии... — произнес Шустов. — Считаю своим долгом сказать...

Лузин поморщился:

— Александр Леонтьевич! Ты мне об этом не говорил, а я от тебя ничего не слышал!

— Нет, Степан Иванович! Ты пусть и не слышал, спасибо. Да Ерохин-то с Меерсоном отнюдь не глухие.

— Волков бояться, в лес не ходить! — возразил энергично Лузин. — А лес, Александр Леонтьевич, советской власти, сам видишь, нужен как воздух.

— А скажи мне, Степан Иванович, почему крестьянство-то мы зорим? — тихо спросил Шустов. — Своих же кормильцев рубим под корень... А самое главное, нет числа таким дровосекам, и всё оно копятя, всё копятяся...

Молчал начальник лесопункта Степан Лузин. Прищурил глаза, глядел в одну точку и слушал Шустова:

— Был, значит, у крестьянства царь Николай Второй, и была у него единая власть. Где единая власть, там и порядок. Нынче власть сразу у многих, у всяких и разных. И всяк свои мысли кладет во главу угла, кому что придет в голову. Не стало у нас в России порядка...

— Не крепка, значит, наша власть, Александр Леонтьевич? — засмеялся Лузин.

— Не то чтобы не крепка, а рассыпчата! От огня и воды камень трескается, одна дрова остается. Потому я и вышел из партии. Прошли вы огни и воды, а перед медными трубами вам не выстоять... Мало кто удержался в рамках перед медными трубами.

— А царь? — Лузинские глаза смеялись.

— Царю, Степан Иванович, медные трубы были положены по штату! Для одного народ ничего не жалел, готов был на любую музыку... Мужик потому за царя и держался.

Лузин посерьезнел и возразил:

— Ну, положим, Гаврило с Данилом не больно-то и держались. Наоборот!

— А ныне оба на Соловках либо в Печоре локти грызут.

Но Лузину было не до политических споров. Вологда требовала от него лес, десятник нужен, и он повторил предложение:

— Принимай, Александр Леонтьевич, должность! Остальное и прочее я беру на себя.

В горле у Шустова застрял горячий комок. Не зная, чем выразить облегчающую благодарность, он покашлял тогда, приготовился сказать Лузину что-то хорошее, но в контору зашли двое высланных украинцев.

Считая дело окончательно решенным, начальник подал Шустову бланки учетных документов:

— Принимай, Александр Леонтьевич, покамест по кубатуре, в сортиментах разберемся позднее.

Кладовщик в тот же день выдал Шустову под расписку стальное клеймо на березовой ручке и складной в медной оправе аршин. Надо было срочно клеймить торцы дерев, обмеривать и сортировать свежую древесину, вывезенную усташенскими мужиками.

Ночевали в ту ночь вместе со всеми, но жилье выделили тоже вскоре и почти по-царски: Лузин приказал отгородить в бараке угол в одно окно. Половину места занимали широкие нары, на коих цыганским способом сложили подушки и одеяла. Вторую половину занимал стол, тесанный топором, да такая ж скамья. Еще оставалось место под умывальник, и шевельнуться, повернуться, ничего не задев, было совсем невозможно.

Александр Леонтьевич был рад и такому жилью. Со всем стараньем старорезимного подрядчика он приступил к новой работе. И та дорожная ночь была давно позади... Шла последняя. Страстная неделя поста, когда

на восьмой версте объявился шибановский Павел Рогов. Мужик стоял перед Шустовым с просительным видом, с топором за поясным ремнем, с котомкой на широких плечах.

Шустов не скрыл радости:

— Ты, Павел Данилович, с подвою или так?

— Один.

— Значит, без лошади. Бери моего коня и дровни! Подсанки тоже подыщем. Надолго ли, если не трудно ответить?

— Трудно, Александр Леонтьевич! — признался Павел. — Трудно ответить... Хотел на все... Пойду на любую делянку... Не дают дома-то жить!

Десятник, подобно начальнику лесопункта, не стал вникать в подробности, а взял да и показал новичку место в бараке.

Павел не разучился валить и возить лес... Но когда начала таять лежневка, Шустов неожиданно переменял собственное решение, послал его в пилоставку, чтобы тесать топоры, насаживать топоры и точить попеременные пилы для украинских лесорубов. Павел вначале заерпенился, считая все это стариковской работой. Вмешался сам Лузин, начальник, убедил, что дело это сейчас важнее всего.

— Платить будем на совесть, как рубщику! — закричал Шустов весь разговор. — Да и спать тут будет тебе спокойнее.

Пилоставка была срублена в охряпку на скорую руку. (Рубили сначала баню, но понадобилась пилоставка.) Печка сложена по-культурному, даже с плитой. Двери открывались прямо на улицу, в сторону болотного леса.

Павел тесал топоры с утра до вечера, часами шаркал напильником. На ночь он запирался на крюк и спал прямо на голом топчане. Питался кое-чем из ларька. Хлеб и табак привозили для лесорубов на лошади с железнодорожного разъезда, еще торговали треской. Иногда приходил ночевать Апалонч, рассказывал новости. Тоска подступала к Павлову сердцу. Дошел слух, что Сопронов через милицию ищет его, что в Шибанихе сломалась дедкова мельница. Не мельница маяла, маяла неизвестность. Как-то там Вера Ивановна, когда будет родить? Мать жива ли?

Каждое утро начиналось с прихода украинских выселенцев. Они разбирали пилы, иные просили насадить топор на новое топорыще. Павел не успевал как следует наточить пилу, сделать по-доброму топорыще.

— Тебе, Данилович, все одно на всех не уснуть, — поучал Апалонч, сидя на чурбане и растапливая печку. — Ты возьми да одного научи, топоры-то насаживать! Вон хоть бы Малодуба Григория. Парень проворной, сам научится и других выучит. Вишь, легок на помине...

Дверь хлопнула. Павел поднял голову. Рыжие усы Грицька весело шевельнулись:

— Здоровсьяки булы!

В серых глазах парня чулась застойная хохляцкая грусть. Давняя тоска стояла в глазах, но все равно они улыбались шурлились. На голове у Грицька торчала такая-то вязаный шерстяной колпак, на плечах — ла-

танный во многих местах ватный пиджак. Штаны на коленях тоже были закропаны, уже и на заплатах имелись дыры. Особенный страх вызывала у Павла обутка Грицька, напоминавшая шоптаники, то есть тряпичные лапти, в каких бродят многие нищие. Грицько сильно напоминал в этой обуви шибановского Носопыря.

— Чего на ноги дивишься? — улыбнулся Грицько. — Коли моим шиблетам заздришь, то я готовый поменяться... А ти, диду, пиди тим часом за мени на делянку. За це видам тобі всю премію...

— Много ли вы с Антоном кубатуры-то нагнали? — спросил Апалонч.

— Много! Багацько... А було б ще більше, як би до Ярохина не тягали.

— К Ерохину? — притворно удивился Апалонч. — А чево ему от вас?

— Як чо? Вин тут замість попа, вимяте сповидь, инколи де-кого причає.

Грицько поднес кулак к своему носу, показывая, как причащает Ерохин.

...Сегодня Грицько отказался учиться насаживать топор по-вологодски. Он попросил у Павла бритву и помазок, чтобы сбрить бороду:

— Витру не буде, ходимо до шинкарок.

Апалонч сварил чугунок картошки, достал из мешка хлеба:

— Садитесь-ко вот лучше.

— Цибуля? Та вона ж ныне Милиша за будь-яку дивчину... Давай швидше, поки нема брата Антона, той приїде, все умне... А ось вин тут як тут. Все чує, як кит з вусами.

Павел успел уже полюбить этих веселых братьев. Они захаживали в пилоставку и по вечерам, после делянки. Пили настоящий, выданный Лузиным чай, слушали Апалонча, который изредка исчезал куда-то и приносил свежие новости.

Антон Малодуб, старший брат Грицька, был сегодня совсем хмурый, на братнины шутки не обращал внимания. Апалонч начал спорить с Грицьком: как это так, «как кит с усамі». Кит, мол, плавает в окиян-море, кит — рыба, какие же у рыбы усы?

— Немає в риби вусив, — согласился Грицько, очищая картофелину. — Зате в кита є и в мене є, тому що я не одружений. А в брата Антона вуса були, та жінка Параске все висмикала. А помиг жінке мій племянник, ось и немає в Антона вусив.

Апалонч так и не разобрал, отчего это кот по-украински кит. Павел взглянул на Антона с тревогой. Что-то колынуло его изнутри. Пока братья брили друг друга роговой бритвой, он вспомнил зимнюю лесную дорогу и ту встречу с женщиной, которая стремилась в Сухую курью.

— А как племяша-то у тебя звать? — как бы невзначай спросил Павел у Грицька.

— Та я вже пидзабув, а ось брат не забув. У нього и питаєтє.

— Фелько, — тихо произнес Антон. Глаза у него зажались и блеснули.

Фелько! Все сходится... Женщина назвалась Парасковей, когда Павел оставлял ее ночевать у старухи. Это она и шла тогда, она искала мужа и брата. Она

несла как живую свою мертвую ношу! Где она ныне и жива ли сама? И что делать? Рассказывать ли Антону про ту жуткую встречу?

Павел швырнул напильник в сторону, бросил на пол пилу. Пила жалобно взвыла. Апалонич недоуменно поглядел на Павла Рогова. Антон и Грицько приняли выходку пилостава на свой счет. Антон взял пилу, оба брата молча вышли из пилоставки. Павел очухался, выскочил следом:

— Да нет, вы што? Идите обратно!.. Я... так, сам на себя... Чуете? Остынет картошка-то...

Братья остановились, переглянулись.

— Обиделись, что ли? — в упор спросил Павел.

— Та ни... Йти треба, Даниловичу,— заговорили они оба сразу.— Ярохин, того гляди, из гнезда вылетит.

— Хотел я сказать вам кое о чем...

— Мабуть до ниншого разу.

Они ушли, а Павел стоял у порога и терзался в раздумьях. Может, лучше не говорить? Может, знают? Нет, ничего не знаю! Надо сказать...

Но они уходили от него, не оглядываясь. Морозный светлый ледок хрустел под их страшными чеботами. Вчерашние лужи и ручки их струились под этим хрупким прозрачным ночным ледком.

Дрожь прошла от ключиц и до поясницы. Нет, не от холода вздрогнул Павел Рогов! Вздрогнул от непереносимо-явственного виденья: лесною дорогой шла, нет, не украинка-выселенка, шла его жена Вера Ивановна. Он помотал головой, как пьяный.

Снег таял взаправду. Заметно удлинились светлые предпасхальные дни. Усташенские лесорубы и возчики разрезались по деревьям, там их гнали обратно. Для нерадивых учреждено рогожное знамя. Павел знал, что Лузин получил указ: кидать снег лопатами с бровок на те места, где вытаивала земля.

Возить по этому снегу, только возить! Выполнять план!

Апалонич сочинил даже частушку: «Не нагоним нападным, так нагоним накидным».

Что правда, то правда, нападного снегу ждать было уже нечего. Дело быстрехонько шло к весне, к полводью и севу.

Утро сияло. Глубокое, бирюзово-синее небо разверзалось над Павлом. Из леса, с востока и севера, долетало тетеревиное бульканье. Сердце чуть успокоилось при этих знакомых, почти родных звуках новой весны. Токуют тетерева на полянах, горят полевые снега. Природа живет как и раньше, ничего не меняя.

От морозного воздуха, от переключки полевиков вернулся в тесную подслеповатую пилоставку.

— Чего, Паша, ушли? — спросил Апалонич.

— Ушли!

И Павел начал точить напильником очередную пилу. Он рассказал старику про лесную зимнюю встречу:

— Тут все, Апалонич, сходится! И сынок Федько, безгрешная душа, и жонкино имя...

— Ествою корень! — Апалонич захохотал после такого рассказа.— Она! Парасковья, ихняя баба. Много разов говорил Гришка-то! Садись, самовар вскипел...

Апалонич называл самоваром чугунок, в котором варили сперва картошку, затем кипятили воду на чай.

XI

Все светлее и дольше становились предрассветные дни. Иногда закатное солнышко прямиком упиралось в небольшое окно пилоставки. Оно светило тогда вроде бы снизу. Словно невидимая солнечная ладонь припечатывала на сосновой стене избушки квадратный розовый пласт, золотились как слезы капли сосновой смолы, и дерево излучало янтарный внутренний свет. Тем чернее приходила лесная беспросветная ночь. Одиночество давило на Павла безжалостно и настойчиво. Особенно тосковал он в тишине по ночам. Впервые узнал, что такое бессонница, хорошо еще, что иногда приходил ночевать Апалонич.

Правда, старик очень уж сильно храпит. «Ты, Данилович, толочи меня в бок, чтобы я потише храпел,— наказывает старик с вечера.— Ты не ленись меня останавливать». Надо ли толочить в бок Апалонича? Тоска, а может, и сама боль в ступне заслоняются по ночам этим неутомимым разливистым храпом. Оба спали одетыми, на топчане. Ни у того, ни у другого не было ни подушки, ни одеяла. С вечера в пилоставке жарко. К утру, когда подкрадется сон, избушка выстывала насквозь. И Павел всю ночь крутился на топчане. В такие часы подстерегла однажды покаянная мысль: «С какой стати уехал от жены и от дома? Оставил сына, а может, и двух... Родную мать и малолетнего брата бросил в чужих людях. Что-то сделал не так, что-то вышло не ладно. А как ладно?»

Павел опять проворачивал в памяти несчастный тот день с утра и до ночи.

После разговора с Дмитрием Усовым он распяг мерина. В отчаянии хотел было залететь в лавку Володи Зырина, да что-то остановило. Может, вспомнил, как маялся от стыда после нечаевской пьянки. Вышла статья Сталина... А что толку? Игнаха все равно доконает. Уехать, устроиться в лесопункт... Обжитья, потом увезти семейство. Собрал в кулак всю пачинскую натуру, ступил в дом. Вера Ивановна трясла в сенах детское одеяло. «Приехал? — спросила с надеждой.— Иди, кряду будем обедать». В избе в красном углу стучало ткацкое бёрдо. Скрипели подножки. Аксинья каждую свободную упряжку ткала, Сережка с Алешкой по очереди крутили скально, также по очереди качали они зыбку. «Белый ты весь,— сказала теща.— Не угорел?» — «Угорел,— соврал Павел.— В Ольховице у Славушка». Она слазала на полати, разрезала ему свежую луковичу: «На-ко вот, нюхай!» Резкий луковый дух и в самом деле привел тогда в чувство. Аксинья накинула скатерть. Вера пошла звать обедать дедушку, а тот ушел принимать усовское зерно. Тревожно поглядывала на мужа Вера Ивановна. «Да угорел он!» — успокаивала ее Аксинья, только ведь жена всегда видела больше матери. Пришел от мельницы дедко, тоже перемену почуял, одни ребята ничего не чувствовали, хлебали постную губницу, толкали друг друга локтями. «Ну, так чево в Ольховице-то? — Аксинья выставила противень с холодным гороховым киселем.— Матку-то видел?» — «Видел... — глухо ответил Павел.— Сидели у Славушка». Никто в семье, кроме Ивана Никитича, не любил гороховый кисель с льняным маслом. Вспомнили об этом, наверное,

все шестеро, вспомнили и затихли. «Пора сказать», — подумалось тогда Павлу, и он взял за руку Веру Ивановну. Сердце забилося... Он рассказал про допрос, но не все рассказал, утаил от родных то, что Скачков едва его не арестовал. Утаил и разговор с Митькой Усовым, зато набрался смелости, выдохнул: «Ехать надо! Пеки-те-ко подорожники!» Он так явственно помнит ту злую минуту. За большим роговским столом стихло. Ребенок в зыбке проснулся, встал на карачки, весело поглядел на семейство. Павел обвел всех несветлым своим взглядом, на ходу начал придумывать: «Деньги нужны, налог заплатить...» Он видел, что Вера так и замерла вся, так и пошла зачем-то к шкафу. «Не бойся! — Он выбрался из-за стола, настиг и обнял ее за плечи. — За море не убегу...» — «Куда средился-то?» — «На восьмую версту. Дорога зимняя падает... Володя Зырин обещал подвезти до Ольховицы! От Ольховицы в Сухую курью ездока много. Кто-нибудь подвезет. А то и пешком...» Горло его сдавилось, он не мог больше говорить. Вера заплакала. Аксинья молчала, готовая тоже к слезам, и неизвестно чем бы все кончилось, если бы дедко не одобрил решение Павла: «Поезжай, Пашка, поезжай, пока до вёшного! — Старик повысил голос. — А будем и вёшное-то ноне пахать? Пусть! Оксютка, иди за мукой, твори подорожники. И ты, Верка, не реви здря».

Вздыхал дедко Никита, охал, кряхтел и кашлял. Ему надо было идти молотить Митьке Усову. Павел слышит его голос, видит сивую бороду, и васильковый свет светит ему из глаз старика: «Поезжай, поезжай, Пашка, пока до вёшного. К весне-то авось образумится который-нибудь: либо Сталин, либо Игнаха...» Жена всю ночь плакала на плече. Утром, едва испеклись подорожники, едва попили чаю, скорей котомку на плечи! Долгие проводы, лишние слезы... Еще с вечера Павел видел, что река обозначилась под горой. Уже стояли на дорогах изрядные лужи. Пришлось ехать в шапке, но в сапогах. Глядела ли Вера вослед ему? Он ступал за подводой, старался не оглянуться назад. Скорее бы волок... В лесу зыринская кобыла вдруг обернулась назад. Она оскалила на Павла большие желтые зубы. Ее круглый кровавый глаз наливался голубизной, выростал, словно радужный шар... Высокие черные ели стояли в снегу, до узкой тропы сжимая лесную дорогу, а впереди, перед возом, стояла женщина с ношей. Лошадь вот-вот ударит ее запрягом. Но ведь это она, Вера Ивановна, стоит со своей ношей на лесной снежной тропе! Господи, надо бы дернуть за вожжи. Надо остановить проклятую лошадь, а рука Павла двигается так медленно, что ничего не успеть, и вот сейчас Веру, жену его, изо всей силы ударит запрягом...

Павел Рогов пробудился на топчане в холодном поту. В окне брезжило, синело утро. Апалоньча рядом не было. Сердце билось после страшного сна.

Павел откинул крюк, сходил за угол, вернулся в пилоставку и затопил плиту. «Какая же это жизнь? Умываться снегом, в чугушке чай кипятить...» Так думал Павел Рогов, стараясь поскорее забыть кошмарный ночной сон. Оскаленная лошадиная морда еще долго явственно стояла в глазах.

Треска с полузасохшей хлебной горбушкой, кружка кипятку, три поперечные пилы, которые надо точить...

Он выточил их за час-полтора, но никто почему-то не шел за ними. Павел выглянул наружу: солнце сегодня поднималось совсем весеннее. И что-то копилося в душе... Жаль, нет старика. Сходить поискать его в бараках? Может, голодный. Никто теперь не слушает его говорю по вечерам. Выселенцам не до него, а усташата на Пасху разъехались по домам. «Тоже вот, — думал Павел про Апалоньча, — ходит туда-сюда, то домой в деревню, то на станцию. Кормится прибаутками. А сам-то ты? Тоже вроде бы зимогор. Нет, надо уехать. Не горячнись, думай... Домой? Нельзя домой. Там Игнаха Сопронов с наганом, милиция. Загребут в первый же день. Так ведь и тут загребут! Вон, Ерохин уже вызывал в кабинет. Доберутся, не сегодня так завтра. Уезжать надо. Шустов советует: «Просись в Красную Армию. Два года прослужишь добром, время минует». Возьмут ли без пальца-то? Антон Малодуб ничего не знает про жену и про сына... И кто это целое утро бродит за воротом?» Нашупал, прижал пальцем...

Крупная, с прозеленью, вошь поставила на раздумьях Павла последнюю точку. Он бросил ее в огонь, схватился за шапку, быстро накинул полушубок, вышел на волю. Куда? Он решительно ступил сторону шустовского жилья.

Барак пуст. Лишь двое больных, с порубленными ногами выселенцев, молча шуруют в печи. Павел открыл двери в шустовскую комнату, встал около умывальника. На него с интересом глядело с полдюжины ребячьих глазенок. Взрослых нет. Дети с любопытством глядели на пришельца. Павел спросил, где у них тятя и мама. В ответ самый младший заревел почему-то что было мочи. Его дружно и быстро успокоили старшие.

Ребятня только что пускала мыльные пузыри. Нарочно для этого на топчане, вверх шерстью, был разостлан целый тулуп, штук пять радужных пузырей еще светилось на нем. Они долго не лопались на овечьей шерсти. Павел не забыл детских забав.

— А ну давай, дуй еще! — сказал он и подумал: «Откуда у них солома влязлась?»

В два фарфоровых блюдца с мыльной водой начали тыкаться соломинки. На расцепленных концах соломинок рождались и росли радужные красивые пузыри. Росли и слетали, парили над своими хозяевами, иные вытягивались от слишком сильного дутья и лопались к обиде нетерпеливого надувальщика. Большие, иногда с детскую голову, они срывались с концов соломинок и плыли по комнате. Ребятишки дули на них снизу. Иной пузырь подымался вверх к почернелому потолку. На круглых золотисто-радужных боках, в крошечном перевернутом виде, отражались все эти белоголовые восторженные шустовские наследники. Павел и сам позабыл про свой возраст. Хотел уже попросить у которого-либо из ребят соломинку и выдуть свой добротный пузырь, но в дверях появился Шустов. Павел покраснел, словно его застали за недостойным занятием:

— Вот, зашел... Думал, хозяин дома. Александр Леонтьевич... Я, значит, это... Уезжать лажу.

— Вот тебе раз! Куда?

— Не могу я тут больше...

Шустов сел на край топчана, вздохнул:

— Гляди сам, Павел Данилович!.. Вольному воля.

Но думаю, что делаешь ты это напрасно. Гляди сам... Да.

Павел разволновался и заговорил не то, что хотел сказать:

— Сейчас слышу, за воротом кто-то ходит. Хватил, гляжу, вошь! как дробина... Да чтобы я... У нас сроду этого не было!

— Ну, одна, это еще полбеда,— невесело засмеялся Шустов.— Вот когда поползут рассыпным строем, тогда хуже ничего нет. Я в гражданскую помню...

Шустов не стал вспоминать, махнул рукой. Павел попросил принять инструмент. Шустов еще раз пробовал уговаривать, но Павел стоял на своем:

— Нет, не могу, Леонтьевич. У нас вшей сроду не было... Отпусти. Уйду счас, сразу...

— Ну, коли так, держать не буду! Куда ж ты теперь? — Шустов достал из бумажника тридцатку.— Вот, возьми красненькую и напиши расписку. Думаю, у тебя заработано больше, я распишусь за тебя в ведомости. Сколько останется, перешлю. Но куда?

— Поеду пока в район. Ежели не возьмут в Красную Армию, попрошу справку. Завербуюсь плотничать. Подальше куда, может, в Онегу.

Павел присел к столу и под диктовку начал писать расписку:

«Взято у десятичника А. Л. Шустова тридцать рублей в счет зарплаты. Деньги получены сполна. К сему Пачин».

— Рогов нынче,— смутился Павел, не осмеливаясь уйти.

...Александр Леонтьевич всерьез расстроился решением Павла. Не станет в лесопункте еще одного надежного человека. На кого положиться? Бывший бухгалтер Ольховской маслоартели бегал целыми днями по полянкам, сдвиг в Вологду за новыми лучковыми пилами, хлопотал о печных вьюшках, успевая клеймить баланы. На ходу осваивал Шустов и украинскую мову. Сверху требовали одно: лес, лес и лес! Уполномоченные сновали по всем направлениям. Той же порой, по всем дорогам, сжали первые перебежчики. Местные лесорубы и возчики бревен бросали деланки. Телеграммы из Архангельска одна за другой летели в Устюг и Вологду. Москва требовала от Севкрая усилить приток валютных рублей и ликвидировать кулака. Но в этом настойчивом двойном требовании Центр почему-то не замечал жестокого противоречия: одно исключало другое... Усташенские ребята работали сперва лучше всех, а нынче на Пасху почти все укатили домой. Украинские выселенцы разугы-раздеты. У них нет даже рукавиц. Неумело насаженные топоры слетают с березовых топорщиц, люди не знают, с какой стороны рубить, чтобы дерево падало куда надо. Мог ли выполнить норму вчерашний степной хлебороб, никогда не ступавший по пояс в таежный снег? Так думал Александр Леонтьевич Шустов, а Павел Рогов чувствовал вину и неловкость, но стоял на своем...

— Что ж...— Правая рука Шустова гладила по очереди головы ребятишек.— Что ж... Поезжай, коли с вербвищиком будешь в ладах. Только послушайся моего совета, найди слой в районе! Напиши заявление предрику, объясни ему свое социальное положение...

К военному сходи. Объясни, что брат в Красной Армии, что наемного труда не было... Военкома я знаю, скажи, что от Шустова...

Ребятишки притихли. Они внимательно и серьезно слушали разговор взрослых. Шустову показалось, что Рогов заколебался.

— Не раздумаете?

Павел глядел в землю, держался за скобу. Не хотелось ему обижать Шустова! Не хотелось и рассказывать про вчерашний день, когда Ерохин вызвал его в лузинскую конторку и долго, один на один, выпрашивал про всю ольховскую и шибановскую родню. Чего было надо Ерохину? Ясно стало только под конец долгой беседы, когда Ерохин заговорил о «классово-чуждом элементе в условиях лесопункта». Он потребовал слушать, что говорят в пиластике украинские выселенцы... Слушать и сообщать ему, то есть Ерохину. Павел сказал, что не знает украинской речи... Тогда Ерохин встал, подошел вплотную, взял в кулак край роговского полушубка, притянул к себе и произнес: «Не умеешь — научим, не хочешь — заставим! Иди, гражданин Рогов, и крепко подумай!»

Причащает и исповедует... Эти слова Григория Малодуба вертелись на языке. Хотелось рассказать Шустову обо всем, но Павел удержался, не стал говорить. «Советует Александр Леонтьевич сходить к предрику. Найдешь ли и в районе защиту и правду? Нет, надо скорее уехать... Куда? В Шибанке Игнаха жизни не даст, на чужой стороне вши заедят. Вот в красноармейцы бы на год-полтора! Отслужить бы действительную, а той бы порой и ветер утих... Вон Васька-братан, служит матросом, учат на почетного командира».

Думал Павел и о том, как перевез бы Веру Ивановну сюда в барак...

Сроду во всей деревне, ни в одном, даже самом бедном семействе, не бывало одежных вшей. Только иногда оставались после ночлежников-нищих, но тогда весь дом мыли и перетряхивали. Всю одежду, одеяла и наволочки прокаливали в банной жаре. Бывали, правда, головные, мелкие, так этих вычесывали гребнем. Бабы при любой свободной упряжке устраивались где посветлее искать в голове. Каждую субботу баня со щелоком... А тут одежная вошь! С прозеленью, такие и бывают тифозные.

— Нет, Александр Леонтьевич, не приживусь я тут! Не привыкнуть мне, потому што...

Павел решил наконец рассказать Шустову о требовании Ерохина, но тут заскрипела рассохшаяся, сколоченная из сырьё барачная дверь. Вошел, вернее влез в комнату начальник Лузин, в пальто с бобриковым воротником, в пыжиковой ненецкой шапке. Уши у шапки — до пояса. Помятые брюки, заправленные в грязные бурки, тоже были не очень чисты. «Не лучше, чем у меня», — подумал Павел и хотел уйти, но Шустов движением руки остановил и обернулся к начальнику:

— Степан Иванович, присесть у меня негде. Извините.

— Я на один момент, Александр Леонтьевич.— Лузин с обоими поздоровался об руку, оглядел снова притихших ребятишек. Павел опять взялся было за скобу, но Шустов снова остановил:

— Вот, Степан Иванович, был у нас один пилостав, и тот вздумал уехать.

— Куда? Почему?

— Такой дородной мужчина, а испугался малого насекомого! — засмеялся Шустов. — Впрочем, спросите у него сами...

Лузин сдсделался хмурым:

— Баню, товарищ Рогов, к осени сделаем, даю слово. Работай! Семью со временем перевез бы. Или недоволен жалованьем? Тоже в наших руках! Так что давай, меняй решение, Павел Данилович! Лесное дело нынче у государства на первом счету. Подумай!

Павел стоял как школьник.

— Крепко подумай, Павел Данилович! — повторил начальник. В голосе Лузина звенела хоть и еле заметно, но приказная струна. И слова были такие же, как у Ерохина! Павел упрямо тряхнул головой:

— Не привык я, Степан Иванович, в лесу жить! Ежели не возьмут в Красную Армию, завербуюсь в Онегу. Лихом не поминайте...

Павел Рогов за руку попрощался с начальством. Двери заскрипели, захлопнулись, места сразу стало намного побольше.

Шустов предложил Лузину сесть на край топчана.

— Садитесь, Степан Иванович, насекомых у нас пока нет.

— Троцкий говаривал когда-то о политической вшивости. — Лузин пробовал пошутить. — А чем обернулась на восьмой версте ерохинская дезинфекция? Знаешь сам, Александр Леонтьевич. План не выполнен не только по вывозке, но и по рубке...

— Да, товарищу Ерохину в активности не откажешь, — задумчиво согласился Шустов. — Газету со статьей товарища Сталина порвал на глазах усташенских возчиков! Прошу покорно, Степан Иванович, извинить. Угостить мне тебя нечем. Самовар ставить тоже покамест некуда.

— Все будет, Александр Леонтьевич! Как говорится, дайте только срок, будет вам и белочка, будет и свисток.

Начальник пощекотал среднего шустовского наследника, пощекотал второго. Но даже ребятишкам была заметна его напускная веселость.

— Тут у меня, Александр Леонтьевич, цидуля насчет вас. — Лузин перешел почему-то на «вы». — Пришла по почте.

— Сопронов поди-ка? — спросил Шустов.

— Нет, берите выше. Скачковым подписана.

Шустов переменялся в лице.

Лузин пожалел, что сказал, и хотел перевести разговор вновь на шуточный тон: «Бумаг, Александр Леонтьевич, на наш век будет достаточно, фабрика Печаткина трудится без остановок. Не обращай внимания». Не таков был человек Шустов, чтобы не понимать, что стоит за такими бумагами!

— Разыскивают кулака и правого оппортуниста? Не так ли, Степан Иванович?

— Так. — Лузину ничего не оставалось делать, как согласиться. — Но вы не беспокойтесь. Я эту бумагу не

читал, ты про нее не слышал... Говорю определенно. Ерохин, по всей вероятности, не знает о ней.

— Если Ерохин не знает, то это и есть политическая вшивость... — произнес Шустов. — Придется, Степан Иванович, и мне... покидать вас...

— Александр Леонтьевич, да вы что? Я ручаюсь за вас своей головой. Я сейчас же напишу в район.

Они не заметили, как теперь уже оба перешли на «вы».

— Нет, нет, Степан Иванович. — Шустов решительно встал. — Я вас подводить отнюдь не желаю и уеду не медля! Мишка, ну-ка, братец, обувай сапоги! Беги за мамкой, она в третьем бараке пол моет...

Напрасно Лузин убеждал Шустова в том, что поставит Скачкова на место и что все со временем утрясет. Шустов не верил, не мог верить этим словам! Мысленно он уже прикидывал, где лежит упряжь...

Мишка долго искал под топчаном свои сапожки. Ему то и дело попадались чужие: то маленькие, то большие. Наконец он обулся в какие попало и убежал за матерью.

Пять пар детских пронзительных глаз с недетской тревогой следили за каждым движением взрослых.

* * *

Павел тем временем сдал инструмент кладовщику, без сожаления окинул взглядом еще теплую пилоставку и... покинул восьмую версту.

Он шел с котомкой в сторону железной дороги, к разъезду, куда мужики возили клейменные Шустовым хлысты. Чтобы выехать местным поездом в районный поселок, надо было за два часа пройти восемь верст.

Он шел по лежневке, почти оголенной. Снегу на ней не было, лед во многих местах растаял. Еще ползли по лежневке редкие подводы с хлыстами. Когда полозья съезжали с ледяных мест на вытаявшую землю, лошади останавливались. Тащить груженные дровни с подсанками по голой земле не под силу было самым здоровым коням. Возчики ругались почем зря. Усташенский парень, которого догнал Павел Рогов, остановил подводу. Попросил закурить и сел на большое толстое дерево, которое вез к разъезду.

— Не куришь? — удивился он.

Павел сел с ним рядом, на бревно. Парень вдруг обругал матом своего же мерина:

— Стой, задрыга такая, бл... долгоногая!

— Ты за што лошадь-то так честишь? — удивился Павел.

— А не за што! Не твое дело...

Парень спрыгнул с бревна на землю и вдруг начал развязывать узел веревки:

— Эй, подсоби скатить!

Павел был слегка ошарашен. Не задумываясь, помог парню скатить бревно с колодок дровней и подсанок. Сам возчик тоже недолго думал. Развернул подводу, закинул подсанки, сел на дровни и гикнул коню. Через минуту оба пропали за лесным поворотом. Толстое долготое ровное бревно осталось лежать на дороге...

Павел Рогов заспешил. Он шел дальше и дальше,

словно бы от места своего преступления. Чем дальше уходил он от большого, брошенного на дороге хлыста, тем больше что-то щемило в груди. Дерево, брошенное на лежневке, не отпускало его от себя, зывало к его чести и совести...

А он шел от него дальше и дальше.

Не доходя до разъезда примерно с версту, он увидел новые чудеса. «Цыганы что ли?» — мелькнуло в уме. — Нет, не цыганы. И на украинцев не похожи, разговаривают по-русски...»

В болотном снегу, перемешанном со мхом и болотной черной землей, среди свежих пней и еловой щепы разместился какой-то табор. Табор не табор, но что-то похожее на него. Или военный лагерь? Дым от костров стелился по лесу. Бабы крики и детский плач становились слышнее: нет, не похоже было на военный бивак!

Еще издавлек Павел увидел непонятные шалаши: ряды елок, едва освобожденных от сучьев, были поставлены шатром, вершина к вершине. Промежутки и щели между деревьями были затыканы и покрыты хвоей. На пнях и подкладках торчали узлы и даже разноцветные сундуки. Люди бродили меж кочек и пней по выступившей весенней воде, кричали что-то, но всего слышнее были женские причитания и детский плач. Павел Рогов подошел ближе. Высокий белый старик долбил лопатой промерзшую землю между березой и небольшой осинкой. Павел поздоровался с ним. Старик оперся на черень лопаты, ответил коротким кивком. Отдышался и вновь начал долбить.

— Ты чего тут ищешь, а дедушко? — стараясь быть поборней, спросил Павел. — Колодчик, что ли? А ну-ка дай мне...

— Не ищю, а ховаю, — сипло ответил старик и подал лопату.

Павел Рогов несколькими ударами пробил несильную болотную мерзлоту, обрубил заступом древесные корни.

— Вот! Теперь дело-то скорее пойдет...

— Пойдѐть, пойдѐть... — бормотал старик неразборчиво. — Дело идѐть да идѐть...

Только сейчас Павел заметил, что болотина в некоторых местах была уже изрыта. И только сейчас ему стало ясно, что копает белый старик...

Смятение и страх подступили к сердцу. Старик оставил заступ и, ничего не сказав, направился к шалахам. Павел стоял, не в силах сдвинуться с места. Через какое-то время старик появился опять, он держал под мышкой ящик из-под гвоздей. Следом за стариком молча шла женщина в праздничном казачке. Девочка лет пяти держалась за подол тоже праздничного материнского сарафана. Красными, как у голубки, лапками цеплялась она за одежду матери. Ее ноги в маленьких сапожках запинались за корневища, она упала, заплакала. Мать схватила ее, рывком подняла на руки. Павел уже отошел от ямы и видел, как старик бережно положил ящик на край болотной ямы. В могилке быстро копилась вода. Женщина с жутким прерывистым воем бросилась на ящик. Старик дал ей попить, затем отнял у нее ящик и опустил в воду... Женщина, так и не поднявшись с колен, сунулась под березу, девочка тоже с ревом дергала ее за полу праздничного казачка.

Старик ногой утопил младенческий гробик в холодную весеннюю воду и начал поспешно спихивать туда же черную болотную землю.

Павел быстро пошел дальше, обходя кочки и пни. У костра, сидя на свежем березовом пне, грелся красноармеец в долгополой шинели. Винтовка с примкнутым штыком висела на ближней елке. «Хоть бы дулом-то вниз повесил», — подумалось Павлу. Женщины варили что-то в котлах у другого костра. У подростка, который строгал ножиком палку, Павел спросил, откуда они. Мальчишка сказал, что ростовские.

— Эй! — окрикнул Павла красноармеец. — Ты кто такой? А ну, покажь документы.

— Да нет у меня никаких бумаг, — сам того не ожидая, соврал Павел.

— А нет, тогда иди откуда пришел. Тут тебе нечего делать...

Павел поспешно зашагал прочь к разъезду.

Горький дым ростовского лагеря, женский плач, покрытые хвоей нелепые шалаши, детские могилки в болоте — все это осталось где-то в лесу. Словно приснилось в кошмарном сне.

XII

Ерохин был не доволен судьбой...

Что ему два этих кубика на вороту гимнастерки после уездного секретарства? В свое время Нил Афанасьевич запанибрата встречал самого Павлина Виноградова. Вместе гнали с Двины англичанских вояк. С Иваном Шумиловым — секретарем Губкома — тоже на равных был, а нынче вот Ерохин ловит беглых украинцев. Касперс — новый начальник в Вологодском ОГПУ — загнал в лес. Уж лучше бы служить в десятой дивизии у товарища Гринבלата!

Губернию ликвидировали и сделали округа. С новым секретарем Округкома Стацевичем и председателем Окрисполкома Эглитом Ерохин не был раньше знаком и вот ловит теперь бродячих попов, пасет как пастух спецпереселенцев да строит куркульские шалаши...

Голова клонилась от вина и бессонницы. Ерохин сидел на квартире заврайколхозсоюзом Микулина в ожидании пригородного поезда. Зеленая бутылка, выпитая на две трети, стояла за самоваром. Ерохин встряхнулся, ткнул вилкой в миску с бараньим студнем. Микулин привстал на лавке:

— Еще, Нил Афанасьевич, по мерзавчику?

— Давай!

Ерохин выпил стопку. Есть не стал, только понюхал сырую луковичу.

— Я, Николай Николаевич, на том бюро сам был. Шестого февраля, как сейчас помню. Утвердили особую тройку по местному раскулачиванию. Я Райберга спрашиваю, кто отвечает за охрану спецпереселенцев? Отвечает: «Только за счет местных резервов!» А где размещать? Вот и сиди, ломай голову. Я тебя очень прошу: немедленно займись фондами для лузинского участка! Вскрывай, находи резервы. Не найдешь — пеняй на себя.

— Фонды, Нил Афанасьевич, все выбраны. Надо просить в Вологде...

— Это я и без тебя знаю. Сколько сейчас?

Ерохин сверил свои часы с хозяйскими ходиками и грузно, медленно поднялся из-за стола. Он передвинул кобуру на самую задницу. Микулин подал ему тяжелый полшубок, проводил до наружных дверей:

— Успеешь, Нил Афанасьевич! Спешить не стоит.

Ерохин не попрощавшись ушел на вокзал. Хозяева в другой половине еще не спали, и Микуленок не стал закрывать наружную дверь. В тепле своей комнаты он зябко поежился. «А вить отесали бутылку-то. Вдвоем за один вечер всю поллитру...» В зеленой посудине оставалось сколько-то водки, и Микулин поставил бутылку в шкаф. Самовар не стал убирать и улегся спать. «Найдем фонды! — бодро подумалось Микуленку. — И резервы вскроем».

Что снилось Микулину в ту ночь, после отъезда Ерохина? Ничего ровным счетом. Он спал крепко, как в детстве, и если чего-то снилось, то сразу и забывалось.

Много воды утекло в реке Вологде, в реке Сухоне, Леже да Кубене с того дня, когда Микуленок стал районным начальником. И все шло хорошо, пока не началось раскулачивание. Микулин усидел-таки на своем месте, хотя многие, и не такие как он, а поумней и пограмотней, полетели с постов. А недавно опять все перепуталось... Статья Сталина вывернула наизнанку всю политическую хламиду. Начался временный откат от генеральной линии.

«Откат временный, накат постоянный. Устав колхозный опять временный, — размышлял Микуленок. — Правду мужики говорят, что все теперь стало временное».

Утром, между бритьем и чаем, он со тщанием обувался, с удовольствием одеколонился и напевал про московский пожар. А что тужить? Три к носу, все пройдет. Резервы пусть ищет предрик. Одна беда, Микуленок всякое утро вспоминал про Палашку, про ту грешную темную ночь и ржаную солому. Особенно впечаталась в память широкая, на полсвета, но совершенно беззвучная зарница, осветившая спящую Шибаниху, и гумно, и заголенную девку, и самого по-воровски торопливого Микуленка.

Николай Николаевич старался забыть все это, да не забывалось, и он нарочно приговаривал такую поговорку: «Дело забывчиво, тело заплывчиво». Его перевели в район и поставили на высокую должность. И нынче ему вовсе не до Палашки. Хотя каждый раз, как вспомнится та ночная зарница, сердце Микулина сладко лягалось в груди.

Жениться, конечно, надо, да стоит ли торопиться? Зарплата хорошая, жилье на частной квартире, обзаводиться хозяйством не хочется. Палашка тоже никак не подходила к его новой жизни и должности. «Куда ее? Сюда, что ли, везти? Чего стоит одна пестрядинная юбка...» — думал Микулин.

«А ведь и тут, в райцентре, девиц всяких полно. Вон выселенки, украинские хохлушки. Брови у каждой черные и меж бровями тоже черный пушок. Глаза волоокие, такая глянеть и завлекет, не успеешь очухаться. Правда, опасное это дело. По должности. Свяжешься с раскулаченной, а тебе припишут близорукую классовую линию.

Нет, лучше уж приударить за своими конторскими. Тут дело надежнее».

Вчера бывшая ерохинская секретарша, которая служит в прокуратуре, пригласила Микулина в клуб, на предмайскую репетицию. В синемолочной бригаде не хватало мужчин для физкульт-пирамиды. До Первого мая осталось мало времени. Микулин пришел на репетицию. В смятении и ужасе увидел он, как раздеваются синемолочницы. Снимать сапоги и галифе заврайколхозсоюзом наотрез отказался, трусы, майку и парусиновые тапочки, выдаваемые из клубной кладовки, не принял.

— Я, та-скасть, это... В другой раз.

Синемолочницы наперебой пустились его агитировать. Они бегали по дощатой сцене в одних трусах и майках. Затем начали устраивать пирамиду. Пирамида получалась не полная, так как не хватало главного коренника. Микулина не сумели раздеть, но утвердили посреди сцены. Он широко расставил ноги, как было велено. По обе руки, с боков, оказались полуголые синемолочницы, каждая должна была опуститься на одно колено. Вторая пара должна была встать на первую, на самом верху предполагалось поставить юную пионерку. Все это сооружение и должен был держать коренник, но галифе и сапоги Микуленка не годились для этого. После пирамиды бывшая секретарша Ерохина начала читать стихи Безыменского. Микулин почувствовал себя лишним и в смущении покинул репетицию.

Сегодня он вспомнил все это и покраснел задним числом. «А что, девка как девка», — осознал он событие с пирамидой и секретаршей. Он пробовал старательно думать о служебных делах. Получалось плохо... Карие глаза секретарши шаяли помимо Микуленковой воли. Помимо его сознания белело и девичье колено, и еще... все там прочее... Вот чем обернулась для него клубная физкульт-пирамида!

Николай Николаевич Микулин твердо решил как можно быстрее, пусть и холодно, заменить кальсоны трусами. Хозяев не было дома. Он допил чай в хозяйской кухне и крикнул: пора и на службу, времени полдевятого.

Лукошко с крашеными яйцами стояло на конце стола. Что это, уж не Пасха ли? Ну да, Пасха и есть.

Микулин вернувшись в свою половину к зеркалу. Пиджак с партийным билетом сидит на плечах как надо. Гимнастерка-рубашка чистая. (Ворот, правда, не как у Ерохина, без белой полоски.) Сапоги начищены с вечера, пальто, шапка, перчатки — все как требуется. Вот только к портфелю никак нету привычки: каждый раз какое-то от него неудобство, как от чего-то не то лишнего, не то постороннего.

Да, к портфелю Микулин еще не мог себя приучить, хотя к бумагам относился с большим почтением. Правда, бумага бумаге тоже ведь рознь. Одни понятны с первого разу. Другие излишне ученые, с ходу не разберешь. А вон секретарь райкома, новый, послеерохинский, этот говорит понятно, а поет не по-русски. Предрик, тот посылает бумажки коротенькие и всех лучше выступает на митингах.

А тут что, вместе с газетой?

Вместе с газетой была повестка со штампом прокура-

туры: «т. Микулину Н. Н. Вам надлежит явиться в качестве свидетеля к помпрокурора т. Скачкову». Указывалось число — сегодняшнее, и время — три часа дня.

Микулин испугался. Какие еще свидетели? Сперва свидетель, а рядом и подсудимый. Не далеко ходить... С какой стати? Только нет худа без добра: повестку печатала веселая синеглазница. Был выходной, но Микулин пошел на службу и весь день до обеда провел в непонятном волнении. Он не мог разобрать, от чего случилось такое волнение. С одной стороны, неприятность, вызывают в органы, причем сам Скачков. С другой стороны, повестку-то печатала вчерашняя физкультурница. Микулин еле дождался обеда.

* * *

Прокуратура размещалась в полуверсте от РИКа в новом доме, срубленном в лапу. На втором этаже еще не успели настлать полы и пахло свежей смолой. Внизу, несмотря на воскресный день, трещала машинка синеглазницы. Секретарша грозного помпрокурора взглянула так, что у Микуленка перехватило дыхание. Словно охватило его теплым весенним ветром. И в словах ее чуялась такая же теплота. В чем-чем, а в этом-то Микуленок уже разбирался. Она спросила:

— Николай Николаевич, что же вы убежали вчера с репетиции?

— Да я, та-сказать... имелось срочное дело...— Микулин растерялся.— Ну, теперь я... то есть в любое время.

— Не в любое, а вечером! Сегодня в семь тридцать. Договорились?

Микуленок был на седьмом небе. Он не успел ничего сказать. Некрашенная филенчатая дверинка распахнулась. Скачков вышагнул из кабинета.

— Христос воскрес! — зычно гаркнул помпрокурора и хохотнул, довольный.— Прошу к моему шалашу... Ты, Микулин, знаешь, для чего я тебя вызвал? Нет, не знаешь! Садись, где тебе любо. Кури, ежели здоровья не жаль. Вот я, к твоему сведенью, курю только по большиим праздникам. Учти, что нынче у нас Пасха, и кури! Будем оба кадить.

«Что-то больно ты разговорчивый,— про себя отметил Микулин.— Неизвестно, к добру или к худу».

— Значит, Николай Николаевич, так. У меня к тебе три вопроса. Во-первых, когда жениться будешь? Во-вторых, бросай-ко ты свой колхозсоюз да переходи к нам. У нас народу в обрез! Что? Не вижу согласия...

— Пока, та-сказать, справляюсь на прежней работе...

— С вином да с криком станешь предриком.— Скачков смеялся своим же шуткам.— Ты Головина знаешь? Не знаешь. Это новый областной прокурор. Приехал в Вологду из Рязани. Голова бритая...

Скачков, наверное, почувствовал, что говорит лишнее, и встал, заходил около своего стола. Микулин разглядывал слоистые линии и сучки сосновых тесаных стен. В простенке висел телефон. Кроме сейфа, стола, старинного кресла и двух некрашенных табуреток, не было в кабинете следователя ничего. Сам Скачков был сегодня в хромовых сапогах и в гражданских суконных

брюках. Поверх гимнастерки на правой ягодице, как у Ерохина, топорщилась кобура. Серая пепельная голова следователя подстрижена ежиком, под носом, такие же серые, торчали два круглых клочка. «Усы-то под Ворошилова»,— подумал Микулин и нетерпеливо покашлял. Скачков заметил это нетерпение. Сел за стол.

— Вот ты говоришь, что работа у меня легкая, сиди да плюй в потолок... (Ничего этого Микулин не говорил и даже не думал.) А у меня с Октябрьской выходного дня не было. Ночью Ерохин шлет нарочного: срочно принимай меры! Утром сам заявился. В чем дело? Сбежал из лесу административно-высланный. Как фамилия? Малодуб Антон. Я говорю: Малодуба достану из-под земли. Найду, говорю, тебе этого Малодуба, а ты мне взамен что? Ничего.

— Нашли? — спросил Микуленок.

— Вечером отправляю в Вологду. Лет пять отхвтит, в окружном суде немного и чикаются. Так вот, Николай Николаевич...

Микулин насторожился. Скачков глядел на него с прищуром. Постукивая по столу карандашом, спросил:

— Ты Шустова хорошо знаешь?

— Александра Леонтьевича?

— Точно так.

— А что?

— Тоже сбежал. Из Ольховицы вначале, теперь с лужинского лесоучастка. Ну, мы и его так или иначе найдем. А ты мне вот что скажи...

Установилось молчание. Скачков глядел на Микулина, Микулин глядел на Скачкова. «Видно, у его мода такая,— подумал Микуленок.— Измором берет».

Скачков действительно брал измором. Но сегодня у него не было на измор времени.

— Ты мне вот что скажи... Какое у тебя мнение о Сопронове? Вы вроде бы из одной деревни.

— Как какое? — удивился Микулин.— Сопронов и есть Сопронов. Он, та-сказать, за советскую власть в огонь и в воду. В партии раньше меня.

— Так.

— Ручаюсь за него в большом и малом.

— Так.

— Ежели, та-сказать, в части правого уклона... надежнее всех прочих.

— Так, так.— Скачков откашлялся.— Ну, а правда, что за грудки любит брать?

— Бывает такое дело. Горяч, пной раз и кулакам волю дает,— сказал Микулин и подумал, что за грудки брать мастер и сам Скачков, у Ерохина хорошо выучился. «Это почему он записывает?» — удивился Микулин, обозлился и повторил настойчиво: — Дело такое, товарищ Скачков! За Игнатя Павловича перед кем хошь головой, та-сказать, поручусь.

Следователь вдруг переменил голос:

— Давай, давай, поручись! У меня, товарищ Микулин, есть другие сведенья! Вот! Почитай...

Скачков бросил на стол бумагу, написанную под копирку. Микулин прочитал с пятого на десятое, но понял, что акт написан о рукоприкладстве Игнахи Сопронова. «Он взял за шкуру мою жену, потом сдернул

платок с дочки Пелагии, после чево и я из себя вышел...»

Микулин все еще не мог ничего понять. Пока он читал акт, подписанный каракулями Евграфа Миронова, Скачков с любопытством шурился и шевелил ворошиловскими усами. Дважды нетерпеливо вынимал карманные часы.

— Дай суда! — приказал следователь. — А эту возьми.

В руках Микулина оказалась другая бумага, тонкая, отпечатанная на машинке под фиолетовую копирку. Снова, хоть и ненадолго, встало в глазах белое круглое колено следовательской секретарши. Оно, это колено, ободряюще подействовало на Микулина, было оно по сильнее любой, самой грозной бумаги, по сильнее, может, и следовательской кобуры с наганом. Иначе отчего же Микулину стало весело? Отчего и сам Скачков оказался ненадолго смешным? Разбираться в своих переживаниях Микулину было сейчас недосуг. Он читал вторую скачковскую бумагу: «Сопронов И. П., уроженец д. Шибанихи, пред Ольховского ВИКа. Долгое время проживал неизвестно где. Из партии был механически выбывшим. Во время раскулачивания гр. Шустова, д. Ольховица, присвоил ружье, угрожал гражданам. В д. Шибанихе вместе с женой арестовал гр. Миронова, незаконно держал взаперти и занимался рукоприкладством относительно жителей д. Залесной. Позорным финалом в д. Шибанихе явилось раскулачивание середняка Брускова Северьяна и школьных работников с присвоением женой Сопронова двух мешков и шестнадцати кило ржаной муки. Как самый активный левый оппортунист и загибщик гр. Сопронов содействовал провалу коллективизации в Ольховском с/с и допустил срыв налоговой политики. Направляется в окружной суд с привлечением по соответствующим статьям Уголовного Кодекса РСФСР.

Пом. прокурора Скачков».

— Подпиши вот тут,—спокойно предложил Скачков.

— Д... д... да ты что, товарищ Скачков? — Микулин даже начал заикаться.— Я, та-скасть, это... такие бумаги не стану подписывать!

— Почему?

— Тут все, та-скасть, наврано.

— Наврано? — Скачков грохнул по столу кулаком. Чернильница подскочила и пролилась, карандаш скатился на пол.— Я тебе покажу, как тут наврано! Люба! Арестованного привели? Гражданин Миронов, суда!

С этой минуты Микуленку перестало мерещиться девичье колено.

В сопровождении милиционера в дверях стояла сама синеглазница, а позади нее — из-под земли, что ли? — перетапывался своими мокрыми валенками не кто иной, как Евграф Миронов. Его дубленая шуба еще в прихожей воняла овчиной. Под широко растоптанными валенками стояли целые лужи.

У Микуленка что-то опустилось внутри. Скачков подал знак, и Евграф ступил в кабинет. Увидев изумленного Микуленка, Евграф поглядел на него дважды: сперва с одного боку, потом зашел с другого. И ничего не сказал.

— Та-скасть... Евграф Анфимович, доброго здоровья,— проговорил смущенный Микулин. Евграф от-вернулся. Он обратился к Скачкову:

— Товарищ Скачков, ты мне скажи в определенности, долго ли ишшо будешь в бане меня держать?

— Сколько надо.

— Либо отправили бы, либо домой отпустили. До суда-то...

— Ты, гражданин Миронов, нас не учи! Что делать, мы сами знаем. Я вот тебя хочу с ним познакомиться,— Скачков кивнул в сторону Микуленка,— ежели вы еще не знакомые. Люба! Запиши разговор...

Синеглазница присела на стул с карандашом и блокнотом.

Евграф потупился. Заправил бороду под шубу. Не знал он, куда деть большие свои ручищи, стоял, глядел на мокрый от валенок пол.

— Ну? — торопид Евграфа Скачков.— Знакомы?

— Этот-то? Этот сатюк мне знакомой. Знакомой и я ему. Только я с этим прохвостом и рядом не встану, я его, дьявола... Давно надо бы ему ноги-то выдернуть!

— Тихо, тихо! — Милиционер схватил Евграфа за рукав, да так, что рукав треснул. А может, и сам Евграф так отдернул руку, что рукав треснул. Микулин не знал, куда деваться от стыда, краснел и ерзал:

— Та-скасть, не имеет значения... товарищ Скачков.

Евграф взъярился еще больше:

— Опеть ты миня таскать? Я вот тебе, прохвосту, потаскаю, я...

Евграф шагнул, намереваясь схватить Микуленка за ворот, и был остановлен.

— Тихо, тихо! — Милиционер держал Евграфа за второй рукав.

— Чево тихо? Я и так тихо! Он, прохвост, мою девку в гумне уделал и сам в райён! Он и у вас тут наделает выблядков, да и в Вологду убежит, я этого кобеля знаю! Он у меня не то запоет, ежели я-то за ево возьмусь! Товарищ Скачков? Скажи-ко, хто евонных выблядков будет кормить? Моя девка была девка как девка, нонче родила! Парня вон принесла! А вить этот прохвост жентиться сулил!

— Родила, говоришь? — Скачков хохотнул.

— Да! — сразу переменялся Евграф. Подбоченился.— Витальем зовут.

...От стыда Микуленок готов был провалиться сквозь землю. Он, торопясь, расписался в бумаге и красный как рак выскочил из кабинета. Глаза бегали, руки суетливо возились с портфелем. В таком виде Микулин и выскочил от Скачкова. «Как это так? — в смянении роились его мысли.— Неужто Палашка Виталья родила? Вот тебе и физкультурная пирамида... Евграф давно должен быть отправлен, а он тут. Опозорил, черт бородатый, на весь район. А Сопронов-то? Ничего себе!..» Микуленок не чуял под собой ног, перешагивал вешние лужи, стремился подальше от прокурорского дома.

Тем временем Скачков, довольный, убрал подписанную Микуленком бумагу и отпустил секретаршу. Евграф по-прежнему стоял, то глядел на затоптанный пол, то снова клеймил теперь уже не Микуленка, а Со-

пронова. От волнения он забыл сам про себя, о своей же пользе:

— Я ему, дьяволу, вихлет¹ сломя, когда приеду в Шибаниху!

— Не приедешь,— возразил Скачков.

— Это как так?

— А так. Моржам будешь спины ломать, гражданин Миронов! Отправим тебя ближе к Белому морю. А всего скорее заставят тебя елки спиливать.

— Не я первый, не я последний,— перекрестился Евграф.— Господь не оставит...

— Слушай внимательно твои вчерашние показанья.

Следователь начал скороговоркой бубнить текст вопроса: «...взял за шкурку жену Марью, сдернул платок с дочери Палагии, ударил меня по руке, после чего я из себя вышел и схватил от шестка кочергу».

— Так.— Скачков зачеркнул слова насчет кочерги.— Слушай дальше. «Часов было часа два ночи, он распахнул ворота и пнул мою бабу ногой. Она редела и дочь Палагия редела...»

Скачков велел Евграфу подписать. Евграф взял карандаш и печатными буквами на бумаге вывел свою фамилию.

— Увести! — коротко бросил Скачков.

Милиционер вышел первый, указывая дорогу арестованному, чтобы тот не открыл по ошибке другие двери.

Скачков отодвинул бумаги и зевнул, потянулся как сонный кот.

Дело сделано.

Не больно-то приятное дело оформлять такие бумаги, но ничего не попишешь, поскольку пришло указание свыше. Дня два назад ему передали телеграмму нового областного прокурора Головина с требованием выявить и привлечь к уголовной ответственности левых загибщиков. На верхнем левом углу чернилами косо была поставлена резолюция предрика: «Выявить. Оформить». Прокурор в районе тоже был новый, приезжий, тот красным карандашом добавил: «т. Скачкову, для исполнения». Скачков думал над телеграммой ночь, ни до кого, кроме Сопронова, не додумался и решил допросить кого-либо из шибановских арестованных. Рогов Иван был давно отправлен. Под рукой оказался всего один, Евграф Миронов.

Такова была история сегодняшнего допроса предрайколхозсоюза Микулина. «Хорошо, что не успели отправить Миронова в Кадников»,— подумал Скачков и позвал секретаршу:

— В двух экземплярах! Срочно...

* * *

Милиционер был обут в сапоги и шел прямо по лужам, Евграф же шагал в валенках и старался ступать где посуше, поэтому стражник иногда останавливался и ждал своего арестованного.

С утра было солнечно и тепло. Скворцы пели по всему

поселку. Сейчас вдруг стало темно, наплыло небесной хмари, и повалил густой нехолодный снег. Широкие, по пяточку, хлопья залепили Евграфу бороду. Шуба раскисла, зимняя шапка промокла, лепешкой сидела на давно не стриженной голове. Но особенно мучился Евграф с обувкой. Ноги были давно сырые, хоть и обут с портянками. Да где это видано, чтобы по лужам да в катаниках? Хоть бы какие неражие сапоги...

Арестованных кулаков, подкулачников и оверхушенных держали в поселковой бане, на допросы водили через весь районный поселок. Евграфу было стыдно до слез: «Эк, до чего дожил! О Паске по лужам в катаниках. Будто варнак аль душегубец...»

Снег падал так густо, что народу на улице не стало, но какая-то старушка все же попробовала всучить Евграфу два яйца и горбушку ржаного хлеба. Милиционер отпугнул старушонку, да и сам Евграф не считал себя нищим. Обижен — это верно. Обижен, да не нищий, хоть и говорится в пословице: от сумы да от тюрьмы не зарекайся. Он и не зарекался. Только на милостынку век не надеялся и нынче не будет. Эх, кабы сапоги вместо катаников! Прохвост Микуленок, небось видел, во что обут Миронов Евграф. У самого-то сапоги хромовые, со скрипом. Те самые, которые подвели блядуна Микуленка за Евграфовой печью. Дело было в летней избе. «Палашка, дочка... Марья жонка... Где они, бедные, чем живут-кормятся?» Евграф на ходу, кулаком промокнул глаза. Про Палашку-то... Сказал наугад, а ей вроде еще и родить пора не пришла. В мае должна и родить.

Но в голове у Евграфа так уж сложилось, что Палашка родила парня Виталья. Почему Виталей? А кто знает, Виталей и Виталей...

Проходили мимо потребиловской лавки, дальше начинались склады и «галдареи». На одной галдарее под навесом сидел человек с котомкой. Он оглянулся, увидел Евграфа и сразу вскочил:

— Божатко!

Евграф встал как вкопанный в землю. Не верил глазам, разглядывал:

— Пашка? Неужто ты? Здорово, парень! Христос воскрес!

— Воистину...

Милиционер не слышал и топал дальше, а когда почувствовал за собой пустоту, обернулся назад:

— Живо, живо! Шагом марш.

— Да мы и так живы,— сказал Евграф.— Вишь, родня вить, дай хоть поговорить...

— Ежели не очень долго.— Милиционер оглянулся во все стороны.— А то мне за вас попадет.

— Не попадет! — Евграф обнял Павла.— Ты давно ли с дому-то?

Оба сели под навес галдареи, около коновязи. Павел сбивчиво рассказал про Шибаниху и про свою работу на лесоучастке. Спросил про Ивана Никитича.

— Отправлен! Давно отправили, а куды не знаю. И Саша залисенский отправлен, и Гришка из Заозерья, а меня вот дёржат. Пошто дёржат, не знаю. Сидим в бане, кормят дородно. Да кажин день новых приводят, одних в Кадников отправят, новых приводят. Места-то мало.

¹ Вихлет — хребет.

Милиционер забеспокоился:

— Хватит! Встали, пошли.

— Да мы сейчас! — обратился к нему Павел. — Еще немного...

Евграф заторопился:

— Паша, скажи моим... Вот кабы сапоги мне. Послали бы с кем... Я бы не тужил. Вишь, обутка-то? Не по климату катаники-то!

Павел не долго думая начал разуваться.

— Да ты сам-то... — Евграф растерялся.

— Бери, бери! Обувай. Я-то тут разживусь. Возьмут в Красную Армию, там обуют. А то знакомых увижу...

Евграф вопросительно поглядел на конвойного. Тот легонько покашлял и опять оглянулся во все стороны. Негромко сказал:

— Живо, живо. Обувай, да надо идти.

Евграф быстро обулся в Павловы сапоги.

— Паша... Век буду помнить... Ну, не поминай лихом. Скажи там поклон... Подсоби моим бабам... чем можно...

— Прощай, божатко! Не увижу я их. Уеду. Хочу в Красную Армию...

— Поезжай... Ладно и сделаешь...

Павел стоял босиком на «галдарейном» настиле кооперативного склада. Ныла больная ступня. Евграф с милиционером быстро двигались к бане, оба вскоре исчезли за углом галдарей.

Павел кусал губы. Глаза тяжелели от влаги. Ступня и здоровой ноги начинала мерзнуть, он поглядел на Евграфовы валенки. Как в них добраться хотя бы до военкомата? Деньги, выданные Шустовым, не троганы. Надо купить какую-нибудь обутку. Сапоги... хоть какие-нибудь. Вот и лавка рядом. До лавки-то уж как-нибудь...

Он расправил вонючие сырые портянки Евграфа, сунул руку в один валенок, чтобы выбросить промокшую соломенную стельку. Рука нащупала что-то лишнее. Павел вынул из валенка много раз сложенную бумажку. Развернул. Написанная химическим карандашом, подмоченная на углах и сгибах, была она сухая по середине. Павел прочитал и все понял. Украинские слова почти все оказались понятными:

«Кому в руки попадет это письмо. Низкий тому поклон. Отправьте по почте по этому адресу...» Бумажка с адресом была написана по отдельности. Павел спрятал письмо и адрес в бумажник, обул мокрые Евграфовы валенки и запрыгал через лужи, в сторону кооперативного магазина. Но магазин был закрыт. Военкомат размещался в том же доме, только с другого крыльца. Павел запомнил это еще тогда, когда вызывали на приписку. На дверях с небольшой красной вывеской — висячий замок. Выходной! Все выходные, кроме милиции... Надо было ждать до завтра, а где ночевать? Павел, растерянный, присел на рундук.

Милиционер, сопровождавший Евграфа с допроса в районную баню, хоть и с оглядкой, но дал переобуться. А как встретит райвоенком? Действительно ли приписное свидетельство, не потребуют ли других справок? А тут еще такая обутка и вид... Нет, вид у Павла Рогова был совсем не военный!

XIII

«Христов день... Пасха. Самый большой праздник в году...» — Павел боролся с дремотной усталостью, сидя на военкоматском рундучке. Ему вспомнилось детство. Ночь перед этим праздником всегда была какая-то непонятно-торжественная. Большие почти не спали, ходили в церковь, маленькие чуяли все это во сне. Утром бабушка поцелует и даст крашеное яйцо: «Христос воскрес, Пашенька!» Надо было говорить «Воистину воскрес», а он долго не мог научиться. Стеснялся, что ли? Пирогов утром были всегда пшеничными, иногда полубелые. На улице вешняя свежесть. От всех домов слышны веселые петушиные клики. Говорили, что солнце в тот день ближе к земле и что оно играет на небе. Ребятишки и некоторые взрослые выходили утром смотреть, как солнце играет и радуется. Играет ли солнце сегодня? Или и над Шибанихой такая же снежная серая мгла? Если и так — все равно в доме напечены пироги. Дедко Никита в новой ситцевой рубахе поет под нос себе: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». И Вера, жена, и сын Ванюшка, и теща Аксинья — все праздничные. Встала в глазах мать с братом Алешкой: у них ни дому, ни лому. Где они-то сейчас?

Павлу стало еще горше. Он сидел у запертых военкоматских дверей. Поздний весенний снег падал на его понурые плечи. Была Пасха. Христов день, двадцатое апреля одна тысяча девятьсот тридцатого года. Был праздник, скоро бы сеять, а он, Павел Рогов, тут, в чужом месте, с мокрыми ногами, с одной тридцаткой в кармане. В бумажнике было еще приписное свидетельство и арестантское чье-то письмо. «Как чье? — мелькнула вдруг мысль. — Да ведь это, наверно, письмо Антона, Грицькова брата. Убежал мужик от Ерохина искать жонку с младенцем, наверно, вчера убежал! Его сразу же и словили да в районную баню. Теперь пойдет под суд, посадят в исправдом уже за побег. А виной-то всему он, Павел Рогов. Эх, дурак! Не надо было рассказывать Апалоничу про жонку с мертвым младенцем. Тот бы не сказал Антону с Грицьком, Антон бы не побежал искать семейство... И не сидел бы сейчас, не ждал суда...»

Куда идти? Где искать заступников? Земляка бы найти, Кольку Микулина, тот, говорят, стал большим начальником. Да где искать? И ночевать тоже не знамо где. Говорят, есть Дом крестьянина. А сапоги купишь, платить за ночлег будет нечем. И голодный, как волк...

За воротом еще в поезде ночью опять что-то чесалось. Сейчас нащупал, прижал, вынул на свет и так же как вчера обомлел. Большая белая вошь, шевеля лапками, ползла по черной от железа ладони... Вторая за жизнь! Никогда не привыкнешь... Он оглянулся, положил ее на порог, со злобой прижал ногтем. Под ногтем хрустнуло... Стыд и отчаяние опять охватили Павла. Он покраснел, оглянулся еще раз. Плюнул...

«Домой надо! — подумалось вдруг. — В армию все равно не возьмут. Будь что будет. Бог не выдаст, свинья не съест».

Павел решительно поднялся с военкоматского рунду-

ка. Шагнул за угол. Домой! Пешком, на карачках или кувырком, а домой... Больше и думать нечего...

Сразу встрепенулось что-то внутри, глубже стало дыхание. Появилась сила в ногах... Домой, домой... День-два, и Вера истопит баню. Он скинет с себя все, отпарит, смоет барачную грязь, оденется в чистое только с катка белье...

Павел даже запел, правда, только себе под нос:

В Красной Армии штыки,
Чай, найдутся,
Без тебя большевики
Обойдутся!

Запел, и стало почему-то смешно, песня оказалась как раз про него. Домой, домой... Он распрямился, надел котомку.

— Хасиям! — слышалось вдруг чуть не над самым ухом. — Авэла...

Две звонких цыганки обходили подугольную лужу. Они увидели Павла.

— Христос воскрес, касатик! — проговорила одна и остановилась. — Позолоти ручку, скажу тебе всю правду, что было и что с тобой будет, скажу...

— Неужто знаешь, что было? — сказал Павел. Приступ мальчишеского озорства накатился неизвестно откуда.

— Дай, дай руку-то, бриллиантовый! — говорила цыганка гортанным нездешним голосом. — Дай! А положи на ручку один двугривенной.

Павел Рогов поискал мелочь в кармане.

— Не жалея, касатик, все положь! Эх, вижу, что не скупой. Ну, послушай-ко, что скажу! Не вознось, золотой. Хоть и вырос ты в высоком доме, а горя много изведаль! Отца-мать ты привык почитать, к женскому полу баловства в тебе нет! Жене ты верным будешь два года, на третий год изменишь...

— А про ее что скажешь? — засмеялся Павел.

— А про ее, касатик, ничего не скажу, в глаза мне черный туман стелется, знаю только, что деток у тебя один сынок, скоро будет второй, а будет ли третий, известно одному Господу Богу. И ждет тебя семеренья и дорога в казенный дом. Отринь ты, касатик, пустые все хлопоты, а остерегайся соседского злого глаза. Тот глаз глядит на тебя и ночью и днем, ящо бойся напрасной брани и черной пятницы...

Поверх широкой, до пят, цветной юбки на ней ловко сидел коричневый казачок. На поясе, вокруг казачка, опоясан был ситцевый черный кошель, наполненный неизвестно чем. Алюминиевый бидончик был привязан сбоку. Шаль во время гадания сползла на затылок. Черные, с вороньим отливом волосы. На пальцах смуглой руки сразу три разномастных кольца.

— Откуда будешь? — крикнул подошедший бородастый цыган. — Не с Вожеги? У нас на Вожеге много знакомых.

— Кыш! — обернулась цыганка. Но цыган не обращал на жену никакого внимания.

— Поедем на Вожегу, пока снег на дороге. Вай-вай-вай, какая твоя обутка. А вот купи у меня сапоги. Новые! Почти как джимы...

— А сколько возьмешь? — Павел обрадовался и убрал руку.

— Тридцать! — цыган словно бы знал, сколько у Павла всех денег — Тридцать карбованцев клади и сапоги твои! Совсем добрые сапоги. Джимы — знаешь такой фасон? Воду не пропускают. А вот иди глядеть! Сам увидишь, сам скажешь: добрые сапоги!

Цыган потащил Павла за рукав к «галдареям». У коновязи стояла упряжка. В широкие розвальни, набитые цыганским скарбом, была запряжена чалая лошадь. Она старательно и звучно хрупала зеленое, с лесного покоса, сено. Цыган присвистнул, ногтем почесал у себя в затылке, а кнутовищем почесал брюхо у лошади:

— Может, лошадку мне променяешь? У меня лошадь лучше всех! Баба у меня яще лучше, вона, гляди, сколько их накопила!

Только сейчас Павел заметил четыре черные головенки, торчавшие из-под перин. Глаза цыганят посверкивали из глубины воза. Павел подмигнул одному. Тем временем цыганка уже гадала какому-то новому прохожему.

Цыган, подпоясанный красным кушаком, носил шапку с зеленым бархатным верхом и широкие, драные, табачного цвета вельветовые штаны. Сапоги на ногах были не лучше Павловых валенок. Он порылся в возу, извлек продажные сапоги — не новые, обсоуженные сапоги, но с новыми подметками и выправленными каблучками. Павел взял правый сапог, прикинул подошву. Получалось даже с запасом на портянку. Была не была!

— Сбавишь десятку, возьму!

— Эх, не могу, друг, никак не могу, — жалобно заныл цыган и замахал бородой. — Тридцать!

Что было делать? Стукнули по рукам... Павел достал бумажник, подал цыгану единственную тридцатку. Взял сапоги, но переобуваться при цыганах не стал, попрощался и пошел вдоль улицы. Кое-где на дороге оставались сухие места. Домой! Домой... Летел бы домой на крыльях, да крылья не выросли... Скворцы вон уже прибыли. Вьют гнезда, поют... Грачи на проталинах переваливаются с боку на бок, тюкают желтыми клювами.

Он отмахал за один прием версты полторы. Дорога шла вначале вдоль железнодорожной насыпи, дальше свернула налево. Неужели не будет ни одной попутной подводы?

Около первой деревни, у дорожного отвода, Павел сел на жердину, чтобы переобуться. Сперва он досуха выжал Евграфовы мокрые портянки. Нога, которая осталась без пальца, ныла, ныла нутряным постоянным нытьем, зато хромота была не очень заметной. (По крайней мере, так казалось ему самому.) Он тщательно намотал влажную портянку и начал обувать сапог, но... что это? Сапог не влезал. Опойковое голенище оказалось настолько узким, что обмотанную портянкой ступню пустило в себя только до пятки. Павел попробовал силой натянуть сапог. Все было напрасно и зря. В сердцах он бросил сапог под ноги... Одумался. Обул растоптанные бахилы Евграфа и хотел бежать обратно, искать цыгана. Но дорога домой манила его и звала, небо прояснилось и засинело. Просиял дальний лесок, стал вдруг зеленым и солнечным. Домой! Будь что бу-

дет... Черт с ним, с цыганом. «Два года верным будешь, на третий жене изменишь,— всплывало в памяти гада-ние цыганки.— И к чему она так сказала?»

Домой! Павел затолкал цыганские «джимы» в мешок и ринулся по дороге. Голодный, с мокрыми пятками, он шагал широко и споро. Дорога сильно отмякла, нога порою проваливалась. Он шел часа два и хоть бы одна подвода! Да и кто же ездит под извоз в самую Пасху? Разве только милиция либо цыганы? Дорога падала на глазах, а идти надо ровно полсотни верст...

Стало тепло. Небо, золоченное нестерпимым солнечным светом, раскрылось ясно и всеохватно. Туча ушла за лесные зубцы в сторону Белого моря.

Туда, к Соловкам, тянуло непрерывно-широким вешним теплом. Горели снега. Вешние воды точили, подпирали снизу и взламывали речные сине-зеленые панцири. Лишь ледяные озерные монолиты не поддавались пока теплу. Озера постоят до весеннего сева. Когда береза обмыется зеленым дымком и отшумят ручьи, метровые ледяные пласты на озерах ослабнут и источатся. Ледяная твердыня, иссеченная теплой водой, пойдет пучками стоячих серебряных пик — ступи, и погиб... Уже не далеко до такой поры. Птица летела с юга... Кричали грачи. По деревьям у каждой скворешни сидели скворцы, то стрекотали — дразнили местных сорок, то мяукали — дразнили котов. А то вдруг встрепенется такой скворчинный хлюст, распушится, обнажит худую, отощалую во время полета шею, затем уложит черно-голубое перо и станет опять красавцем. И так поет, от себя лично, что баба, идущая с полными ведрами, остановится на тропе, не зная тому причины.

Павел Рогов весело одолел первый волок, почти с песнями, а на втором выдохся. Про ноги в размякших мокрых да еще и рваных валенках лучше было не вспоминать. Болела спина с поясницей, есть хотелось еще со вчерашнего. А больше всего хотелось сойти с дороги, перебраться через канаву и присесть на какой-нибудь лесной придорожный пенёк либо валежину. Павел знал, что лучше не останавливаться: отдохнешь, рассидишься и после будет еще хуже, может, и не встанешь с пенька.

Домой! Там за деревней будет еще один волок, правда, самый долгий. Одолеть бы его. Только хватит ли сил, голодному? Павел снял шапку, зажмурился. Солнце пекло чуть не по летнему. Голова закружилась. Он шагнул не туда, еле устоял на ногах. Хоть какой-нибудь бы ржаной сухарь заваялся в котомке! Ненужные цыганские сапоги в мешке и ни куска хлеба, не говоря о гостинцах.

Открылось за лесом поле и большая деревня вдали. И не одна еще, а две или три. Павел узнал деревню. Это здесь он покупал зимой верхний жернов. Ноги раньше головы решили, что делать, сами свернули с большой дороги на отворотку... У деревенского отвода он прислонился к столбу. Дальний девичий голос долетел к отводу вместе с теплым ветряным вздохом, но Павел не поверил своим ушам. Не спит ли он? Девичий голос был явственным. Где-то в том конце пиликала даже гармошка. И вот совсем четко пропела чья-то девка:

У милово поговорка
«Ничего подобно»,
Где же мне ево любить
Таково благородно.

Павел улыбнулся. «Пасха. Добрые люди празднуют. Творится неизвестно что, а все равно празднуют. Надо зайти к мельнику, там сразу же самовар... Принесут пирогов, тут нечего и сумлеваться». Павел встряхнулся, как тот усталый тощий скворец, отшатнулся от отвода, шагнул в деревню. Где же тот дом, откуда зимней ночью увез он мельничный жернов? Вроде бы в самой середине... Высокий дом, окна с наличниками. Да вот же он! Вот и тот самый колодец, из которого поили коня. Крыльцо с такой же резьбой, как на окнах.

Он подошел ближе. Взобрался по неметёным ступеням на крыльцо, и сердце упало. В пробоях торчал замок. Стеклёшко в рамке над воротами выбито, тропы в огород нет. Не пахло от подворья ни скотиной, ни дымом, не слышно было никаких звуков.

Павел Рогов все понял. Он окликнул женщину, вроде старушку, выглянувшую из коровьих ворот соседского дома. Спросил, где хозяева, у которых была мельница.

— И-и-и, батюшко.— Старушка оглянулась по сторонам.— Подойди-ко поближе-то, так и скажу Раскулачили их, разорили, ишло до Рожесва. Мужиков-то увезли неизвестно куда, а бабы да малолетки у родни в других деревнях. А ты, батюшко, чей? Не Ольховской ли волости?

— Ольховской,— улыбнулся Павел,— что, разве заметно?

— В Ольховицу-то выхаживала моя двоюродная, не знаю теперь, жива али нет. Да ты заходи в избу-то!

...В избе никого не было, но стоял на столе самовар. И пироги, хоть и не пшеничные, а двоежитные, были нарезаны на хлебной доске!

— Садись-ко, садись да выпей чашечку,— сказала старушка, и Павел не стал отказываться... Она пододвинула ему хлебную доску, нацедила в чашку кипятку и добавила туда что-то из чайника. По вкусу похоже было на брусничный лист... Павел выпил две чашки, съел один косою восьмеричок от воложного пирога. С трудом подавил в себе голодный позыв, сказал спасибо и вышел из-за стола. Ему было стыдно сказать, что он голодный...

— Минька-то при мне милицию спустил с листницы,— докладывала старушка уже на крыльце,— довговго ево взаперти-то дёржали...

Ноги после отдыха не слушались. Есть хотелось еще сильнее, но до солнечного заката Павел прошел еще один волок. И опять ни одной подводы! Звенело в ушах, колени от слабости подгибались. Домой! Глаза иногда закрывались без его ведома, ему снилось что-то, он спал на ходу. Что-то явственно виделось, и он слышал родимые голоса.

Ночью, шатаясь как пьяный, он вышел из леса в поле Ольховской волости. В деревнях еще светились кое в каких домах кутные окна. Павел в полусознательном состоянии, падая и вновь подымаясь, то и дело проваливаясь на разбухшей дороге, достиг к полуночи родимой деревни Ольховицы.

...Митька Усов тоже поминутно падал и тоже вновь вставал, сперва на карачки, потом на ноги.

Под частым разрывом гремучих гранат
Отряд коммунаров сражался...

Усов пел, падал и снова вставал. Он возвращался из гостей к семейству. Маячило в темноте пустое, холодное подворье бывшей коммуны имени Клары Цеткин. Слабый свет мерцал в окне прозоровского флигеля. Тут на дороге и наткнулся Павел Рогов на лежащего бревном человека. Павел поднял его на ноги, поднял и тут же упал вместе с Усовым.

— Панко, ты? Данилович? — кричал Усов. — Мы это, сейчас... Ты держись за миня-то, за миня-то держись! Тошнит?

Углядел Митька Усов, что Рогов тоже не стоит на ногах. Кто напоил — не спрашивал. Валились с ног оба: и Павел и Митька, один от голода, другой от вина... Поднимая друг дружку, постепенно дошли до флигеля.

— Иди! Тут доберешься, — сказал Павел.

— Рогоф? Я это... сейчас... Данилович?! Да неуж... я! — Митька ударил себя в грудь. — Сейчас самовар! Я это, как из пушки...

— Иди, иди в избу... я к матке. Жива ли она?

— Жива, жива, в бане... это... с Олешкой...

Усов кашлянул и корячился на крыльце флигеля. Павел Рогов собрал последние силы. Медленно, в темноте, побрел в сторону своего дома...

Он не хотел глядеть на родной дом, в котором жил теперь Гривенник. В зимовке горел свет, пиликала чья-то гармонь. Не тут ли пировал Митька Усов? Павел как вор прошел мимо крыльца, проковылял в огород, к бане. Дверца в предбанник была не закрыта.

— Кто, крещеной? Кто шевелится-то? — услышал Павел из темноты. Материнский голос был слабым и жалобным, как в больнице.

— Мама, это я... Не бойся, это я...

Павел открыл дверцу, согнулся чуть ли не вдвое и ступил в отцовскую баню.

— Паша, неужто ты? — заплакала Катерина. — Олеша, батюшко, вставай — пробудись. Зажги коптилку, где у нас спички-ти?

Алешка, одетый, крепко спал на скамье. «Молодец парень, не стал жить в Шибанихе». Павел нащупал коробок на банном окне, чиркнул спичкой. Коптилка зажглась. Он прижал к плечу сивую материнскую голову:

— Не плачь...

— Да как, милой, не плакать-то... Гли-ко до чево мы дожили-то...

Она лежала на соломенной постели на верхнем полке под стеганым одеялом. Павел отвернулся, сел на первый полок. Он видел, вернее чуял, как мать пытается сесть и не может.

— Лежи! Не плачь...

— Откуда ты, Пашенька?

— Вот... Иду из бурлаков... Еле выбрел. В Шибанихе все ли ладно?

С каждым дыханием трепетно шевелился маленький, готовый погаснуть коптилочный огонек. Свет не достигал прокопченных стен. Коптилка освещала один подоконник и давно не стриженную Алешкину голову.

— Лежу. Паша. На боках-то, наверно, пролеж-

ни... — Мать снова заплакала. — Угораю, сынок, кажинное утро. Да, видно, совсем скоро умру. Нет от Василья-то грамотки? От батьки-то уже и не ждем, видать, сгинул.

— Не плачь... К кому ходите, когда скутано?

— К Славушку. Олеша меня на чунках возил, ходить-то я не могу.

Керосин выгорел, коптилка погасла. Мрак. И холодно, как в погребце...

Павел хотел спросить, где берут дров, что едят, но ничего не сумел спросить. Привалюсь к стене, забьусь в беспокойной мучительной дреме. Забрезжил в окошке синеватой рассвет. Павел вздрогнул от какого-то внутреннего толчка. Силы вернулись к нему, хотя ноги едва-едва слушались. Сердце щемило. Алешка спал под шубой на каком-то тряпье, вроде на половиках. Под головой не подушка, а старый материн казачок. Сдерживая стоны и оханье, зашевелилась на верхнем полке мать, спросила:

— Куда ты, Пашенька?

— Лежи, скоро приду...

Павел сам не свой вышел из бани. Давило в надбровьях. Кусал губы, сжимал кулаки. Настоящие слезы вскипели, когда увидел на крыльце родную подкову. На ступенях намерзла чья-то ночная моча, ворота не заперты. В сенях, давно не метенных, валялись деревянная расколота лопата, брюквенный лычей¹, сенные волоти. «Гривенник скотину завел...» — мелькнуло помимо сознания. Павел схватился за скобу, распахнул двери в избу...

Он встал у родного порога. В подсвятошном углу, за грязным столом белела чья-то круглая лысина. Фокич! Тот самый уполномоченный, который играл и плясал в избе у Кеши, когда записывались в колхоз. Красные после пьянки глаза без страха и даже весело, в упор уставились на пришельца. Он поставил только что початую бутылку на лавку в угол и хрипло проговорил:

— Ну? Чево не здороваешься?

Павел отвернулся. Оглядел избу. Все было раскидано, пол заплыван, окурки торчали в колodках зимних оконных рам. На лавке с открытым ртом храпел Гривенник. Шуба Данила Пачина сползла с него на пол. Павел еще раз повел глазами... На гвозде, около вешалки, как прежде висел железный безмен, на одном конце свинцовый, с куриное яйцо, набалдашник, на другом — крюк.

Фокич заметил, что Павел глядит на безмен, и зарезал на лавке. Взял бутылку, налил в чашки себе и Павлу:

— Иди суда! Выпей!

Павел подскочил к стене и сдернул безмен с гвоздя...

— Ты што, на Соловки захотел? — заорал Фокич и весь побелел. Павел Рогов придушил свое бешенство. Гривенник проснулся от крика. Остановил Гривенник храп и проснулся, вскочил с лавки и вытаращил глаза.

С безменом в руке Павел Рогов прошелся по отцовской избе. Вернулся к порогу. Ударил ногой в сосновые двери. На крыльце он сел рядом с подковой, заплакал

¹ Лычей — ботва.

утробным беззвучным плачем, как плачут коровы и лошади...

Славушко, родня и порядовой сосед, увел его в тепло своего дома, усадил за стол. Оба с женой начали сердечно потчевать Павла. Но самовар, стопка рыковки и вчерашние пироги не могли успокоить гостя. Павел то вскакивал, то задумывался.

— Вячеслав Иванович, у тебя есть ли ржаная мука?

— Так ведь, Данилович, ты сам и молот.— Хозяйка Матрена, жена Славушка, вышла из кути.— Как нет, есть мука.

— Навешайте фунтов двадцать взаймы! Счас надо... А еще после навешаете столько же...

Хозяйка поглядела на мужа.

— Иди к ларю,— сказал ей Славушко.— Да чего ее весить, муку-то? Я, Данилович, и без весу. Бери полмешка, и весь разговор. Хоть счас, хоть после.

— Пусть останется у тебя... Матрена иной раз испекет... Для матки с Олешкой.

— Да она уж пекла. Вроде бы пекла...

Славушко застеснялся, что сказал про то, что Матрена пекла для матери Павла. Полез в шкаф за новой бутылкой рыковки...

После двух стопок Павел почувал в себе недоброе. Он решил заглушить это недоброе третьей стопкой, но все вышло наоборот.

— Дров-то было до Нового года, и дрова ваши,— тараторила Матрена,— вот Олешка по ночам к дому-то ходил да и брал, а Гривенник заприметил. Одинова замахнулся поленом. На Олешку-то.

От этих слов у Павла закаменели скулы. Забилось, затрепетало пойманной птицей в левом боку... Матрена ушла с пойлом к скотине. Славушко, наливая, рассказывал:

— Игнашка пришел одинова, в лавке народу не было. А што я, што мне Пачины! Одного отправили и второго куды надо отправим...

— Где Игнаха сейчас?

— Да в мезонине! Сидит как сыч, там и по праздникам.

Славушко взял миску в кути, открыл люк и улез под пол за рыжиками.

Павел рванул на груди рубаху, оборвал крестный гайтан. Пуговицы посыпались на пол. Он вскочил с лавки, схватил безмен...

Топилась у Матрены печь, жарко топилась. Огни ошупывали высокий печной свод, облизывали чугуны с коровьим пойлом. Зачем поглядел на огонь Павел Рогов? «Убью...— бормотал он, выбегая на улицу.— Оглушу, как глушат баранов. Все одно пропадать...»

Он шел по Ольховице с безменом в руке, без шапки, с распахнутым воротом. Страшный и невменяемый, он ступал то в бок, то прямо. Он шел к бывшей сельской управе, к тому мезонину, где даже по большим праздникам сидел Игнатий Сопронов. Безмен, зажатый в правой руке, казался Рогову слишком легким, слишком игрушечным. Встречные девки шархнулись в снег...

Сельсоветская коновязь, у которой стояла чья-то повозка, клонилась вбок. Дыбом вставало бревно коновязи вместе с лошадью и людьми. Человек с десяток

подростков, каких-то баб и девок расступились, дали дорогу.

И вдруг в трех сажнях от крыльца Павел остановился. Он не верил своим глазам. Из настежь раскрытых дверей, с высокого сельсоветского крыльца сошел белый как снег Игнатий Сопронов. Руки его были связаны спереди, скручены ремнем от шлеи или чересседельником. На полшага за ним и чуть сбоку вышагивал дорожного вида милиционер. С другой стороны и тоже чуть подалее торопливо двигался Фокич. Уполномоченный начал отвязывать лошадь. Милиционер подсобил Игнахе устроиться в розвальнях и сам взял вожжи из рук Фокича.

Павел тряс хмельной головой. Мелькнула жуткая мысль: «Теперь и я... как Жучок... Отправят в Кувшиново».

Нет, все было наяву! Игнаха сидел на возу со связанными руками. Белый, ни кровинки в лице, надменно глядел он поверх голов.

— Сена не мог побольше достать? — спросил милиционер уполномоченного.

— Найдем сена! — ответил Фокич.— Спросим в лубой деревне...

Уполномоченный Фокич снял шапку, ладонью вытер белую круглую лысину и сел сзади рядом с Сопроновым. Лошадь отфыркнулась, розвальни сдвинулись, безмен выпал из рук Павла Рогова.

Хмель из головы вылетел тоже... Лицо остудило порывом весеннего ветра. Народ копился около сельсовета. Кричали подростки, бросаясь катышками мокрого, уже последнего в этом году снега. Всплеснула руками уборщица Степанида:

— Ой, нет, не доехать им, дорога-то, деушки, пакнула!

— Доедут! Эти хоть куды доедут.

Кто-то поздоровался с Павлом, кто-то позвал его к горячему самовару, откуда-то издалека слышал Павел ольховские голоса:

— Неужто самого Игнаху прищучили?

— Не видишь, повезли! Руки ремнями связаны...

Но Павлу все еще думалось, что он спит и что все это снится во сне.

Топились печи. Дым, как вчера, шархался сверху вниз, предвещая весенний дождь. К запаху дыма и талой воды примешивался еле слышимый, мало кому заметный запах вытаявшей земли.

— Ето хто безмен потерял?

— Бери да носи. Видать, вытаял.

— Дорога, пала, а с ней пала и власть Игнашкина,— услышал Павел.

— Надолго ли? Одно в этом деле голове круженье, небось ворон ворону глазу не выключет.

Голос показался Павлу знакомым...

¹ П а к н у л а — пропала, испортилась.

Василий Иванович Белов

ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА

Хроника зимней поры

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ,
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор *С. Гладкова*

© Иллюстрация худ. *В. Гальдяева*

Художественный редактор *А. Моисеев*
Корректор *И. Филатова*

Технический редактор *Л. Ковнацкая*

Сдано в набор 25.01.91. Подписано в печать 13.03.91. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага тип. № 2.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 11,76. Усл. кр.-отт. 13,02. Уч.-изд. л. 17,3.
Тираж 2 886 000 экз. (2-й завод 2 386 001—2 886 000 экз.). Заказ № 781. Цена 1 р. 10 к.

Адрес редакции: Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература».
107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР.
197110, Ленинград, П-110, Чкаловский пр., 15.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака просим бракované экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

Открыта подписка на новый еженедельник
«РУССКИЙ ВЕСТНИК»

Подписаться Вы можете во всех отделениях связи страны

Индекс по каталогу — 50114

«Русский вестник» — новая общесоюзная газета для тех, кто с надеждой и волнением следит за процессом возрождения народа и сам хотел бы этому способствовать. Учрежден Российским обществом по сотрудничеству с соотечественниками за рубежом (обществом «Россия»).

Еженедельно в 1991 году на страницах «РУССКОГО ВЕСТНИКА»:

- * жизнь и проблемы России, русского народа
- * пути нравственного и духовного возрождения
- * вопросы развития русской национальной культуры и искусства
 - * малоизвестные факты из великой истории России
 - * живая связь поколений, времен и народов
 - * жизнь россиян за пределами родной страны
- * связи русского, украинского и белорусского народов-братьев
- * новости из столиц (Москва, Ленинград, Киев, Минск) и из глубинки

В «РУССКОМ ВЕСТНИКЕ» Вы найдете практические советы по домоводству, кулинарные и врачебные рецепты, советы модельеров, рассказы о национальных костюмах на Руси и многое другое. Но главное для газеты — постоянное общение с читателями. Пишите нам по адресу: 103062, Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 10. Редакция надеется, что «Русский вестник» станет для подписчиков семейной газетой.

Цена одного экземпляра при продаже в киоске — 50 копеек и при подписке на год — 30 копеек (со скидкой).

Стоимость подписки на квартал — 3 руб. 90 коп., на один месяц — 1 руб. 30 коп.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Валерий ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ
Юрий БОНДАРЕВ
Семен БОРЗУНОВ
Витаутас БУБНИС
Олег ВОЛКОВ
Геннадий ГОЦ
Юрий ГРИБОВ
Владимир ГУСЕВ
Владимир ДУДИНЦЕВ
Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь)
Сергей ЗАЛЫГИН
Феликс КУЗНЕЦОВ
Леонид ЛЕОНОВ
Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора)
Василий НОВИКОВ
Петр ПРОСКУРИН
Валентин РАСПУТИН
Леонид ФРОЛОВ

1 р. 10 к.

70782

РОМАН-9 ГАЗЕТА

В десятом номере
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»
читайте

повесть

Владимира Солоухина
«СМЕХ ЗА ЛЕВЫМ ПЛЕЧОМ»

